

ОКтябрь

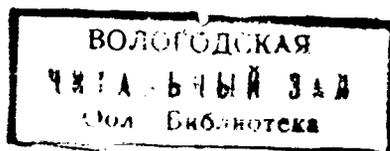
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
Ж У Р Н А Л

ОРГАН СОЮЗА
СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

177/33.

ДЕВЯТАЯ — ДЕСЯТАЯ
КНИГА

СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ



ОГИЗ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА

1941

Родина

И, как встарь, шумит седое море,
И лежит земля в цветном уборе,
Видимо-невидимо земли.
Родина моя, как ты прекрасна!
Кто тебя полюбит — любит страстно,
Исполнены так любить могли!

Тяжелеет поле хлебом добрым.
Вечер. Дождь прошел. Запахло чобром.
Зыблется трава на берегу.
Этот светлый ливень на косогоре,
Этот красный шар, горящий в море, —
Никогда я не отдам врагу!

Было все: варяжские набеги,
В черных тибетеях печенеги,
Станов паловецких голоса,
Чингисхана бешеные орды,
Немцев-меченосцев пелы морды
И наполеонова гроза...

Где враги? Давно гниют в могиле.
Кто противостанет нашей силе?
Кто опнимет мать у сыновей?
Сыновья отважны и удалы, —
И погибнут Гитлера вандалы,
Как былинки гибнут в суховей.

Ты встречаешь трудную годинау,
Мой разноязыкий, но единый
Сердцу милый край, отчизна-мать!
Всем ясны твои святые цели.
Мудрый вождь, в своей простой шинели,
В бой ведет воинственную рать.

Действующий флот

МЫ ОТОМСТИМ!

Товарищ, прощай! Ты сражался со славой,
И в смертном бою ты навеки уснул.
Светское небо молчит величаво,
И сосны почетный несут караул.

Ты был молодым, и веселым, и смелым,
Последним — в печали и первым — в
бою.

Проклятье врагу, разлучившему с телом
Простую и храбрую душу твою!

Сли крепко, товарищ отважный и милый,
Прощаясь, уходим мы к новой борьбе.
Пусть ветер, лаская цветы над могилой,
О наших победах расскажет тебе.

Горячей печалью и жгучею мезтью
До края наполнены наши сердца, —
Над свежей могилой мы кровью и честью
Клянемся врага разгромить до конца!

Полякам

О, юнацкое польское племя,
 Слушай младшего брата с Ядрана!¹
 Я сыграю тебе на гуслях.
 Струны я задену перстами,
 Золотые струны задену —
 Да прольется песня из сердца,
 Да послужит песня юнаку,
 Брагу, польскому партизану,
 В этой темнозеленой дуброве,
 В этой темнозеленой и желтой,
 В этой польской осешней дуброве.

Партизан, гуслиар черногорский,
 Пестун липерских хмурых ущесов!
 Вижу я кровавую Вислу,
 Вижу полымя над Варшавой.
 Гарью тянет — и сердце тоскует...
 Или это черная буря
 Через облак воющий гонит
 Злобных шершней и гадов крылатых?

Нет, не буря вихрь завивает,
 А шагает война по дорогам;
 И свистит свинец смертоносный,
 Порох брызжет, ломаются кости,
 Пьет земля кровавую брагу.

Нет, не буря гремит на Востоке,
 А идет великая битва
 С вековечным врагом славянства,
 Матушку твою осквернившим,
 Потоптавшим твою отчизну.

И мои голубые долины,
 Заповедные светлые горы,
 Черногорию — радость-невесту
 Обнимает он и целует
 И кровавыми душит руками,

Грудь ее лебяжью изрезав,
 Несравненные выколов очи...

Слышишь брата, поляк?
 Не медли!
 К мести брата брат призывает —
 В бой за прадедовскую землю,
 За достоинство наше — кличет.

Рой могилу фашистскому зверю,
 Пусть горят гора и селенья!
 Убивай в яругах фашистов,
 Собирай боевые дружины,
 В бой иди, славянин, за свободу —
 Защищай бессмертные могилы,
 Испранные сапогом германским;
 Гордый памятник славы народной
 Окропи гранатовой кровью,
 Древней кровью своей, —
 Да заблещет
 Семияцветная радуга счастья,
 Чтобы имя твое залпсало
 Наше время на мраморе чистом.

Если б мог я, гуслиар черногорский,
 В прах Миякевича обратиться, —
 Я оброс бы горячей плотью,
 Голос я обрел бы могучий,
 Протянул бы зрячие руки
 Из могилы к постыскому юнаку.
 Я тебя заклинал бы и плакал
 Жгучими жемчужными слезами,
 Неотступной, песенной силой
 Окружил бы, взывая из гроба.
 — Встань, поляк! — я воззвал бы. —
 Да будет
 Отчий край навеки свободен,
 Да уйдет смертоносный облак,
 Да заблещут ясные звезды!
 После бури — небо светлее,
 Жизнь прекрасней после мученья.

¹ Я д р а н — Адриатическое море.

С Красной Армией вместе, со всеми,
Кто свободу обороняет, —
Встань, поляк! Да сойдутся славяне

На широких содружных равнинах,
Да подымут юнацкие руки
Бубок полный победы и славы!

*Перевел с сербского
АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИЙ*

ЛЕОНИД ПАСТЕРНАК

Партизаны!

Обрез и у пояса связка грапат...
Идут партизаны. Идет их все больше.
Болота. Леса. Над бойцами гремят
За выстрелом выстрел.
Воспрянула Польша!

Услышат шахтеры Заглэмбя о том,
И весть долетит до крестьян из-под Кольна.
Сейчас партизаны, подполье... Потом
Из рабства германского встанешь ты
вольно.

За родину, впающую в прах нищеты,
За пытки и кровь, за руины Варшавы, —

Пусть каждый кусок изъязвит вражьи
рты,
Пусть каждый глоток станет смертной
оправой.

И двинулись тайной тернистой тропой
Европы залушенные народы
Затем, чтоб, поднявшись на праведный
бой,
Фашистов прикончить во имя свободы.

О, яростный бой против смрада и лжи!
О, молнии Польши от Татр до Ястарви!
И руки скрестили через рубежи
Восставшая Польша и Красная Армия.

*Перевод с польского
В. ЗВЯГИНЦЕВОЙ*

ИОЗЕФ ГОРА

Из сборника «Ян-скрипач» (1940)

Что ж, вечно над заклётым краем
Истории продлится суд?
Что ж, снова битву проиграем
И розы тут не расцветут?
О нет, цветут и жгут, как пламя,
Своими влажными устами!
И розы ран целует Ян,

Спеша домой из чуждых стран.
Безумье, молний польыханье,
Проклятья, плач, кровь наших ран...
Что же, вновь истории дыханье,
Ее палатных уст касанье?

*Перевод с чешского
МАРИИ ЗАМАХОВСКОЙ*

ВИТЕСЛАВ НЕЗВАЛ

Похороны

Только под крышей худой раздаётся
Мологя звук,
Только серебряным светом прольётся
Месяц вокруг,

Там, в мастерской, промелькнет отраженье
Бледной луны,
А за окном возникают в движеньи
Образы-сны.

Видя луну серебристо-седую
В впаках дерев,
Псы завывают, сквозь темень пустую
Гроб разглядев.

Лязгали псы и сегодня зубами.
Светит луна.

Звездная ночь поднялась над дубами.
О, тишина!

Вой доносился, и сердце дрожало
Средь темноты,
В черном гробу бездыханной лежала,
Родина, ты!

*Перевод с чешского
МАРИИ ЗАМАХОВСКОЙ*

ЭНДРА ЛЫСОГОРСКИИ

Гучин

Ты пахнешь березой, ромашкой и мятой,
Созревшей пшеницей, травой
горьковатой.

Вершины Бескид величавы и строги,
И белая пыль покрывает дорожи.

Но свастика, страшная метка врага,
Легла на твои толубые луга.

Печально смотрю я на землю родную.
И черную свастикку рву и клянчу я.

Ее ненавидят моравские дети...
О Гучин, попавший в фашистские сети!
Исчастливая родина! Дышут отравой
Моравская пыль и моравские травы.

*Перевод с лешского
НИНЫ ПОЗНАНСКОЙ*

Облик матери

Изрытый лоб, как древняя скала,
Крутые скулы с острыми углами,
Во мраке шахт ковали их веками,
И воля предков в скулах залегла.

Безмолвие сомкнуло скорбный рот,
Но все, что губы утаить сумели,
Открыл твой взор. Так синий небосвод
Пляшет в просвет сквозь ветви темной ели.

*Перевод с лешского
НИНЫ ПОЗНАНСКОЙ*

Крик

Мы в тюрьме, в гробу из гранита,
Наша песнь становится криком.
От войны с ее грозным ликом
Мы железной решеткой скрыты.

Чтобы перья стали могучи,
Попрузите их в альбе реки,
И стихи о двадцатом веке
Начертайте кровью на туче.

Мир — в горячке страшного лета.
Где же вихрь, чтобы разбить окопы?
Мы к жестокой борьбе готовы.
Братья! Зов наш летит по свету.

Пусть, вскипая кровавой пеной,
Станет небо кричать о ранах —
О погибших, сожженных странах,
Нарушая покой вселенной.

*Перевод с лешского
НИНЫ ПОЗНАНСКОЙ*

Сербская народная песня

Ой Милица, ой Милица-сербиянка,
Девять дней в темнице ты сидела,
На десятый день Милица-партизанка
Распилила черную решетку.
Перегрызла острыми зубами
Тяжкие немецкие оковы;
И обрезала густые косы,
Из своих кудрей сплела веревку
И к распиленной решетке привязала.
Над полями солнце восходило
И заглядывало в темную темницу —
Опустела тесная темница,
Убежала девушка Милица;
Только на окне качает вечер
Из кудрей сплетенную веревку.
Целый день разыскивают немцы
Хитроумную красавицу Милицу.
Дует ветер, наступает вечер,
Тихо на левадах и в дубравах;
Месяц поднимается над речкой.
...Видят немцы — за далеким лесом
Зарево широкое пожара
Синее охватывает небо.
Закружился ворон чернокрылый
И закаркал громко и протяжно:
«Берегитесь немцы-басурманы!
Вы зерно, награбленное в поле,
Зря хранили под семью замками,
Посреди дубового амбара;
Пламя яркого пожара блещет —
Четница отважная Милица
Подожгла амбар с отборным житом
И с пшеницей золотой и спелой.

Не поймать вам смелую Милицу».
Поскакали немцы прямо к лесу,
Догорел до тла амбар дубовый,
Пахнет дымом и зерном горельем,
А следов Милицы не осталось.
День-деньской разыскивали немцы
Хитрую красавицу Милицу.
Дует ветер, наступает вечер —
Тихо на левадах и в дубравах —
Месяц поднимается над речкой.
Слышат немцы — раздается грохот,
Будто сразу горы обвалились
И земля сырая затрещала.
Закружился ворон чернокрылый
И закаркал промко и протяжно:
«Берегитесь, немцы-басурманы!
Конь железный по дороге мчался,
Девять немцев на копе сидели;
Девушка Милица-сербиянка
В мост швырнула бомбу огневую,
Полетели немцы прямо в пропасть,
И разбит на части
Конь железный».
Побежали немцы на дорогу,
Видят — пасть открыла пропасть,
Там на дне — железные обломки,
А следов Милицы не осталось.
Живно, Милица-сербиянка,
Девушка с прекрасными глазами.
Четница отважная Милица.

Перевод с сербского
Н. БЕЛИНОВИЧ

Святой Вацлав

(Чешская антифашистская листовка)

Немец в иражском магистрате
Изумился: «Ах, мой готт!»
Видя, что проситель в годах
Заявленье подает.

И магистры прусской крови,
Как умели и могли,
По складам, нахмуриль брови,
Заявление прочли.

Неизловленный полицией
Славянин святой Вацлав
Оздачил всех арийцев,
Заявленье написав.

«Обращаюсь к магистрату,—
Пишет мученик святой,—
Невытерпел мне с пьедестала
Видеть немца день-деньской.

Я боюсь, моя кобыла
Их печально лягнет...
Даже лошади постыло
Меднолобый видеть сброд.

Фоп-Нейрат, развесив губы,
Только глянул из окна —
Лошадь вздрогнула с испуга,
Хоть железная она.

А начнут фашисты дико
Гимны прусские орать —
Так из рук и рвется шпка
Эту «рать» подковырять.

Чехи мне кричат в экстазе:
«О Вацлав, святейший брат!
Иль не видишь безобразий,
Что свершает фон-Пейрат?!»

Ты был вятзем при жизни,
Пруссаков лупил, где мог;
Помоги столкнуть фашизма
Бронированный сапог!..»

Я давно молитв не слышу
(Все ксендзы сидят в тюрьме);
Шпки бурые, как мыши,
Ходят, бродят в полутьме.

Сами видите: едва ли
Остаться я могу
На высоком пьедестале
В этом избранном кругу.

Приказали мне, Вацлаву,
Чтобь, сидя на коне,
Я смотрел, как щуцман бравый,
За порядками в стране.

Я — Вацлав, я вятзь гордый,
Полицейским не бывал!
Пусть пруссак с побитой мордой
Станет здесь на пьедестал.

Время лучшее настанет:
Пруссака сметем, как сор.
А пока... я партизанить
Ухожу в дремучий бор».

Перевела с чешского Н. БЕЛИНОВИЧ

В тылу врага

(Дневник военного корреспондента.)

27 ИЮНЯ.

Прошло 5 дней войны! Моя родина, мой народ ведут великую отечественную войну с гитлеровскими ордями. События проносятся бурей. В эти дни я не вел подробных записей, кроме мелких пометок в блокноте, и чем грандиознее события, тем короче мои записи.

Утром 26-го я записал: «Опушка леса. Тригонометрическая вышка. Танковый бой. Марков бил в упор. Шука сказал: «Прищипнуть им хвост».

Вот и все, что я успел записать в этот день. Только сегодня вечером я получил, наконец, возможность взяться за дневник.

...22-е июня застаёт меня в командировке в одном из гарнизонов Западного особого военного округа.

Вот и удобно. Теперь я ближе всех моих товарищей-корреспондентов к фронту. Летчики, например, очень дорожат первым и самым глубоким ударом по противнику. Пользуясь близостью к фронту, я передам в газету одну из первых корреспонденций с войны.

Весь день я в штабе авиационного соединения, которым командует тов. Аладинский.

Вокруг меня в эти минуты творится великое дело.

Подковник Аладинский—ловкий, красивый летчик — ползает с цветными карандашами по громадной карте, разостлавленной на полу. Руки его, точно лихие бомбардировщики, летают над картой — промят один пушкет за другим.

Радисты то-и-дело докладывают полковнику новые цели, полученные от разведчиков с воздуха. Подковник «паледает» на эти обреченные цели острым кончиком синего карандаша и тут же «облетает» приказание.

Одна за другой вылетают девятки бомбардировщиков. Проходят минуты, десятки минут, и вот уже радируют на обратном пути

прямо с воздуха: «Цель — танки уничтожены».

Эскадрилья Карагодова только что разстреляла колонну танков возле Г., разорвала ее на части, рассеяла. В воздушном бою подбили пару истребителей. У нас не потеряно ни одной машины.

Вот это я немедленно передал в Москву. Я страшно рад: моя корреспонденция первая в Москве, о чем сообщил мне по телефону начальник отдела.

Я же первый раз на войне. В памяти моей еще свежи все подробности жестокой войны с белофиннами. Но эта война — я чувствую — будет ожесточенней во сто раз.

Прошу у редакции разрешения выехать с частями на передовые позиции фронта. Через три минуты получаю приказ редактора:

— Выехать на фронт.

На душе легко, радостно.

Ну, вот, товарищ Поляков, я гордюсь, и дерись, дорога открыта.

Вечером я выехал с воинской частью на фронт.

...23 июня. Приближаемся к фронту. Восторгаемся железнодорожниками. Здорово работают. Мчат, как на крыльях. Остановок почти нет...

Площадками я пробрался на тендер паровоза и в самую будку. Ехал часа два с бригадой. Записал фамилии, передал телеграфом в Москву, в «Гудок», вместе с благодарностью от имени всего эшелона.

Едем весь день. Меня охватывает нетерпение, — когда же фронт?

24 июня с рассветом выгрузились. За 15 минут эшелон точно вывернулся наизнанку со всеми потрохами — пушками, радиостанциями, лошадьми, боеприпасами, провiantом... На учебной погрузке с такими сроками приняли бы за сумасшедших.

За эти дни сдружился с генерал-майором Закутным. Добродушный. Немножко толстоват. Ему уже пятьдесят, но для своих лет он совсем молод. Закалялся и молодел в боях. Воюет с 1914 года. Был солдатом.

— Немцы — наши старые знакомые. Знаю, в каких местах их надо щупать нашим русским штыком, — посмеиваясь говорит Закутный.

Днем мы заехали на командный пункт командира дивизии генерал-майора Галицкого. В первый день войны дивизия выступила навстречу прорвавшемуся противнику, сделала более чем стокilометровый марш и теперь развернулась для встречного боя с гитлеровскими полчищами, прорвавшими нашу границу.

Кругом — густые сосновые и лиственные леса Белоруссии, пересеченные множеством проселочных дорог и двумя шоссе, идущими на восток. Это важнейшие магистрали, по которым движутся фашисты.

Наши войска скрыты в лесах. На опушках — орудия, повернутые на запад. Перед каждой батареей — два-три километра открытого беслесного пространства; есть где разгуляться при прямой наводке нашим снарядам.

Командный пункт Галицкого — глубоко в лесу. Мы с трудом пробираемся сквозь плотное кольцо охранения, машин; отовсюду тянутся пучки телефонных проводов.

Галицкий совещался с группой своих командиров. В каске, в маскхалате, накинутом поверх генеральской формы, командир сидел за раскладным столиком. Скатертью свесилась со столтика зеленая карта. Генералу лет 45, у него крупные, правильные черты лица, прямой нос, узкие глаза, еле видимые из-под суровых бровей.

Я вижу вдохновение на этом строгом лице.

— Раскрыть карты! Линия фронта: деревня «С» — деревня «Д». Обе включительно. Полк Украинского: Деревня «К» включительно — тригонометрическая вышка — исключительно...

Галицкий вдруг поднимает тивные глаза.

— Кто там делает пометки карандашом?! Никаких карандашей! Карта сегодня же может попасть противнику. Память иметь надо.

Короткими, сжатыми фразами генерал излагает план операции. Резко звучит его голос:

— Записать!

И командиры торопливо делают в блокнотах какие-то пометки.

— Не записывать!

Карандаши замерли.

Чувствуется, что все здесь подчинены единой воле этого сурового командира.

«Это — полководец. Умница», — люблюсь

генералом, думаю я и решаю: остаюсь у Галицкого. Закутный одобряет это решение.

Представляюсь Галицкому. Пожимает руку. Добродушно переспрашивает:

— Корреспондент, говорите? Ну, что же, войдите с нами.

И, уже полпрежнему сурово, тоном приказа: — Начальник штаба, с нами будет корреспондент.

Я понял, что со мной разговор окончен.

Вечером узнал: дивизия имеет богатую боевую историю. «Железная Самаро-Ульяновская дивизия», зовется она в документах. Ее создавал В. В. Куйбышев и был ее комиссаром. За освобождение Ульяновска она имеет первый орден «Красного знамени», за бои в Финляндии — второй.

Генерал-майор Галицкий — старый боевой командир. Был солдатом в империалистическую войну. Немцев знает еще с тех пор. Участник гражданской войны. В Красной Армии ровню столько лет, сколько лет и ей самой.

...25 июня. Были первые стычки разведывательных подразделений. Но у меня ничего не записано.

С утра я прямо направился к палатке генерала. Он сидел за картой, продумывая донесения начальников разведки.

Вот удобный момент. Сейчас сразу узнаю все на свете...

— Доброе утро, товарищ генерал-майор!

— Доброе утро! — хмуро ответил генерал, не глядя на меня.

— Можно около вас немного ориентироваться?

— Мне воевать надо, а не корреспондентов ориентировать. Ступайте!

Ошеломленный, я пробормотал, что хочу поближе познакомиться с частями, с обстановкой...

— Я вам повторяю: ступайте! — грозно взглянув на меня, отрезал генерал.

Я решил немедленно уехать от Галицкого. Я чувствовал себя несправедливо обиженным... Нет, ни минуты больше не останусь здесь! Поеду к Закутному...

Сейчас уже вечер, а я еще не уехал. Не с кем... Без Галицкого на узле связи мне удастся узнать все, что надо. У Галицкого поздно вечером будет краткая летучка командного состава.

Так и подмывает попасть на нее. Но итти мешает самолюбие. Из-за куста я прослушал все, что происходит на летучке.

...26 июня. Дивизия полностью ввязалась в бой, имея перед собою фронт шириною в 30 километров. На нас напоролась средняя колонна танковой армейской группы, имею-

щая во главе 19-ю танковую дивизию. Закованные в железо и сталь фашистские банды ведут наступление в направлении города М. Боевая задача: любой ценой сдерживать и отразить натиск танковой колонны. От бойца к бойцу, от сердца к сердцу пролетает приказ:

— Ни шагу назад! Вперед, на врага!

С разведки вернулся командир разведывательного батальона майор Щука. Он рослый, широкоплечий, с обветренным лицом и грубоватым голосом. От всей его фигуры веет силой и уверенностью. Глаза его поблескивают веселой хитрецой. Майор докладывает: впереди на шоссе и грунтовой дороге остановились 1 000 фашистских танков. Машины не движутся. Нет горючего.

Щука предъявляет и «вещественное» доказательство — захваченного в плен германского унтер-оффцера. Двадцатилетний Вебер Херст служит в 19-й танковой дивизии. Он одет в черную куртку и черные ботинки на выпуск, ботинки на стальных шпильках — обычная одежда фашистских танкистов. В черных петлицах — белые металлические значки: череп и кости.

Вебер Херст в большом недоумении. 25-го они должны были занять своей колонной город М., а через 15 дней быть на подступах к Москве.

Был выработан строгий план: двигается первая колонна, за ней вторая, потом третья... А сегодня уже 26-е число, и все стоит на одном месте. Вебер Херст подтверждает: да, тысячи танков стоит без движения из-за отсутствия горючего.

— Вот и прекрасно, — оживляется генерал-майор Галицкий, — сейчас вам будет горючее. С избытком! Ко мне всех артиллеристов!

— Ваш праздник, ваша работа, — обращается генерал к командирам-артиллеристам. — Первые разведывательные данные — у Щуки, остальные — добыть самим. Медлить нельзя. О готовности огня доложить. Впрочем, кто хочет со мной воевать дальше — приготовить огонь через 30 минут.

Да разве найдется в части хотя бы один человек, кто не хотел бы воевать с генералом Галицким?

...Первые же снаряды наших батарей и дивизионов вносят смещение в ряды вражеских танкистов, точнее — в табор бронированных бандитов. Они переливают остатки горючего из всех машин в головные и бросают их в контратаку на нас пачками по 30—50 штук.

Фашистские танки выскакивают и мчатся на нас мимо тригонометрической вышки. С десяток батарей бьет по ним прямой наводкой.

Впереди меня в 300 метрах гаубичная батарея книжального действия Попова. У нее самая жаркая работа, она — на дороге. К ней мчится штук тридцать танков.

— Беглый! Прямой наводкой! — еле успевает скомандовать Попов. Орудия залушили его команду...

...Фашистский стальной дракон мчится со скоростью свыше 50 километров. Разрыв нашего снаряда прямо под гусеницей — и дракон со всего разгона вдруг вертится юлой на одном месте... Два-три оборота — и танк замирает. Это уже не танк, а стальной гроб, а из него, как черви, уползают фашисты. Стрелки доканчивают работу артиллеристов.

На батарею Попова прорвалось около двух десятков танков. Они прочесывают огневую позицию Попова, и Попов прочесывает их. Батарейцы вращают орудия, бьют в упор...

Пробегаю к ребятам. Несколько человек ранено, убит наводчик Галкин. Остальные бойцы, закопченные дымом, опаленные огнем, с запевшейся кровью на лицах, стоят среди кладбища танков. 18 черных обгоревших танковых скелетов валяются между орудиями. Брожу и считаю.

— Чья это работа, кто сколько сбил? — спрашиваю у Попова.

Старший лейтенант не спускает глаз с дальней опушки леса, откуда должна выскочить очередная группа фашистских танков. Его смутное лицо горит возбуждением боя.

— Счет у нас общий, — не оборачиваясь, отвечает Попов.

Наводчик Шипков раздолбил пять танков подряд, и каждого — первым выстрелом. Младший лейтенант Марков поразил один из танков в упор с двух метров. Честь и слава командирам орудий Халову, Зотову, Пашилову, лейтенантам Самсонову, Большакову, наводчикам Галкину, Пэрфенову, Филиппову, Женжерову и всем остальным.

Нет, никуда я не уеду от Галицкого, от этих чудесных людей!

...Танковый бой продолжается и сегодня, 27 июня. Фашисты бросали против нас все новые и новые группы танков. Но и майор Щука получил подкрепление: 8 мощных танков — советских крепостей, каких фашисты еще не видели.

— Теперь буду давить им на хвост, — пробасил он, влезая в одну из этих «крепостей».

Щука ворвался в авангардный эшелон 19-й дивизии и начал давить вражеские танки.

Ночью я ездил в редакцию нашей газеты «Красноармеец», помогал редактору тов. Плетневу выпустить первый номер. Парень ни разу еще не воевал. Я писал ему шапки,

заголовки. Радостно было увидеть первый номер своей газеты! Сверху крупный заголовок: «Вчера наши подразделения уничтожили 97 танков врага. Метким огнем нашего оружия до конца уничтожим фашистских гадов!»

...Весь день стоял непрерывный грохот орудий, лязг железа... Клубится черный дым — это горят фашистские танки. Среди наших трофеев — много яркокрасных полотнищ с белым кругом. В середине круга — черная паучья фашистская свастика. Это — сигнальные полотнища фашистских танкистов: когда в воздухе появляются немецкие самолеты, танкисты накрывают свои машины этими полотнищами, что означает: «свои».

Вечером подвели итоги двухдневного, за 26 и 27 июня, боя: в поле зрения, на кладбище танков, насчитали 265 фашистских машин; убито и ранено свыше 400 танкистов... Гитлеровцы будут долго помнить часть генерал-майора Галицкого!

Фашисты, бессильные взять нас в лоб, начали обходный маневр, окружая нас со всех сторон. Вражеские самолеты сбросили листовку: «Вы окружены со всех сторон. Ваше положение безнадежное. Сдавайтесь в плен...» На обороте листовки напечатана схема нашего окружения.

Галицкий внимательно изучает немецкую схему.

— Ну, что ж, за ориентировку спасибо, — говорит он спокойно. — Товарищ майор, проверьте эту схему разведкой.

Поздно ночью Галицкий собрал на летучку командный состав.

— Мы оказались во вражеском тылу, — жестко прозвучали его слова: — Прямо и открыто сказать это сейчас же всем бойцам. Никакой паники! Коммунисты и комсомольцы задают всем тон своим примерным поведением...

Мы в тылу у врага... Я повторяю про себя эти слова, стараясь освоиться с неожиданной новостью. Свежая ночь. Я вглядываюсь в лица. Командир артполка Бородин не спускает глаз с генерал-майора. Этот темпераментный человек весь день гремил из орудий фашистские танковые колонны, — он навалил целую гору из гусениц, колес, продырявленной брони... О чем думает он сейчас? Спокойно лицо подполковника Пасюкова. Этот расчетливый, предусмотрительный командир что-то подсчитывает про себя, прикидывает, его не застает врасплох... Майор Шука горит от нетерпения, — вот когда придется поработать его разведке! И постепенно я пропикаюсь спокойствием и уверенностью в благополучном исходе... С такими людьми не страшно никакое окружение.

— Мы с честью сражались во имя нашей Родины, — продолжает генерал-майор. — неужели мы дадим себя истребить проклятым фашистам?

— Ни за что! — дружно отвечаем мы все разом.

— Так слушайте! Мы будем с боями отходить в сторону фронта на соединение с Красной Армией. Сегодня мы переходим на положенные части, действующей в тылу врага. Отныне мы будем действовать партизанскими методами. Будем вредить фашистам на каждом шагу, не давать им покоя ни днем, ни ночью, взматывать и бить нещадно! А для этого необходимо...

Галицкий пункт за пунктом излагает законы нашей новой жизни, «законы генерала Галицкого», как мы называли их потом.

Никто не имеет права употреблять слово «говорят», а только «сам видел». Беспощадно бороться с болтовней и паникерскими слухами.

Пищу делить поровну. Кормить в первую очередь раненых и разведчиков. Этот закон особенно нравится Шуке...

За курение ночью под открытым небом — расстрел!

Экономить патроны, стрелять только по видимым целям и в упор!

...Выходим из блиндажа. Чувствуется, что все стали как-то ближе друг к другу.

Ночь на исходе. Шумит лес...

Укладываюсь на землю лицом к звездному небу и долго не могу уснуть...

28 ИЮНЯ.

Я просыпаюсь от сильного грохота: появились самолеты врага. Укрываюсь в блиндаже. Наши зенитки отгоняют фашистских разведчиков, — видимо, не случайно кружатся вражеские самолеты над командным пунктом. Кто-то наводит их...

Рассвет. Сквозь деревья розовеет зарево восхода.

Снова укладываюсь, но теперь уже спать не дают комары. Все руки и лицо в волдырях и расчесах. Те, кто курят, спасаются от комаров дымом самокруток. Вот сидят трое под деревом... Один, жадно затягиваясь, выпускает густую струю дыма, а двое с наслаждением вдыхают в себя этот «отработанный» дым, — табаку мало...

Многие еще спят, положив голову на пенек или бугорок. Каждый избрал себе дерево или куст. Это — его дом: здесь человек спит, укрывается во время бомбежки, читает старую газету. Одному лишь Вайникловичу нет дерева по его росту — так высок этот самый длинный человек в нашей дивизии. Над ним шутят:

— Ты во время бомбежки становишься во весь рост и замири, сверху трудно будет отличить тебя от дерева. Сам — сосна!

Возвращаются разведчики из почтовых ящиков. Шука выслушивает донесения.

«Петушинная часть», — так в шутку называем мы разведывательный батальон майора Щуки. Назначение этого батальона — затевать драку с фашистами и боем выявлять их силы и опневые средства. Шука любит вороваться в расположение врага, наделать шуму орудиями своих танков и с добычей вернуться домой. Весь день и всю ночь Шука пропадает в разведке. Он не станет есть до тех пор, пока не добьется успеха.

Отправляясь в разведку, он сказал начальнику продовольствия Шафрану:

— Вернусь, чтоб был хороший обед.

— Будет, товарищ майор. Я угощу вас сегодня куриным бульоном, — пообещал Шафран.

Шафран отправился с тремя поварами в соседнюю деревню добывать провизию.

От майора Щуки поступило донесение, что на станции Б. много оружия, снарядов, есть танки, горючее. Немедленно снаряжается отряд для разгрузки станции. Пузпо из-под носа фашистов быстро увезти в лес все это богатство. Ответственным за операцию назначен тов. Плохов. Командиру роты связи Зиновьеву поручено обеспечить связь со станцией и порядок во время разгрузки.

Здесь хочется сделать небольшое отступление и рассказать о семье Зиновьевых..

Вся семья Зиновьевых: отец — воентехник 1-го ранга, мать — машинистка штаба и сын — четырнадцатилетний Анатолий, хорошо известна всем бойцам и командирам наших частей. Когда началась война, Зиновьевы — отец, как военнопослужающий, и мать, как вольнонаемная, вместе с частями должны были выступить на фронт. На «семейном совете» решено добиваться, чтобы командование разрешило их сыну, Анатолию, участвовать в священной отечественной войне с германским фашизмом. Командир долго не давал своего разрешения. Семья утверждала, что Анатолий не только не будет обузой в походах, но сумеет принести пользу. Да, ему 14 лет, но это боевой, закаленный паренек. Он прекрасно умеет водить мотоцикл, ездить на велосипеде, он отличный связист...

Был произведен короткий «инспекторский смотр». По винтовке, мотоциклу и установке связи Анатолий сдал экзамен на «отлично».

И он поехал на фронт.

Я каждый день встречал этого русого молчаливого паренька в брюках из выпуск, гимнастерке и пилютке. Спокойный, смелый — весь в отпа, — он прекрасно держится под

выстрелами. Анатолий — из тех усердных советских ребят, которые любят возиться с электричеством, устраивают всякие опыты с приемниками, придумывают усовершенствования.

...Воентехник Зиновьев поручил бойцу Анатолию Зиновьеву следовать за отрядом на станцию Б. и по мере продвижения отряда устанавливать проволочную связь со штабом.

Высланные вперед разведчики донесли, что на станции Б. нет фашистов, но они могут появиться в любую минуту. Наш отряд занял станцию, и началась горячая работа. Мы сгружали с платформ танки и грузовики, накачивали в цистерны горючее. Зиновьев, превратившись в «коменданта» станции, сидел в аппаратной и прислушивался к разговорам по телефону с соседних станций, занятых фашистами.

Вдруг появились вражеские самолеты. Мы укрылись во ржи. Когда возвратились к вагонам, начальник штаба обнаружил, что потерял часы, и хотел идти в рожь искать их. Человек привывает к своим вещам.

— Вы пойдете часы, но потеряете голову, — сказал я со злостью.

Начштаба смутился и, махнув рукой, бросился разгружать вагоны...

Пять часов хозяйничали мы на станции. Боеприпасы и железные бочки с горючим погружались на автомашины и исчезали в глухом лесу. Надежда Николаевна Зиновьева в штабе дивизии приняла донесения «коменданта станции» Зиновьева:

— Товарищ Зиновьева, доложите командованию, что приказ выполнен. Боеприпасы и горючее вывезены. Остатки будут уничтожены, станция и пути будут выведены из строя. Передайте мою благодарность Анатолию Зиновьеву и всему взводу за организацию хорошей, бесперебойной связи...

Когда фашистские бомбардировщики снова прилетели к станции, они увидели лишь дымящиеся развалины.

Проголодавшиеся участники разгрузки вернулись в свой партизанский лагерь с богатой добычей, а куриного бульона и жареных кур, обещанных Шафраном, не оказалось. Не было и самого Шафрана.

А тут явился с богатой добычей разведчик-лейтенант Никифоров. Он совершил удачную вылазку на шоссе. Спрятавшись в канаве у развилки дороги, Никифоров стал терпеливо ожидать. Вскоре на шоссе появился германский мотоциклист. Дальше все пошло так, как и предвидел лейтенант. Мотоциклист задержался на повороте дороги и стал рассматривать карту. В руках у него, таким образом, оружия не было. Это только и надо было разведчику. Лейтенант выскочил

из канавы на дорогу и направил нагап на фашиста:

— Руки вверх!

От неожиданности немец выронил карту.

Лейтенант завязал ему глаза и повел в гущу леса. В штабе нашей части из сумки германского связного извлекли ценные пакеты с документами, раскрывающими направление движения немецкой танковой группы. Сведения были весьма ценны и полезны нам.

По «закону генерала Галицкого» следовало в первую очередь накормить храброго разведчика. Но мы не могли отыскать даже консервов, запрятанных Шафраном.

И вдруг он появился. Смущенно разводя руками, Шафран сообщил, что жирный бульон разлили.

— Как же это вы прошили суп? Какой же вы шачпрод? — съязвил Щука.

— А какой же вы командир разведки, если не могли меня предупредить, что в этой деревне фашисты?! — отпарировал Шафран. — Они наскочили на нас, и пришлось вылить суп на землю...

— Как? В этой деревне фашисты?! — вскричал уязвленный Щука. — Много?!

Щука исчез, а Шафран начал рассказывать нам трагикомическую историю... Шафран спокойно готовил обед в трех избах, повара варили, жарили, пекли при активном содействии крестьянок. В полдень Шафран вышел на крыльцо и вдруг увидел, что в деревню вползает фашистская колонна на машинах и мотоциклах. Он бросился в избу... Крестьяне переодели Шафрана и поваров в свою одежду и помогли им выбраться из деревни с жареными курами, но без супа...

Уже брезжил рассвет, когда майор Щука вернулся с вылазки. Он был весел, глаза его загорно блеснули. Он потребовал себе ужин.

Шафран торжественно преподнес ему аппетитно зажаренную курицу.

Щука ест! — Это был верный признак, что майору попалась хорошая добыча.

29 ИЮНЯ.

Генерал еще вчера вечером принял очень осторожное решение. Его не оштрафовали наши частичные успехи.

Ведь налицо разгром нами авангардов 19-й панцирной дивизии. Сама дивизия вынуждена отойти, а затем продолжает путь по другим направлениям. Кажется, наше дело — преследовать ее. Но разведка доносит иное. Вместо танковой дивизии против нас брошено несколько дивизий мотопехоты. Первые пленные сообщают: дивизии развертываются.

Кольцо окружения сжимается все теснее. Слышен фланговый артиллерийский огонь.

В 15 километрах позади нас 100-метровой ширины река. Генерал приказал скрытно за ночь отойти туда, спасти артиллерию, остатки боеприпасов, специальные машины, — все переправить в лес, за реку. На реке подготовиться и дать бой немцам.

Драгаться на реку — это, я знаю, мы умеем делать с особым искусством. Если уж пойдем ко дну, то не иначе, как на шеях тонущих гитлеровцев.

...У меня большая работа. Днем я заехал в полевой госпиталь, очень знакомое мне по Финляндии учреждение. Там лежало 70 человек тяжело раненых красноармейцев. Почти половина раненых прибыла к нам в первые дни из других частей.

Галицкому я совсем на глаза не попалось, а начальнику политотдела тов. Корпик заявил, что хочу помочь эвакуировать госпиталь.

— Даже возлагаю на тебя всю ответственность за это, — заявил Корпик.

Ночь темная, дождливая. На горизонте беспрерывные вспышки: и молния и разрывы снарядов.

Выделенные 60 повозок под раненых куда-то к черту провалились. Наверно, запутались в лесу.

Госпиталь в лесу, в 200 метрах в стороне от дороги. Время не ждет. Решаю: раненых вытаскивать пока на дорогу, выкладывать вдоль ее и в случае, если не будет повозок, погрузить их на проходящие автомашины, на оружейные лафеты.

У меня шесть красноармейцев и два командира — Мельников и Мизин. Они, правда, сами легко ранены. Пришли в госпиталь перевязаться, а я их объявил санитарями.

Ребята горячо взялись за дело. Через два часа мы вытащили из леса на дорогу всех 70 человек. Санитары от усталости и изнеможения падали около раненых, но я сказал им, что они — орлы, герои, переписал их фамилии. У людей вдруг нашлось еще немного силы, и мы начали подкладывать раненых на проходящие машины.

Подъехал Галицкий. По его приказанию пять машин были тут же разгружены от каких-то запасных частей и продуктов и заполнены оставшимися у меня ранеными.

Когда все раненые и санитары были отправлены и я остался один на дороге, ко мне подошел Галицкий и ласково взял за плечо:

— Ну, как, товарищ Поляков? Теперь, я надеюсь, вы и без моей помощи прекрасно ориентируетесь в обстановке?

— Отлично ориентируюсь, товарищ генерал, — вспоминая наш недавний неприятный разговор, проговорил я.

С генералом в его машину мы отправились к переправе.

Немцы заранее позаботились отрезать нам пути отступления.

Взорвали авиабомбой большой, так называемый горбатый, мост. Но переправа полным ходом шла по временному мосту и вброд.

Пушки за пушкой, машину за машиной мы перетягивали тракторами или конной тягой по дну реки на безопасный берег.

По горло в воде или верхом на бревнах, погруженных в воду, работают саперы капитана Башкирова. С топорами, привязанными бечевкой к кистям рук, — чтобы не потерять в реке при случайном падении, — бойцы-саперы не прекращают работы и во время бомбежки. Время дорого!

Зенитный дивизион капитана Мачульского, прикрывающий переправу, устраивает наверху, в воздухе, настоящий ад каждой ловой стае фашистских налетчиков.

Вся тяжесть обороны переправы от сдвигающегося к реке наземного врага легла на часть тов. Украинского и противотанковую дивизию тов. Ивалова. Наши погибло 11 человек, но зато все части дивизии переправились в полном порядке.

Заслуга успешного отражения противника и спасения материальной части на переправе принадлежит еще одному подразделению... многотиражной газете!

Редактор газеты Плетнев, прибыв со своим двумя автобусами к берегу, узнал, что его очередь переправляться еще не подошла.

— Это хорошо! Успеем газету выпустить, — обрадовался он. Уже была набрана первая страница, где приводились цифры фашистских потерь и сообщения Советского Информбюро.

Кто-то подал мысль: подкинуть в прикрывающие переправу части одну первую страницу. Будет, как листовка.

Пачки газет-листовок были немедленно отправлены на позиции. Но бойцам газета не попала. Она досталась... немцам. Мотоциклист, подвозивший газеты, прибыл к расположению арьергардных частей в момент, когда неприятель открыл сильный артиллерийский огонь.

Взрывная волна опрокинула мотоцикл нашего связного. Пачки с газетой рассыпались по дороге. Ветер рванул их в разные стороны, и бумажный смерч завертелся над неприятельской пехотой. Это немедленно привлекло внимание немецких солдат. Они забросились на листовки, забыв об атаке. Немецкие офицеры кинулись к солдатам, стали обыскивать их карманы, отбирать газеты. Видно, офицеры готовы были пожертвовать атакой, лишь бы уберечь своих солдат от

советских листовок. Но солдаты продолжали подбирать летящие газеты и засовывать их в мундиры.

Случай с газетой задержал немецкую атаку на тридцать минут! За это время наши части закончили переправу. Последним двинулся на тот берег со своими автобусами редактор Плетнев. Переключивший типографской краской, он удовлетворенно рассматривал свою газету, не подозревая, что она шатворила у немцев.

К утру части дивизии рассредоточились в лесах. Наша артиллерия на предельно больших дистанциях через реку громила колонны мотопехоты противника, не давая им приблизиться к самой реке.

В течение дня я по поручению Коряка и генерала остаюсь на переправе с капитаном Казакевичем. Организуем переправу буксировочных тракторов, оставших и застрявших машин.

Через нас беспрерывно летят с взлетом и ревом артиллерийские снаряды. Раз десять налетала и бомбила вражеская авиация.

Но что это за летчики? Котьята смелые! Груз, сброшенный ими на переправу, равен десяткам тонн, но от этого не пострадала ни одна наша полутонна.

От бомбежки убегаем в поле, в рожь. Приветливо кланяются нам золотистые тяжелые колосья.

А василочки, эти вечные спутники клещевого моря! Десятками тысяч голубеньких глаз проглядывают они сквозь ржаные былинки.

Лежа в борозде и ожидая конца палета, я люблюсь сорванным васильком. Как-то машинально загнул цветок в пряжку наплечного ремня да так и проходил с ним до вечера.

Почти совсем созрела нива. Со дня на день надо бы приступать к уборке, а тут эта проклятая, затаенная фашистами война, обрекающая хлеб на гибель, людей на голод и истощение.

Но все равно вам — гадам, фашистам — хлеба ни колоса не оставим. Самы сожжем его. Подыхайте с голода, несущие голод!

...К вечеру на переправе меня ранило. Осколком авиабомбы вырвало вместе с куском сапога кусок мышц из верхней части стопы, на самом ступне. Быстро закрутили бинтами. Сгоряча совсем не чувствую боли и рад, что меня не берет даже авиабомба. «Вот черт, — думаю, — с белофиннами, что ли, сговорились? Угодили опять в правую ногу, в которую был ранен в Финляндии».

Опять вытягиваем машины. Я поправлял железный трос у трактора. Обрыв. Удар тросом по той же ноге, немного выше раны.

Теперь уж и прыгать не могу. На одной из машин уехал в лес, во власть медиков.

Какой же из меня теперь вояка с одной ногой? Вот я все жаловался, что записки делать некогда, а теперь — пиши сколько угодно. Сегодня я только и способен воевать карандашом на бумаге. Но кому и зачем это здесь надо? Оставляют меня где-нибудь в деревне лечиться, а там и немцы подойдут да «вылечат»...

Подоспел Галицкий.

— Загрузити, выслу? Напрасно. Чую, о чем думаете. Никто вас не оставит. Любая машина, любой конь для вас. Вы и в таком виде для нас очень нужный человек.

Растроганный вниманием, я бормочу что-то несвязное.

В который раз я убеждался в высоких человеческих и командирских качествах генерала Галицкого. Каких замечательных людей вырастила наша страна! Каких талантливых полководцев воспитал великий Сталин!

30 ИЮНЯ.

Переправившись через реку, мы заняли район для обороны в лесу. Наши намерения остались прежние: неуклюжко идти на восток, в сторону фронта, на соединении с основными частями Красной Армии...

Просыпалось на рассвете в машине...

В тылу, в пяти-шести километрах к востоку, слышался гул тяжелых самолетов. К машине подбегает начальник штаба. Галицкий приказал ему выехать в район, над которым появились фашистские самолеты, и точно выгнать обстановку. В этом месте еще в вечера патрулируют броневики и бойцы мотострелковой роты батальона майора Щуки.

Щука накануне предупредил командование, что на пути нашего следования замечен вражеский самолет, с подозрительной настойчивостью крутившийся над одной из лесных полян. Предположив высадку фашистского десанта, Щука приказал командиру мотострелковой роты Кашееву и командиру бронероты Леонову окружить эту поляну и вести за ней и за воздухом наблюдение.

Наша машина помчалась. На горизонте я увидел несколько фашистских самолетов, кружащих на высоте 500 метров. Останавливаем машину...

Воевать не могу, так буду записывать все происходящее. Вынимаю свой изрядно потрепанный блокнот. Оглядывалось по сторонам. Невдалеке от себя скорее угадываю, чем вижу, искусно замаскированных бойцов подразделений Леонова и Кашеева, расположившихся по опушкам поляны в ожидании шепотных воздушных «гостей».

Но вот гул самолетов становится сильнее. Впереди летит вчерашний разведчик, а за ним 9 транспортных машин. Они считают себя хозяевами положения, смело идут на низкой высоте.

Транспортные фашистские самолеты представляют весьма неприятное зрелище. Громоздкие, пузатые двухмоторные машины размазаны черной и желтой краской. Фашистские кресты и свастика и на плоскостях, и на хвостовом оперении, и по бортам раздутого фюзеляжа.

Разведчик делает разворот над поляной. Транспортные машины повторяют его эволюции.

— Будет десант! Приготовиться к уничтожению! — громко командует Кашеев.

На высоте 300—400 метров, немного не доходя поляны, разверзлось черное брюхо первого самолета. И точно взрыв под фюзеляжем, появилось клочковатое облако грязного дыма. Но это не дым. Это трезно-зеленые парашюты и комбинезоны парашютистов. Из нижних люков самолета вывалились десятки полтора десантников-фашистов. За ними выбросилась вторая группа...

Каждый из вражеских парашютистов в первый миг в силу инерции летит еще вместе с самолетом. Но вот надулись купола, натянулись стропы. Диверсанты болтаются в воздухе.

— Огонь! — с ожесточением на весь лес выкрикнул Кашеев и сам дал первую очередь из автомата по парашютистам. Огонь десятков автоматов и пулеметов сотряс воздух.

Пули, как пожом, распарывают вражеские парашюты. Точно лопнувший пузырь, парашют сразу превращается в сморщенную пленку и быстро падает на землю вместе со своим «грузом». Но некоторые диверсанты уже достигли земли. Вот они касаются ногами зеленой луговины. Но что это? Ноги у бандитов подламываются, точно глинастые: на поляну, подвешенные к парашютам, опускаются трупы фашистов.

Считанные минуты длится воздушный бой. Самолеты выбрасывают диверсантов, как горох. Многим из них удалось опуститься живьем... Идет наземный бой. Фашисты яростно защищаются. Приземляясь, они тут же залегают и мгновенно открывают огонь из автоматов. Но безвыходно их положение! Проклятая своего неудачного лодыря-разведчика, офицеры пытаются организовать на поляне круговую оборону. Всего ведь сброшено около 150 человек.

Но какая цена круговой обороне, когда здесь почти за сутки отлично подготовлено круговое нападение.

Со всех шумных леса, из травы, из кустов, с деревьев вели ожесточенный прицельный огонь пушкинские стрелки и пулеметчики. Потери есть и у нас. Я вижу, как, обливаясь кровью, падает невысокий смуглый боец. Командир стрелкового взвода младший лейтенант Калмыков получает ранение. Хочется бросить блокпост и стать на место Калмыкова, но его не нужно замещать — младший лейтенант продолжает разговаривать с врагами языком своего автомата.

Немцы падают на поляне, как дохлые мухи. В отчаянии они пытаются броситься в атаку и тут же натываются на пушечный и пулеметный огонь броневиков Леонова и Лося.

Гиды почувствовали неминуемую гибель. В ядре оставшихся в живых парашютистов утрачено всякое управление. Бросая оружие, с дыком, приглушенным воем они бегут враспыленную.

Лишь несколько десятков фашистов провалялось сквозь засаду и разбежалось по лесу. На поляне валяется 80 трупов вражеских парашютистов. Попытка врага отрезать нам пути отхода, нанести внезапный удар ножом в спину, потерпела крах.

...Мы возвращаемся на командный пункт. Вслед за нами на грузовиках пушкинские разведчики везут богатые трофеи: автоматы новейшего образца, ручные пулеметы, гранаты, оптические приборы, взрывпакеты, несколько минометов. В сумках и карманах убитых парашютистов оказалось много фальшивых документов на имя советских граждан и бойцов Красной Армии.

На бриллиантовых приборах, париках, зеркальцах, припасенных фашистами, — клейма французских фирм. Видно, это были опытные десантники, побывавшие с таким же «визитом» во Францию. Им легко было прыгать над Елисейскими полями и шарить на полках парижских косметических магазинов. На наших советских полях они нашли свою могилу.

...Пока шло уничтожение парашютного десанта, Линько и Лукач вели телефонную линию к одному из наших фланговых подразделений. Связисты пересекали шоссе на дороге и раздумывали: закопать или подвесить провод. Но вдруг невдалеке показался немецкий мотоциклист.

— В канаву! — крикнул Линько.

Связисты спрятались, не успев как следует натянуть провод, висевший на метр от земли.

Мотоциклист приближался во весь опор, но вдруг резко затормозил машину и разразился ругательствами. Провод болтался на уровне руля мотоцикла и мешал ехать. Фа-

шист считал провод своим, приподнял его и предвинул вперед машину. Но, видимо, ему предстояло ехать по этой дороге обратно. Он вынул тетрадь, вырвал из нее несколько листов бумаги и повесил их на кабель. После этого мотоциклист укатил.

— Вот видишь, немец недоволен нашей работой. Провод плохо натянули, — промолвил Линько.

Лукач сосредоточенно смотрел на подвешенные немцем бумажки.

— Вот вернется — дозволит будет, — сказал он и с хитрой улыбкой добавил:

— Давай попробуем его поймать. Совсем нетрудно.

— А как?

— Как диких лошадей, мустангов, ловят. На них индейцы петли накидывают. Лассо называется. И мы наподобие этого сделаем.

Включившись в провод, связисты попросили разрешения задержаться минут на двадцать. Разрешение было получено.

С провода сброшены немецкие бумажки. Лукач сложится в канаву по одну сторону дороги, Линько — по другую. Провод они положили поперек шоссе и взяли его в руки.

Началась репетиция: по сигналу Лукача они быстро выкачивали провод метра на полтора — вверх, вниз. Так проделали десятки раз, вслушиваясь, не возвращается ли мотоциклист.

Вскоре послышался треск мотора.

Мотоциклист все ближе и ближе. Он на большой скорости. Сейчас промчится над черной шишкой провода, но провод мгновенно вырастает на уровне его шеи. Удар. Вскрик. Седок кубарем летит на шоссе. Далеко откатывается его каска, подпрыгивая и звеня. А мотоцикл с прикрепленным к рулю пулеметом, пролетев вперед, опрокидывается в кювет. Мотоциклист стиснут за горло железными руками отважных связистов...

1 ИЮЛЯ.

Запомним о «будильниках».

Они появились ровно в 6 часов утра, зеленые, с черными крестами на концах плоскостей. Пятерка бомбардировщиков, появившись с запада, начала делать разворот для атаки над территорией нашего лагеря.

С обычного прямолинейного полета бестолково свыпрыгют мелкокалывберные бомбы. Люди просыпаются, торопливо протирают глаза.

— Прямого попадания в меня не было? — спрашивает шутник.

— Кажется, нет, — серьезно успокаивает сосед.

Некоторые продолжают еще крепко спать. На них не действует никакая бомбежка. Человек ко всему привыкает.

Пятерка улетела. На командном пункте слева спокойно, в отрядах тоже.

— Как бы опять не вернуться,— опасно говорит боец с забитой рукой.

— Ну и что же, со страху помирать, что ли? — замечает другой.— В поле вон мужики безо всякой опаски пахнут. Давеча бомбы летят, а один дядька в белой рубашке пахнет и пахнет...

Вечером на командном пункте появился тот, кому мы обязаны посещением этой пятерки, а затем целой эскадры из 36 машин.

Перед батальонным комиссаром Демажировым под коновое двух разведчиков стоял со связанными назад руками пожилой худощавый человек в новой ослепительно белой льняной рубашке. Глаза его дико бегали по сторонам.

Разведчики поймали его за очень страшным занятием во время авиационной атаки. В то время как все крестьяне укрылись от фашистов в лесах, этот «труженик», надев праздничную белую рубашку, выехал в поле. В километре от нашего командного пункта он пропахивал картошку.

Пропаху он начал еще до появления вражеских самолетов и с подозрительным беспокойством продолжал ее во время бомбежки.

Как только кончился налет, разведчики Борнейчук и Плахта, наблюдавшие за работой «пахаря», подбежали к нему.

— Дядька, ты чего не укрываешься? Разбомбить могут.

— Они, сыночки, все равно целиться не умеют. А картошка-то не ждет.

Разведчики, разглядывая картофельное поле, вдруг заметили: свежие борозды проложены не только вдоль картофельных гряд, но и поперек их и наискось. Все они тянулись в сторону рощи с командным пунктом, лучами шли и в направлении огневых позиций артиллеристов.

— Что это за борозды?

— Так у нас пропахивают.

Бойцы переглянулись. Подозрительное дело. Нужно доставить «пахаря» к командиру.

Но он итти наотрез отказался. Пришлось применить силу.

И вот он стоит теперь перед нами — презренный шпион, продавший фашистам Родину.

Припертый к стене, кулак Гончарук откровенно во всем признался: работает агентом немецкой разведки четыре месяца. Специальность — «наводчик». Это он утром наводил фашистскую пятерку. Но его же целеуказаниями действовала и эскадра. Он работает уже несколько дней. Белая рубашка — условный опознавательный знак. Небольшой двадцати-

метровый рейс за сохой на виду у самолетов — направление на цель.

Наводчик фашистских самолетов расстрелян.

Расположение нашего лагеря точно известно врагу. Больше, чем сама бомбежка, взволновал нас этот случай.

Командиры и политруки призывают бойцов к еще большей бдительности. Галицкий отдает приказ:

— К утру нас здесь не должно быть.

Все готовятся к ночной перебазировке.

Солнце медленно ползет к закату, разбрасывая золотистые лучи. Но нам сейчас не до восхищения небесным светилом. Оно мешает нам.

— Скорей бы за лес завалилось,— терпеливо говорят командиры.

— Нам позарез нужна ночь. Она длится всего четыре часа, а мы должны к утру быть в тридцати километрах отсюда.

Бюлчю запись. Сейчас уезжаем.

2 ИЮЛЯ.

Всю ночь передвигались без огня, без шума, без разговоров вслух.

Артиллерийские колонны по групповым дорогам, чтобы меньше было грохота. При пересечении шоссежных дорог и железнодорожных переездов орудия тихо перекачивались по разостлавшим красноармейцами шинелям.

После тщательной разведки района начальника штаба Полорванов вместе с командирами, делегатами связи, регулировщиками выбрасываются вперед. К полходу колонн все готово. Колонны прямо с марша, без малейшей задержки на дороге, занимают в лесу свои места. Строго продумана система охранения. Непосредственно с марша расставляются силы для круговой обороны.

...Рассвет. Воздушные разведчики врага еще не появлялись, а мы в утреннем тумане уже заканчиваем последние маскировочные приготовления. Нам ведь такая махина: много людей, машин, коней, орудий... И все это, благодаря опыту истекших дней, вращает в лес, сливается с ним быстро, незаметно, искусно.

Утро. Допонется гудение самолетов разведчиков. Но пусть попробуют они сегодня что-нибудь заметить в лесу,— видны лишь деревья, или да кусты. Казалось безвыходным положение с конями. Они всегда и везде нас выдают. Но ш тут нашлись изобретатели: часть лошадей загнали в овраг, часть выгнали без седел пастиры на поле.

Только сейчас стало окончательно известно, что задумал командир на сегодня. У Га-

личного все мы о своем ближайшем будущем могли знать только одно: с минуты на минуту начнется бой. Будь к нему готовым!

Что же касается привала, — можно себя не обнаддеживать. Будет подходящее время — будет п отдых.

Сейчас Галицкий приказал сделать дневку, дать возможность отдохнуть уставшим и изголодавшимся за двое суток бойцам.

Далеко на юге в небо вырвалось пламя пожара. Что бы это значило? Никаких стычек, перестрелок... Опять какой-нибудь сигнал «наводчика». Не рубашкой, так огнем.

Оказалось совсем другое.

...Бойцы, посланные к месту пожара, вскоре вернулись оттуда с двумя полуголыми крестьянами — мужчиной и женщиной. Ключья истлевшей от огня одежды еле прикрывают израненные тела, покрытые ожогами, волдырями.

Крестьяно Перлов и Верова чудом спаслись от мучительной фашистской казни. Вот что и записал в свой блокнот со слов пятидесятилетнего Перлова.

В деревню Г. въехало на грузовиках свыше 300 фашистов. Они сразу же, как голодные собаки, бросились по домам, требуя хлеба, мяса, яиц... Грабежу подверглись все хаты. В доме Перлова и его соседей было спрятано двенадцать раненых красноармейцев. Фашисты их обнаружили. Бандиты хотели тут же прикончить бойцов, но затем начали ловить крестьян и загонять в эти хаты. Потом снаружи подперли двери столбами, и офицер что-то скопанировал. Носильщика треск разгромившихся сучьев. Вспыхнуло пламя. Люди пытались выскочить через окна, но звери-фашисты открыли пулеметный и винтовочный огонь. Лишь немногие сумели выскочить из огня, уцелеть от пуль и пробиться сквозь цементные посты.

— Вот спаслись и мы, — тихо говорит Перлов. — Схоронились в овраге. Видели, как горела вся наша деревня со всеми людьми. Все спалили, проклятые проды!

Перед нами — живые свидетели и жертвы средневековых злодеяний немецких извергов. Как я потом узнал, фашистские инквизиторы сожгли на костре свыше ста беззащитных людей, главным образом детей и женщин.

— Отомстить гадам! — раздался чей-то гневный голос.

— Сегодня деревню уже не спасти, а за мстью дело не станет, — сдержанно ответил Галицкий. — Через час об этом узнает все население округи. Оно будет вместе с нами метить извергам.

Командиры услышали от Галицкого очень важные сообщения о том, как дальше вести войну партизанскими методами. Крепко запом-

илась основная мысль: успешная партизанская борьба с врагом даже регулярной части немыслима без опоры на местное население.

И вот в окрестные населенные пункты организовались специальные разведывательные группы, в состав которых, кроме разведчиков, включены командиры, политработники, хозяйственники. Уже через несколько часов началась работа этих групп, и особенно политических работников, столь предусмотрительно включенных Галицким.

Ночью батальонный комиссар Корпьяк рассказал мне, как он со своей группой проник в дырявый сарайчик, приютившийся на одном из отгородов деревни П. В этой деревне были немцы. Корпьяк поманил рукой проходившего мимо мальчонку. Дело было сделано. Спустя некоторое время в сарайчик приковыляли два старика. Они сообщили ценные сведения о неприятеле, а Корпьяк поведал им наши нужды. Так же действовали и другие разведывательные группы.

Не прошло и нескольких часов после их ухода, как на пункт связи посыпалась донесения о задержании «подозрительных» лиц. Поражала одна деталь: все эти люди почему-то застревали в охраняющих подразделениях и не доставлялись на командный пункт для допросов.

Я спросил разрешения проехать по этим подразделениям посмотреть на задержанных. Вместе с майором Портновым прибыл в подразделение Галикина. Спрашиваю:

— Где задержанные арестованные?

Командиры почему-то смущаются. В явном смущении они отвечают:

— Вот... здесь они... задержанные...

В густом ельнике на лужайке передо мной открылась неожиданная картина. Окруженные большой группой бойцов, сидели крестьяне и крестьянки в своих белорусских костюмах. Шел оживленный разговор, во время которого бойцы то-и-дело прикладывались к крышкам и бутылкам с молоком, которые целыми батареями стояли на лужайке. В глаза мне бросилась пожилая крестьянка со сдернутым на плечо платком, энергичными чертами лица и крупными загорелыми руками.

Агафья Степановна — мать бойца Красной Армии. Она услышала от надежного человека в деревне, что красноармейцы в лесу, нуждаются в пище, и тотчас же ринула:

— Сквозь огонь и воду пройду, по дорогим сыпоткам отнесу небогатый гостинец.

Агафья Степановна рассказала, как ей удалось обмануть немецкие патрули в деревне и пробраться к нам в лес. И вот она в окружении «своих сыночков» с «небогатым гостинцем»: кляло сала, два кляло масла и десять бутылок молока, — все это было спря-

тано под одеждой предприимчивой красноармейской мамашы, замечательной патриотки нашей родины. Шесть остальных крестьян и крестьянок были односельчанами Агафьи Степановны, которых она подговорила пробраться в лес с такими же гостеприимцами.

В подразделении тов. Горчакова застаю, кроме четырех взрослых крестьян, целую ватагу загорелых, простоволосых и босых ребятишек. Все они принесли продукты. Ребята оказались очень осведомленными разведчиками. Нам было подробно доложено: сколько, по каким дорогам и с каким оружием прошло немецких войск.

Деду Куприяну, крестьянину деревни, в которой побывал Корпьяк, удалось вывезти из-под носа немцев целый воз картошки. Фашистскому часовому дед Куприян сказал, что едет на немецкий реквизиционный пункт, а сам, подвергаясь нешуточной опасности, свернул в лес, к нашим.

Вернулись из глубоких рейдов и все другие разведывательные группы. Каждая из них, кроме сведений о враге, принесла с собой запасы продуктов.

Сегодня был прекрасный ужин: ели картошку и мясо с хлебом.

Крестьяне удовлетворенно наблюдают за нашим пиришеством. А я смотрю на деда Куприяна. Он сидит под елью, положив на колени крупные жилистые руки — мочуные руки пахаря, и, глядя на него, я думаю: «Вот такой, верно, был русский былинный богатырь Микла Селянинович». Тысячи этих Селяниновичей отстаивали свою родину в борьбе с иноземными завоевателями. Отстоят они ее и теперь, в великой отечественной войне.

3 ИЮЛЯ.

Дед Куприян рассказывает по нашему лагерю, опираясь на толстую суковатую дубину. Он привык к тому, что во дворе у него все прибрано, ничего зря не валяется. И здесь он наводит чистоту: подбирает стрелыные гильзы, коробки из-под патронов, но по нахмуренным бровям его видно, что он что-то «мозгует».

В батальоне связи, расположенном вблизи командного пункта, было десятка два принесенных крестьянами живых кур. Кур девать пока было некуда, а чтобы не разбежались, их кто-то привязал за ноги к радиодушке.

— И курятник хороший имеется, а зачем же птицу бедную за ноги привязали? — возмущился Куприян.

— Это радио, а не курятник, — обиженно ответил ездовой красноармеец.

— Я знаю, радио... Только вот, если за ноги курей привязывать, они нестись перестают. Тогда им хоть какое радио, с музыкой

хочешь или с песнями, все равно не запелуются.

— Мы их держим не для яиц, а на обед, дедушка, резать будем, — отвечали красноармейцы.

— А, тогда дело другое, — успокоился дед.

Он подходит ко мне и, глядя на блокнот, куда я записываю несколько слов, говорит одобрительно:

— Пиши, пиши... Грамота штука полезная.

Но я чувствую, что это только вступление к главной теме.

— Что-то я комиссара не вижу, товарища Корпьяка, очень он мне нужен... дозарезу. Обходительный человек. Сурьезный...

Дед Куприян привязался к батальонному комиссару с первого их знакомства в деревенском сарайчике. Они как-то сразу прониклись взаимным уважением и доверием друг к другу.

— А в чем дело? — спрашиваю я.

Дед Куприян мнется, покашливает и вдруг торопливо уходит, увидев вдалеке товарища Корпьяка. Отойдя в сторону, они о чем-то оживленно говорят, — дед показывает рукой на восток. Днем — воз картошки, а сейчас затевалось какое-то новое, более крупное дело.

...Весь штаб с вечера не ложился спать, — готовится план дневного боя с фашистами: нужно пробиваться дальше, выходить из окружения.

В полночь около полевого столчка командира появился из тьмы две черные человеческие фигуры. Лишь вблизи я узнал их: то были батальонный комиссар Корпьяк и дед Куприян, проводник части.

Деда узнать было почти невозможно. Он походил на сказочного водяного, только что вылезшего из своего омута. С косматой и непокрытой головы и с плеч свисали остатки мха и длинных водорослей. Насквозь мокрая полотняная рубаха и штаны плотно облегли его еще довольно крепкое тело. На лице, обросшем густой окладистой бородкой, даже в ночной темноте выделялись прежде всего его живые, с хитрецой, глаза.

Корпьяк — тоже мокрый до пятки; но батальонный комиссар и в этом виде не терял своего командирского облика. Послав деда на кухню за провизией, Корпьяк, вытирившись, стоял перед командиром и четко докладывал ему результат разведки окрестных деревень, произведенный силами местных крестьян, знакомых и друзей Куприяна.

— Где так вымокли?

— Пришлось в одном месте вести наблюдение из... труда, — ответил комиссар.

Корпьяк сообщил, что фашисты, снайперы

вчера деревню Г., разгромили в соседней деревне винный магазин, перепились, и теперь многие из них спят беспробудно.

— Это очень кстати... В таком случае выступаем не на заре, а немедленно, — решил командир.

Над уснувшим лагерем пронеслась приглушенная, но энергичная команда:

— В ружье!

Бойцы повскакали, поправляя оружие, противотазы, разыскивая папирусы товарищей по отделению... Через пятнадцать минут после подъема мы уже двигались под покровом ночи.

Марш-бросок на семь километров. Командиры подразделений непрерывно на ходу освещаются о противнике. Разведчики подтверждают: три батальона мотострелкового полка расположились на ночлег в двух селениях вдоль шоссе — отдыхать после вчерашних «подвигов». В самом деле, нелегко перестрелять мирных крестьян, спалить деревню, вылить вею воду...

Подойти к этим деревням скрытно нам не позволяет чистое поле. Но дороге едут фашистские грузовики. Наши подразделения развернулись на опушке леса. Здесь установили артиллерию.

Мне очень досадно, что я не смогу увидеть собственными глазами предстоящий бой. Стоим с машинами в густом лесу, вдали от подразделений. Галицкий с оперативной группой умчался на броневиках вперед... Как я ему завидую!

В лагере фашистов, заткнутых взрешлюх, раздались первые беспорядочные выстрелы из автоматов, взрывы гранат. Начали долбить и наверняка прямой наводкой, наши батареи. Артиллерийских ответов противника пока не слышно. Это уже совсем замечательно...

Бой разгорается все сильнее и сильнее. По затихающим разрывам наших снарядов определяю, что наша артиллерия переносит огонь вглубь расположения противника — значит, отходят гады. Вот только мы здесь с машинами наподобие плохих обозников, — ни с места. Каково это моему сердцу войскового артиллериста? Сидеть в разгар боя в легкой машине и чувствовать себя в нудной роли какого-то фронтового статиста...

...Передо мной очевидцы боя. Они рассказали:

...Фашисты, разбуженные нашими снарядами, выскакивали на улицы, не успев надеть сапог; так и вступили в бой — босые, обалдевшие, полусонные. Но у босых было то преимущество, что они могли быстрее удирать от наших бойцов. Удрали и шоферы на грузовиках, покинув на произвол судьбы пешеходу...

Догоняя их, дед Куприян вместе с бойцами бежал вперед, размахивая своей дубинкой. Видели, как он молотил своим грозным «оружием» по голове одного фашиста, отставшего от своей палки потому, что в панике успел потянуть только один сапог...

Фашисты бежали, оставив нам обоз и свыше 150 убитых и раненых. Мы потеряли не больше 30 человек.

Бой окончился на рассвете. Я видел радостные лица наших бойцов, возбужденных, счастливых, что им удалось отомстить фашистам за их зверскую расправу над незащитными крестьянами, за сожженную деревню Г., за убитых женщин и детей...

Дед Куприян явился с поля боя с лопаткой в брезентовом чехле, на котором чернели темнеющие инициалы владельца лопатки.

— Хорошая штука, острая, — сказал Куприян, проведя заскорузлыми пальцами по лезвию. — Картошку ей удобно копать.

Потом я видел Куприяна на улице деревни, оцифленной от фашистов. Он стоял перед грудой саперных лопаток и никак не мог выбрать самую хорошую — все казалось ему прекрасными. Наконец, он отыскал лопатку и повесил ее на пояс, как почетное оружие.

4 ИЮЛЯ.

Все тяготы походной жизни вместе с нами испытывают наши четвероногие босые товарищи — кони и связные собаки. Кони отощали: они давно не видели овса, питаются подожной травой, да и той в иные дни не бывает. У многих коней потерты плечи и, чтобы уменьшить страдания животных, ездовые сооружают на хомутах подушки вокруг ран на плечах. Давно уже все командирские кони ходят в запряжках, а командиры ездят на потертых орудийных конях.

Люди сутками в боях не спят, каждые пять минут сна здесь более драгоценны, чем два часа в мирное время. И все же первая свободная минута отдается прежде всего коню, боевому другу.

...Как-то я спросил у командира Галикина: — А какая-нибудь уборка коней у нас бывает?

— Обязательно бывает, каждоедневно. Особых часов или минут никаких, конечно, нет, но бойцы сами находят время. Проверяем.

...Сегодня на рассвете я — в дивизион тов. Попова. Давно у него не был, с тех пор, как он расстрелял своей батареей в упор 18 немецких танков, прорвавшихся на огневую позицию. Мы с ним тогда вместе еще пальцами пересчитали эти гробы.

Теперь Попов командует уже не батареей, а дивизионом.

Ездовые забрались с передками в сторону от дороги, в густой ослиник. Человека три охраняло, человек тридцать спали. Но как спали? В объёме с лошадьми. Бойцы говорят, что это для большей боевой готовности: вкочил по треворе — и уже на коне, можно мчаться к орудиям. Некоторые откровенно признаются: с конем на земле спать теплее...

Ездовой Немов занимается стиркой. Он принес в каске воды из болота, намочил свои грязные портянки и колотит их палкой на шеньке, как вальком.

— Вот это добре! Ноги уж никогда не потрепешь, — говорю я бойцу, заинтересовавшемуся его работой.

— Это я не себе, лошади, — отвечает боец.

— Как так лошади? — удивляюсь я. — Что, она у тебя в портянках ходит?

— Нет, на плечи, на подушки. Туда чистенькую падо.

— Тебе же самому портянки нужны.

— Самому можно походить и на босую ногу.

Некоторые бойцы на устройство подкладок, подушек для лошадей употребили свои нижние рубашки.

...Из лесу пришел весь мокрый и грязный, с лопатой в руках и санитарной сумкой на боку, ветеринарный фельдшер.

— Ну, как? — спрашивает его командир отделения тяги.

— Готово. Вырыл. Весь дивизион напоить можно.

Вот это, — думаю про себя, — медик! Этот не будет отсиживаться и ждать, когда ему доложат о прибытии больного четвероного пациента. Он сам первый ходит к больным, заботится о них. Забрал вот лопату и пошел ночью искать источник для утреннего водоя коней. Пока спали утомленные за день бойцы, он вырыл близ болота прекрасный колодезь.

Командир отделения тяги разбудил бойцов:

— Понять коней!

По передки в любой момент могут быть вызваны на батарею, поэтому на володой коней отправляют по очереди, запряжками.

Все ездовые, используя минуты ожидания, прохаживаются конской щеткой по толстым и жилистым телам животных. Один боец, не забывая о наставлении по уходу за конем, протирает тряпочкой глаза своему четвероногому другу. Он с ним о чем-то разговаривает... Приближаюсь. Интимная сцена. На ломаном русском языке боец-узбек говорит коню:

— Не-скачай, «Колорит»! Видишь — никто не скачет. Сейчас воду пить будешь. Хорошую воду, сам твой доктор доставал... Овее хочешь? Ай-ай-ай! Какой капризный!

Потерял немного — немцев покормим, овса тебе дам много-много.

— Товарищ, как ваша фамилия? — спрашиваю.

— Красноармеец Гуссейнов!

Тут я замечаю, что в руках у Гуссейнова вовсе не тряпочка, а носовой платок.

— Что же, вместе пользуетесь?

— Нет, я ему совсем подарил. А мне одна девушка обещала 24 штуки прислать...

С дороги к нам свернуло в полной запряжке орудие. Вел его командир огневого взвода Самсонов. Люди возбуждены и чем-то очень довольны, хотя вид у них такой, точно они только что вышли из атаки. Черные от пыли и копоти лица с бурными полосками на висках — следы пота. Гимнастерки, ставшие вместо зеленых серыми, насквозь мокрые, прилипли к телам бойцов.

— А, кочевники! Как дела? — обрадованно встретили мы прибывших. Они стали рассказывать.

Орудие в прошлую ночь получило приказание быть «кочующим», т. е. переезжать с одного места на другое и изображать собой действующую батарею.

Зачем это надо? Став на огневую позицию, орудие дает несколько выстрелов.

«Есть батарея!», — немедленно запишут звукометрические станции немцев и отметят на карте.

«Нет батареи!» — скажет Самсонов, покидая через пять-десять минут огневую позицию.

Орудие скачет на километр в сторону и продельвает там ту же операцию. Иногда по этому орудию противник дает несколько выстрелов, но, как правило, безрезультатно.

— Сейчас у противника числится на карте 9 наших батарей. Вот смотрите, какой им погром на заре устроят немцы, — улыбаясь, говорит грубоватым голосом Самсонов.

На всех точках, где побывало орудие, огневой расчет занимался, кроме того, очковничательством, как говорят бойцы: нарубался кусты и делалась ложная маскировка огневых позиций батарей.

Это — для авиации, которая «обнаружит» наши «батареи» и этим подтвердит данные звукометрических станций.

— Ну, а пока там немцы будут громить наши «батареи», мы здесь коней попоим, помоемся, оружие почистим, — сказал Самсонов.

Мне не терпится — скорей бы попасть на какой-нибудь из наблюдательных пунктов, чтобы полюбоваться этим замечательным зрелищем: разгромом немцами несуществующих батарей.

...Прибыл на командный пункт майора Бородина, успел. Устраиваюсь в блиндаже, у

стереотрубы. Замечательный обзор местности.

Блкова обстановка? Мы заняли оборону. Линия обороны проходит по оврагу, заросшему густым ивняком. На флангах — листовный лес с почти непроходимыми болотами.

Тактическая обстановка на данном участке не давала повода для жалоб, но обстановка в целом была для нас неблагоприятной. Продвигаясь на восток к фронту на соединение с основными частями Красной Армии, мы безболезненно ускользали от численно превосходящего нас противника, идущего с запада. Но уже вчера мы имели бой с вражескими частями на юге. Разведка встретилась с фашистами на севере. Сегодня встречен артиллерийский заслон на востоке.

Кольцо окружения сжимается все сильнее. — не пробьешься, не выйдешь...

Генерал-майор Галицкий решает: прежде чем пробивать в лоб этот заслон или прерываться из кольца в ту или иную сторону, выявить огневые средства противника и систему его огня. Где слабее, туда и удар; где тонко, там и прорвать.

Снарядов осталось у нас считанное количество. Они нужны для последнего и решительного боя. А нахуливать, выявлять противника снарядами — большая роскошь.

Еще и еще раз на помощь приходят инициатива, военная хитрость и сметка советских людей.

Ложные батареи, «кочующие» орудия и еще целый арсенал других средств, вводящих противника в заблуждение, пуцен в ход.

...По «батареям» немцы дали первые залпы. Одновременно с огнем вражеской артиллерии в небе появились их самолет-корректировщик. «Недолеты», «перелеты», «прямые попадания» и прочее — все это цифрами, кодом передает по радио корректировщик своим батареям.

Огнемпыи шквалом противник пытается уничтожить наши «батареи», обрушивая на них все новые и новые тонны снарядов.

Вот уже два часа мы сидим в блиндажах, а яростная артиллерийская стрельба неприятеля не умолкает.

— А ну, еще немного подайте! — шутит Бородин, уже составивший себе отличное представление о расположении и системе огня противника.

Бородин готов хоть сейчас обрушиться огнем своих настоящих батарей и дивизионов на фашистскую артиллерию.

— Ничего, пусть поизрасходуются, — говорит он.

А немцы неистовствовали. «Что за чертовщина! Бьем два часа, а все девять батарей продолжают отстреливаться, да еще появились новые?»

Дело в том, что в районе ложных огневых позиций в это время разъезжали три «кочующих» орудия, которые умели и отлупно укрываться и бить по немцам с «новых» или «старых» позиций.

Все реже и реже огонь фашистской артиллерии: поизрасходовались. Пехоту свою они совсем не пустили в ход, надеясь, эдакмо, истребить нас одной артиллерией.

Наконец, перестрелка совсем прекратилась. На поле боя наступил огневой штиль. Стороны осмысливают положение. В такое время самое лучшее — быть на командном пункте у Галицкого, чтобы представить себе, что же будет дальше.

Галицкий решает сегодня же использовать всю вторую половину дня, чтоб пробить заслон и продвигнуться дальше.

Его командный пункт расположился на живописном месте — в густых дубовых зарослях старинного кладбища. Вооружившись биноклем, я залез вблизи командира за одной из могил, как за бруствером. Впереди обозревалась местность, на которой происходила артиллерийская перепалка.

Удобнее всех в кладбищенской обстановке устроился начальник связи капитан Сосекин, «пачальник полевой первой системы», как дружески называет его майор Щука. Высокий, подвижной, с сухопавым лицом и быстрыми пытливыми глазами, он непрестанно двигался по кладбищу, что-то разыскивая, что-то комбинируя. Свой узел связи он разместил внутри могильной ограды: под распустившейся пышной сиренью — телефонные аппараты, а на черном мраморном памятнике трехметровой высоты — коммутатор.

Мне тоже удобно: я пишу, положив блокнот на могильную плиту, как на письменный стол.

Начальник артиллерии Доброправов приказал полкам начать артиллерийскую подготовку. Забухали батареи. Противник отвечает. Бой становится ожесточенней. Над головой снова вражеский самолет-корректировщик. Впереди уже не отдельные грязные вулканы разрывов, а сплошная завеса из дыма, земли и осколков.

— Идиот пап огонь. В чем дело? — незловольно бросает генерал в сторону начальника артиллерии.

— Заканчиваем подготовку палета всей артиллерийской группой, товарищ генерал-майор.

— Пока вы закончите, от вас ничего не останется. Торопитесь!

Точно в подтверждение этих слов раздается страшный взрыв тяжелого снаряда. Над облаком земли. От пыли ничего не видно во-

круг. На зубах скрипят земля... Второй взрыв...

Правая нога моя проваливается в яму, образовавшуюся там, где только что была могила. «Одной ногой стою в могиле» — невольно подумал я. Третий взрыв... Я проваливаюсь в воронку. «Двумя ногами в могиле»... Вверху рвутся снаряды, а я в полной безопасности на дне глубокой воронки; вокруг — бранные остатки ислепших предков. Оказываетея, и могила может спасти от смерти...

Генерал на все корки разносит тех, кто плохо замаскировал командный пункт. Он не скучится на злые слова и энергичные выражения.

— А связь? Связь уцелела?! — спрашивает он у капитана Сосекина.

— Связь в порядке, товарищ генерал-майор! — рапортует «начальник нервной системы».

Это сейчас самое главное. Вся артиллерия была готова для группового налета по противнику. В дивизион и батареи подана единая команда:

— Огонь!

Этот огонь был таким дружным и метким, что уже через несколько минут умолкла половина вражеских батарей. Кто-то залутил по самолету десяток «журавлей» — так называют высокие разрывы снарядов, — и корректировщик, вынужденный летать на низкой высоте, покинул поле боя, а за ним убрался и фашистские батареи.

Артиллерийский заслон врага был сбит и уничтожен. Мы продвинулись на восток на 16 километров. Наша берет!

Уж на что скуп на похвалы наш генерал, но и он, разговаривая по телефону с Бородяным и Галкиным, сказал:

— Задержку с огнем не прощаю. По сама стрельба была приятной, — и это прозвучало, как похвала.

Капитану Сосекину генерал-майор объявил благодарность за непрерывную, отлично действовавшую в течение всего боя связь. Сосекин весь светится от радости.

— Ну как, помог памятник? — спрашиваю я «начальника нервной системы».

— Пзумительно. Не будь его, осколками разбило бы мне всю аппаратуру. — Надолго останется у Сосекина в памяти этот памятник.

...Очень натрудил ногу. Уже не могу держать ее на весу. Приливает кровь к ране, — нет, это не кровь, а огонь... Нет сил удержаться от стога. Лихорадит. Кружится голова, тошнит... Еле доплесываю строчки...

Поехал на перевязку в районную больницу. Близкое село, только что отбитое у фашистов. Весь медицинский персонал в свое

время эвакуировался, остались лишь доктор Х. и операционная сестра Соня.

— А вы почему же ушли? — спрашиваю доктора.

— Нельзя, надо работать.

— На немцев?

Доктор, склонившись к моему уху, шепчет:

— На вас... на красноармейцев...

После первых дней войны в эту больницу привезли 18 раненых красноармейцев. Когда в село вошли фашистские разведчики, красноармейцев в больнице уже не было: доктор и сестра ночью с помощью крестьян перетащили 12 человек в лес, к лесничему. Остальных шестерых разместили по сарайчикам в селе. Пять дней фашисты занимали село. Все эти дни доктор и Соня обходили раненых и тайно оказывали им медицинскую помощь, приносили им пищу.

С нашим приходом раненые снова только что были перенесены из сарайчиков.

После перевязки я вошел в одну из палат. Раздалась радостная голос:

— Ура!! Командир!

Больные, забитовальные люди пытаются подняться с коск. Это — красноармейцы; правда, не пашей части. Меня засыпали вопросами...

Все в один голос:

— Наградить нужно доктора и сестру. Они одни остались с нами и спасали от немцев.

Растроганные, они с благодарностью смотрели на доктора Х. и сестру Сою, которые стали для них самыми близкими, самыми дорогими людьми.

5 ИЮЛЯ.

На командном пункте вдруг появился дед Куприян. Целые сутки старик пропадал где-то.

Деда обступили — и Щука, и начальник связи Сосекин, и начальник штаба Подорванов. Все отлично знали: пропадал дед не зря, наверняка «наудил» много ценного о противнике.

Но Куприян знай свое:

— А где товарищ комиссар?

Корняк, услышав о приходе Куприяна, немедленно выскочил из машины, где он что-то писал.

— Стоя, дедушка, скорее. Сейчас генералу обо всем доложу.

— Так уж прямо и генералу? Да мы с тобой поговоримся. Ты же меня посылаи...

— Нет, дедушка, он с тобой сам поговорить хочет... И познакомиться поближе.

— Поближе? Ну тогда погоди.

Дед Куприян сбросил с плеча небольшой, но чем-то туго набитый мешок — с прожук-

тами, очевидно. Затем он поднял вверх свою длинную, свисавшую до колен холщевую рубаху и стал снимать с голого живота красноармейский ремень. На ремне у него висела найденная дня два тому назад саперная лопатка, с которой он теперь не расставался и носил под рубахой, — «чтобы немцы не отобрали».

Старик быстро опоясался поверх рубахи, торжественно расправил складки. Лопатку он фансино перевернул поближе к пряжке и хлопал по чехлу ладонью. Наконец, поплевав на руки, он пригладил свои седые взлохмаченные волосы.

— Вот теперь совсем по форме, — шуточно сказал Корпяк.

— Сам знаю — по форме. На третьей войне, чай... Ну, докладай генералу, что я его жду...

— А мы прямо сразу.

Навстречу деду из-за полевого столика поднялся одетый в полную генеральскую форму и в каске генерал-майор Галицкий.

Видно по старой солдатской привычке, дед сразу вытянулся и замер на месте.

— Здравствуйте, дедушка Куприян! — приветствовал его генерал-майор.

— Здравия желало, ваше высокое превос... Взорв хохота окружающих командиров не дал деду закончить приветствие.

Генерал улыбнулся, ободряюще похлопал старика по плечу и пожал ему руку.

— Ничего, дедушка, дисциплину хорошо знаем.

— Обговорился малость, товарищ командир, — тихо произнес пришедший в себя дед Куприян.

— Ну, а теперь расскажи, где, что видел, слышал? — обратился к нему генерал, приглашая присесть на полосу машины.

Они уселись рядом, близко друг к другу, и я никогда не смогу забыть этой картины.

Они вели деловой военный разговор — генерал-майор Красной Армии Галицкий и белорусский крестьянин дед Куприян.

Дед побывает везде, «куда велел зайти товарищ комиссар». Он посетил несколько деревень, осмотрел участки дорог; везде у него по старой дружбе находились свои люди, готовые для Красной Армии сделать все, что угодно.

Дед Куприян незаметно для самого себя сделался своеобразным командиром разведки. Прята в деревню и обыскав двух-трех своих «корешков», он направлял их в соседние деревни «раззнать все на свете о немцах». Те в свою очередь посылали еще кого-нибудь в деревни дальше. Таким образом разведкой с помощью населения охватывается сразу целый район.

— Еще бы денка два, мы бы тогда про всю Белорусь знали, — сказал дед.

Галицкий развернул топографическую карту.

— Где же ваша Болотня? У меня такой деревни нет на карте.

Дед Куприян искоса посмотрел на непонятный для него зеленый лист.

— Карта — она, конечно, бумага. Все на ней не утешится, особенно деревня большая. А в Болотне — в ней, почитай, дворов за сто будет. Да вот же она вдоль долины как раз. Даже отсюда видно. Колодец новый весной поставили.

Болотня найдена генералом на карте под названием Торфянка. Торф — болото, — есть связь и догадывайся.

Генерал вслушивается в каждое слово Куприяна. Сведения о противнике, принесенные им, очень ценны.

— Ну, дедушка. — поднимаясь проговорил генерал. — За все большое спасибо. А теперь тебя покормить хорошенько надо.

— А я сыт. Покорнейше благодарим. Я голодный не бываю. Я — как пришел в язбу, сол. Бабы тебе тут всякое снабденье выложат. Ешь — не хми. Ну, наемя, а уж потом разведку наводить начну. Скажу что совети, там уже больше и делать нечего: пока ем, бабы все расскажут, старики заходят. Я-то у них вроде бригадира обозначался.

Долго еще мы беседовали с дедом Куприяном. Он прошел солдатом японскую и империалистическую войну и в разведках бывал. В боях с немцами был ранен осколком в плечо. Неграмотный, безродный. Имеет свою избенку. Работал конюхом в колхозе, откуда он и прихватил оставшуюся там лошаденку да привез нам воз картошки.

В первый день дед Куприян собирался пас только проводить до соседней деревни. А вот уже четыре дня как он с нами не расстается, ходит в разведку.

Чую я, что старик этот будет скоро не разведчиком-бригадиром, а партизаном-командиром.

...Пришли на пункт спасенные от фашистской расправы Перлов и Верова. Их раны от ожогов аккуратно перевязаны, на них крепкая одежда. Этим крестьян мы постарались найти какую-нибудь больницу, сделать там перевязку и, если возможно, лечь на несколько дней. Они не только позаботились о себе, но разузнали многое о немцах и с этими сведениями вернулись к нам.

...12 часов дня: Не спим уже двое суток. Галицкий по тревоге приказал сниматься командному пункту и переезжать перекатами, лошадиючно на новое место. Части, однако, остаются на прежних местах.

— Что случилось? — спрашивало у начальника штаба.

Полчаса назад пролетел разведчик и засек наш командный пункт, а вымпел с координатами, сброшенный им для своих войск, отнесло ветром к нашему переднему краю обороны. Вот все и выяснилось. А пока самолет не пришел вторично — меняю пункт.

Близко всего в этот момент ко мне пахотилась машина делегата (связи одной из соседних частей). В ней сидели три незнакомых мне командира, которые согласились подвезти меня на новый командный пункт. Ехать всего 4 километра глубоким лесом. Но вот мы двигаемся уже около часа, никакого пункта не видим. Вперед и назад — ни одной машины, ни одного человека. Остановиться. Карта есть, но ориентироваться невозможно. Давно уже съехали с основной лесной дороги на какую-то тропинку, не обозначенную на карте.

Несколько раз вылезаем. Командиры ходят кругом машины, но не могут разобраться в обстановке. Едем дальше, теряем драгоценное горючее. Видимо, сократительно запутались. Так исколесили около 30 километров. Бензина осталось всего на 2—3 километра.

Командиры принимают решение искать командный пункт или дорогу к нему пешком. Снова выхлещат из машины. Один из них почему-то утверждает, что мы давным-давно в радиусе действия противника и что надо просто поскорее уходить отсюда, пока машина не привлекла немцев.

— А как же с товарищем? — спрашивает один из них, кивая в мою сторону.

— Вы все идите ищите, а я останусь и буду вас ждать. Пройти же я могу самое большое 100 метров.

Кто-то предложил нести меня на руках, но я упрямо возражаю: долго нести утомительно, а кроме того, если все обойдется, непременно потеряю машину. Я твердо предложил командирам и шоферу не терять из-за меня драгоценного времени, немедленно идти на поиски войск, а затем найти и меня. Кое-как согласились.

Возможно, что мы и действительно на территории противника; возможно, что командиры меня уже не найдут... На всякий случай записали адреса друг друга. Распрощались. Мои спутники, медленно удаляясь и оглядываясь на меня, исчезли в лесной глуши...

З часа дня. Сажу в машину. Двигаться не могу. Занялся дневником... Это приносит какое-то моральное удовлетворение.

Прошел час. Нигде никого не слышно. Только лес продолжает шуметь приглушенно, да изредка раздается гудкое воркование горнышки.

Что же делать дальше? Машина и в самом деле может привлечь каких-нибудь бродячих

немецких разведчиков. Надо из нее убраться и залечь невдалеке...

При мне пистолет и пара гранат, но в машине пахотятся еще гранат десять. Я связываю их одной веревкой и вешаю на себя. Вместе с шинелью и противогазом все сразу не перетаскать. За два рейса переволок я все это хозяйство на 30 метров в кусты погуще.

Разостлав шинель и зарывив капсюлями всю до одной гранаты, я стал наблюдать за машиной.

Со времени ухода командиров прошло уже пять часов, а вокруг никаких признаков жизни. С каждым часом все тяжелее. Гнетет одиночество. Даже не страх перед немцами. Пусть появляются хоть сейчас же. Но очень досадно: столько дней дрались, и хорошо дрались, наверняка завтра — прорыв, и успешный прорыв, а я в самый канун лопат в такую дурацкую историю...

— Но что же делать? — с нарастающей тревогой спрашиваю себя. — Эх, кабы не пога, наверняка выбрался бы.

Самое главное — не успеть. Быть готовым к защите. Ну, а если это будет длиться не только сегодня, но и завтра и послезавтра? Все равно ведь успею, а в это время как раз и прокочнат.

Долой дикие трусливые мысли. Проверю капсюля у гранат. Все в порядке. Это радует — дешево не дамся.

Начинает смеркаться. Я придунал. Может быть это и глупо, но ползу к машине. Даю несколько сигналов гудком и отползаю скорее в свое убежище. Может быть, меня ищут в это время, вот и услышат.

Но могут же услышать и немцы?

— Нет, все-таки очень тяжело...

...Я спал и вдруг страшно испугался. Неистово ревел машина. В первый момент я обалдел, ничего не вижу. Но вот сквозь густые сумерки я все-таки рассмотрел кучу наших бойцов у «эмки».

— Ребята!! — закричал я.

...Галицкий организовал поспехи машины. Он опять спас меня. Найдены и три командира с шофером. Завтра — прорыв, и я снова со своей частью.

6 ИЮЛЯ.

Сегодня — прорыв... Во что бы то ни стало мы должны вырваться из фашистской петли. Мы должны разорвать кольцо смерти или погибнуть — другого выхода у нас нет...

Немцы снова сбросили листовки: «Ваше положение исключительно безнадежно», «вас окружает наша броневая и огневая стена»... «сдавайтесь в плен!».

— Старая лесня! Смотрите пластинку! — смеются бойцы, разрывая на клочки фашистские бумажки.

Я брожу по лагерю, взглядываюсь в людей, стараюсь проникнуть в их сердца. Обветренные, закопченные, заросшие лица. Сказываются многодневные утомительные бои, недосыпание, голодовки, нависшая над нами угроза истребления...

Нужно действовать решительно, немедленно. По всем подразделениям проходят партийно-комсомольские «летучки», заменяющие нам партийные собрания.

С винтовками, автоматами, гранатами на поясах собираются в лесу коммунисты и комсомольцы. Молча, быстро занимают свои места вокруг командного пункта, маскируясь в воробьях от снарядов и бомб, в щелях, в кустах. Вот они, те самые люди, которые беззастенчиво выполняют все приказы командования, первыми идут в атаку, увлекая за собой остальных. Лучшие из лучших. За родину, за партию, за Сталина отдадут они свою кровь...

Я оглядываю сидящих. Многих не досчитываюсь. Нет большевика капитана Журавлева. Тяжело раненный в одном из первых боев, когда со своим дивизионом он уничтожил 50 танков, Журавлев находится в госпитале. Нет жизнерадостного, талантливого наводчика — комсомольца Галкина. Он героически пал в сражении, расстреляв из своего орудия 7 фашистских танков...

Говорит батальонный комиссар Корпяк:

— Некоторые из ослабевших бойцов начинают хандрить. Хандра — поганое дело даже в мирной обстановке. Хандра на войне — страшный яд... Ее надо уничтожить, и это должны сделать мы, коммунисты и комсомольцы. Сегодня — особый день.

— В сегодняшнем бою мы слаем экзамен на право жить и на право называться большевиками, комсомольцами, — продолжает Корпяк. — Все у нас в руках: и сведения разведки, и автоматы, и снаряды, и живые советские люди. Поможите все это на героизм — и мы разорвем кольцо окружения. Так и передайте всем красноармейцам.

Коммунисты и комсомольцы расходятся с «летучки», спешат в подразделения, чтобы последние минуты провести среди бойцов, пригласить их к встрече с врагом...

Из соседней деревни пришли крестьяне, общины:

— У нас появился «чужой».

«Чужой» был немедленно доставлен в штаб; он оказался красноармейцем нашей части. Три дня назад Крякин покинул свою часть, ушел в деревню и переоделся там в крестьянскую одежду. Он выжидал, что будет дальше с нами: «Если пробьются — и я тут как тут: гимнастерка и брюки наготове. Погибнут — тогда я к немцам».

Весть о том, что Крякин позорно сбежал и теперь пойман, мгновенно облетела всю часть. Возмущенные бейцы обступили дезертира, выглядевшего оборванцем. Глаза их светились ненавистью.

— Раздавить эту гнилу, — гневно сказал боец с забинтованной головой, сжимая кулаки.

— Оповорил всю нашу часть, — с яростью отозвался другой.

Крякин тупо смотрел в землю, пряча лицо свое от тех, кого он решился предать.

И вот презренный трус стоит перед трибуналом. Ноги его дрожат, голос дрожит...

— Ну и подлец! — выкрикнул невысокий, веснушчатый красноармеец... Всего лишь два часа назад он прикидывал с товарищем, не лучше ли прерваться вдвоем. Сейчас это был воин, суровый, толстый той чистой внутренней страсти, которая отличает наших людей.

Приговор трибунала краток и беспощаден.

...Болит раненая нога. Чтобы накопить сил для предстоящего боя, я стараюсь хоть немного уснуть в машине. Прesyшаюсь от лягза орудия и громкой команды:

— Зарядить! Оглянуть приклад! Соснуть приклад!

Начался бой... Сейчас будет команда «огонь», — соображаю я спрессованная и векая киваю с сиденья командирской машины, которая служит мне спальней. Открываю дверцу, оглядываюсь — все спокойно. Возле машины сидит человек двадцать с немецкими автоматами в руках, а батальонный комиссар Корпяк демонстрирует перед ними, как нужно обращаться с фашистскими автоматами.

Нсучомонный комиссар Корпяк! Он все время в движении, в работе: то проводит беседу, то в разведке, а теперь вот решил заделаться инструктором-оружейником.

Корпяк ловко заряжает и разряжает автомат, складывает и откладывает приклад. «Ученники» повторяют его приемы с особым старанием.

Кстати, все мы стремимся обзавестись немецкими автоматами, потому что к ним легче достать патроны, — свои на исходе, а немецкие заполучить нетрудно: палтел смело на фашистскую колонну, Павел Паняку, обратил в бегство гитлеровскую погань — и подбирай оружие, патроны.

...Три часа дня. На берегу заросшего осокой болота, под усиленной охраной со всех сторон, Галиций проводит командирскую «летучку». Командир стоит над развернутой картой, излагает окончательно созревший у него план прорыва.

— Итак, прорываемся на юг. Возможны два варианта. Первый: идем через шоссе и

железную дорогу, всей частью взламываем немецкое окружение в одном месте. Второй вариант: разойтись на три отряда и атаковать врага на тех же дорогах одновременно в трех пунктах.

Галицкий предлагает командирам высказать свое мнение. Все за второй вариант. Командир принял решение. У него уже составлен план разделения на отряды, и он тут же отлашает их состав и имена командиров.

...Над лагерем спускается пасмурная ночь. Такая ночь нам парку. Бесшумно, словно на цыпочках, части оставляют линию обороны и в полной тишине движутся по густому лесу. Нам нужно продвинуться на четыре километра на запад, а потом внезапным ударом прорвать кольцо окружения. Это не значит, что мы уже будем в полной безопасности. Нет, мы лишь прорвем кольцо внутреннего окружения, но будем еще оставаться на территории, захваченной фашистами. Следующая задача: соединение с Красной Армией.

...Отряды продвигаются вперед тремя колоннами. Я в среднем отряде, которым командует сам Галицкий. Машины с места отправлены другим путем, а меня посадили на коня.

Конь то-и-дело проваливается по брюху в болото и с трудом выскакивает наметом из трясины. Я доверялся его чутью. Темель такая, что не видно ничего в десяти шагах. Только бы скорей, до рассвета, выбраться из леса и этих топей к дороге. Разведка торопит: «Пока все спокойно, скорей!»

Мы уже в 500 метрах от шоссе, по бокам которого расположились немецкие пехотно-артиллерийские кордоны. По самой дороге патрулируют танки и сплошным потоком движутся машины с пехотой и грузами. Прямо за шоссе и параллельно ей тянется железнодорожное полотно. Мы должны пересечь эти дороги стремительным броском.

В час ночи левый отряд подполковника Украинского наносит первый удар фашистам на шоссе. Точно молнией озарилось небо от артиллерийских вспышек, и вслед за этим ночную тишину разорвали залпы наших минометов и орудий кинжального действия.

Левому отряду откликнулся правый артиллерийской канонадой и трелью пулеметов. Наш отряд рванулся вперед и достиг дороги.

Мы вступили в бой. Забрасываем фашистов гранатами, ведем яростный огонь из автоматов и пулеметов. Во всех трех пунктах немцы застигнуты нами врасплох. Их охранение проворонило наше приближение. Однако, сознавая свое численное превосходство

над нами, фашисты пачали бешено отбиваться.

По в ясное время немцы — плохие воюки. Их неприцельный артиллерийский огонь с дороги не приносил нам никакого урона. Пехота же, отстреливаясь, стала откатываться вправо и влево по дороге.

Мы устремились на дорогу. Гремят красноармейское «ура». На дороге шумный ад... Наши гранаты зажгли немецкие грузовики с горючим и боеприпасами. Начали с грохотом рваться патроны и снаряды. Вражеские танки, открывшие сначала безалаберный огонь по темному лесу, вдруг заметили бужущее пламя и дали тягу вдоль дороги. Но там пробка из горящих автомобилей. Я вижу, как вспыхивает головной танк, из него выскакивают фашисты, но со всех сторон на них падают наши ребята и прикладами молотят по черепам... Батровое пламя освещает шоссе. Лица наших бойцов блестят, словно отлитые из меди. Визжат и веют осколками снарядов и мля... Трещит и рушится огневое кольцо окружения фашистов. Оно уже позади... Мы проваливаемся в густую тьму. Мы ничего не видим. Но знаем: впереди железная дорога, а за ней жизнь.

Мы пересекаем железную дорогу. Здесь фашистов совсем нет. С группой бойцов я прорвался через огненную завесу окружения.

Осматриваюсь. нас всего 7 человек. Позади беспорядочная стрельба. Рассеянные в разные стороны немцы, видимо, пытаются снова сколотить свое «броневое» и «огневое» кольцо вокруг... пустого места.

Наступает рассвет. Усталые, грязные, мы облегченно вздыхаем: самое страшное позади. Но впереди еще предстоят новые и нелегкие встречи с врагом.

— Ну что ж, товарищи, вперед! — говорю я моим друзьям.

7 ИЮЛЯ.

Итак, мы прорвались сквозь внутреннее кольцо окружения. Сразу за железной дорогой вышли на грунтовую. Залегает у обочины, осматриваемся. В утренних сумерках на бешеных скоростях пролетают в разные стороны немецкие грузовики с пехотой, отдельные танки. Выполнились, гады...

Мы выбрали большой интервал между движущимися машинами — проскочили. Бежать бы скорее в глубь леса да искать сборное место отряда, но мы запутались ногами в каких-то толстых, скользких канатах. Нащупали резиновые жилы. Электрический кабель?!

Видно, немцы, продвигаясь к фронту, ведут за собой высоковольтную линию...

«Вот бы перехватить, — рождается мысль. — Но как, чем? Есть там ток или нет?»

— Ладно, видно будет, — говорит лейтенант Минайлов. — Вы смотрите лучше за дорогой.

Взятым у меня кипчалом он начинает резать более тонкие жилы. Две других жилы поголоше лежат тут же. Вдруг Минайлов вскрикивает и падает. Неужели убило? Бросаемся к нему. Дышит. Отгаскиваем в кусты, растегаем одежду. Лейтенант медленно встает. Ударило током. Хорошо, что не очень сильно.

Может быть, бросить нам эту затею? Ни за что! Мы случайно наткнулись на «выгодное дело» и не имеем права пройти мимо него.

— Теперь еще я попробую, — говорит воентехник 2-го ранга Голешев.

Он подбегает к дороге, становится для изоляции ногами на толстые резиновые жилы — и со всего размаха разрубает плоским штыком тонкий кабель. Резкая искра, шипение, запах паленой резины, а Голешеву хоть бы что.

— Сметка важна! — не без гордости говорит он.

— А как же с толстым канатом? — спрашиваю я.

— Рубай тоже, — озабоченно говорит Минайлов.

— Убьет, пожалуй, — откликается Голешев. И вот в одно мгновение возник простой, но изумительный план.

— Я заметил, справа есть мост. Кабель нужно вытащить из кювета на мост и его раздавит каким-нибудь танком, — говорит военфельдшер Калинин.

Попробуем! Все переползают к мосту. Я оставлен в кювете наблюдать за дорогой. Раз два подавал сигналы — «Идет машина», и ребята застегали в кювет, прерывая свое занятие.

Дело сделано. Кабель закинут на мост, но как нарочно ни одного немецкого танка. Нет их, а они шозарез пужны нам.

— Поджечь, — предлагает Минайлов.

Через 5 минут громадное яркое пламя охватило мост, а с ним и немецкий кабель...

Вся эта история отняла у нас всего 20 минут, но как дорого мы за это заплатились!

Мы отстали от своих. Отряды, прорвавшие оружие и вытянувшиеся к сборным пунктам, долго там не задержались. Впереди не было немцев, и наши быстро двинулись дальше на юг. Остались только одиночные бойцы, которые торопились дognать свою часть.

Нужно спешить и нам, но со своей раненой ногой я — обуза для нашего отрядика. Я предлагаю товарищам идти вперед, но они и слышать не хотят:

— Пойдем только вместе.

Вот какой наш народ! А ведь мы до прорыва никогда друг друга не видели и не знали. На прорыве да на поджогом места сдружилась... Я креплюсь: иду, сильно прихрамывая, опираясь на плечи моих новых друзей.

...Продвигаемся весь день лесами и лугами дальше, стараясь не потерять следы наших отрядов. Врагов не встречаем. На одном хуторе наелись доотвала молока с хлебом. Ах, как мы ели!

— Поработали, знать, много, — заметила сердобольная старушка-крестьянка, радуясь нашему аппетиту.

К вечеру в лесу догнали вышедший из окружения один отряд — правда, не нашей части. Командовал им товарищ Закутный. Я был очень рад его видеть: мой старый знакомый, вместе с ним ехали на фронт.

— Вы что, пришли ко мне в гости? — шуточно спросил Закутный.

— Нет, я ваш «гость поневоле». Вот хочу догнать отряды Галицкого.

— Они уже далеко. Не догоните!

— ???

— Да! Да! Не удивляйтесь! нас разделяет сейчас случайная вражеская группировка.

Для меня это известие — просто горе. Потерял, черт возьми, свою часть. Что-то делают сейчас мои боевые товарищи? В какие разведки ходит майор Шука?..

8 ИЮЛЯ.

Ночью лесами удачно обошли группировку врага, не вступая с ним в перестрелку. Держим курс на восток с прежней целью — достигнуть фронта и соединиться с основными силами своих войск.

Проделав ночью километров двадцать, с восходом солнца залегли на отдых в лесу. Хорошо замаскировались от наблюдения с воздуха. Выставили сильное охранение.

...С наступлением темноты покидаем свой «однодневный дом дыха» и по пути, указанному разведкой, продвигаемся дальше.

Перед нами дилемма: идти пять километров по глубокому, топкому болоту, чтобы выйти в сухой лес, или проскочить один километр по тому же лесу большой дорогой, на которой по временам появляются немецкие машины.

Попытались через болото — не вышло. Потеряли только около часу драгоценного темного времени. Направились к дороге, проходящей параллельно линии фронта. Но что это? В отдалении послышался гулкий треск. Мотоциклы?!

Они двигались, очевидно, не по одному и не по два, а целой массой. Стоял сплошной гул. Залагаем в 150 метрах от дороги.

Мотоциклисты пронесли мимо нас. Очевидно, головной отряд какой-нибудь мотомехчасти. Один из мотоциклистов отстал. Он поставил машину у края дороги, а сам стал прохаживаться взад и вперед.

Лейтенант Вайнер, возглавляющий одно из подразделений разведки, не выдержал, рванулся вперед, когда увидел оставшегося в одиночестве мотоциклиста. Это же очередная добыча... Но к лейтенанту подполз его разведчик, сидевший около самой дороги.

— Здесь развилка дорог, товарищ лейтенант, — шепотом докладывает разведчик. — От этой большой дороги почти такая же отходит понемногу на запад, в немецкий тыл. А это мотоциклист-регулировщик.

— Значит, пропускать кого-то будут, — заключает командир. — Это хорошо. Повторим наш старый прием.

Последние слова лейтенанта звучат для меня загадочно.

Вместе с разведчиком Вайнер уползает с дороги. Вскоре послышался грозный надвигающийся гул: танки! Грохот нарастал с каждой минутой. Машины, видимо, мчались на предельных скоростях.

Немецкий регулировщик пробует карманный электрофонарь. Зажигает его несколько раз, посылая лучи навстречу танкам. Это — сигналы.

Танки несутся все ближе и ближе. Становится немного неприятно. Будто они вот-вот свернут с дороги и ринутся на нас, чтобы раздавить своими гусеницами... На всякий случай у всех наготове заряженные гранаты.

Головная машина, увидев сигналы регулировщика, чуть замедляет ход, а затем, резко проскрежетав своим металлическим пу-

трём, переходит на большую скорость. Танковая колонна явно торопится. Чуть задержится какая машина, к ней с фонарем и со свистком бросается регулировщик. Непустовые свистки раздаются и с задних машин.

«Перегруппировка частей. Гонят к какому-то особо важному участку фронта», — делаем мы вывод.

Вайнер со своими ребятами зорко следит за тем, что делается вокруг. Вот колонна разорвалась. Догоняющие машины попадают с разгона не на прямую дорогу, а на левую, незаметно отходящую в сторону тыла. Резкие свистки, сигналы — и регулировщик направляет их на основной путь.

— Хороший пост. «Сменить» надо, — говорит Вайнер.

— Сидоренко! Приготовиться к замеле, — приказывает он бойцу.

Выжав большой интервал во вражеской колонне, особая группа разведчиков без выстрела «сняла» фашиста с дороги. В следующий миг на развилке стоял уже другой регулировщик — красноармеец Сидоренко.

Сигнал на левую дорогу. Полетевшая танковая колонна мчится туда, куда ей указали. Машина за машиной, эшелон за эшелон. Все мы в восхищении от Сидоренко и замираем от страха за судьбу этого изумительного парня.

Свыше часа олурачивал Сидоренко немецких танкистов. Он «отрегулировал» за это время около двухсот фашистских машин, вплоть до последних, заправочных. Никто не поменял его «работе». — так суматошно перебрасывались немцы. Новая колонна... Короткий свисток Сидоренко. Взмах фонарем — и гитлеровские танки снова с бешеной скоростью мчатся... в свой тыл.

Разумеется, «отрегулированные» немцы обнаружат свою ошибку. Но чтобы вернуться обратно, нужны время и горючее.

Сидоренко на несколько часов отвлек большую танковую колонну фашистов от какой-то важной операции на фронте.

...Мы благополучно продолжаем двигаться по своему маршруту.

9 ИЮЛЯ.

Сегодня у нас радостный день: мы встретились с нашим советским авиадесантом, под командой товарища Левашева. Этот отряд уже несколько дней действует в тылу фашистов.

У меня двойная радость: оказывается, начальником штаба в отряде — майор Сченснович. Его статьи об авиадесантах были напечатаны в «Красной звезде», — наш автор! Во мне тотчас же заговорил патриот своей газеты.

— Ну, готовьте для нас статью, — сказал я Сченсновичу.

— Нет уж, пишите сами. Мне теперь некогда, — отрезал майор.

И вот я пишу в своем дневнике о подвигах бойцов авиадесанта, которые пугают нас своей дерзостью.

...Сумерки. По шоссе мчатся немецкие грузовики с ящиками: фашисты спешат доставить на фронт боеприпасы. Крутой поворот. Шофер головкой машины уменьшает скорость.

В кустах возле дороги притаились бойцы с голубыми петлицами, — это группа капитана Лебедева. Его специальность: «работа» с фашистским транспортом.

Капитан не спускает глаз с проходящей колонны автомашин. За поворотом шоферы снова увеличивают скорость до предела. Они гонят машины вперед, не оглядываясь. К повороту подходят последние три грузовика. «Теперь пора начинать, — нужно «отрубить» этот хвост колонны...»

По сигналу капитана из кустов вылетают бойцы и вскакивают на повороте на подножки автомашин. Мгновение — и в кабине грузовика появляется наш боец. С такой гимнастической ловкостью могут действовать только специально натренированные люди. Немецкий шофер, увидев черный пистолет перед носом, резко тормозит машину.

В это время другие бойцы с голубыми петлицами уже вскарабкались на грузовики и проверяют их содержимое. Патроны для автоматов! Очень хорошо! Эти патроны очень пузны.

Ящики за ящиком спускают на землю, — автомашины быстро разгружаются, и ящики исчезают в лесу. Остальной груз не представляет интереса. Кстати, нужно торопиться, — каждую минуту могут появиться на шоссе другие грузовики...

Среди бойцов с голубыми петлицами есть люди, умеющие водить машины. Они заводят моторы и на ходу прыгают из кабин, — грузовики, как слепые, неуверенно ползут по шоссе, потом срываются с насыпи в кювет и замирают, задрав сверху колеса...

— Едут! — сигналил наблюдающий за дорогой.

Все бойцы капитана Лебедева скрываются в лесу. Из-за поворота показываются лошади

в дышловых упряжках; одна за другой тянутся подводы, груженные мешками и ящиками. Возле подвод шагают немецкие солдаты — охрана.

Слова из кустов выскакивают бойцы с голубыми петлицами. Передние лошади испуганно шарахаются в сторону, становятся поперек шоссе и загораживают путь остальным подводам. На шоссе — кутерьма!

Раздается несколько выстрелов. Фашистские солдаты растерянно бросаются в лес, но их постигают советские пули. Наши бойцы обрезают постромки, и лошади разбегаются в разные стороны. Через несколько минут на шоссе загорается огромный костер: пылают воза, облитые бензином. По шоссе мчится обезумевший конь, за ним болтаются обрезанные постромки...

Маршрут десантного отряда совпадает с нашим. Мы делимся опытом. Десантники очень заинтересовались нашим способом ловить немецких мотоциклистов. «Основоположник» этого способа, связист Лукач, рассказывает десантникам:

— Первого мотоциклиста мы срубали телефонным проводом, сейчас натягиваем обыкновенную веревку. Проще и дешевле.

...У нас сегодня вынужденный отдых: днем продвигаться нельзя, — обнаружит неприятель. Продолжать свой путь и вредить фашистам будем ночью. А пока разжигаем сухие костры.

Мы собираем сушиляк, копаем ямы для костров, укрепляем над ними котелки. Тем временем на нашем «мясокомбинате», под густыми елями, идет разделка туш. Мы получаем по куску сырого мяса, трепсленные чувством благодарности к нашей разведке.

Мясо есть, но нет ни соли, ни хлеба... Однако наши люди не унывают.

— Сейчас будем хороший шашлык кушать, — улыбаясь, говорит разведчик Киквидзе, обстругивая плоским штыком ореховый трут. Военно-полевой шашлык, — добавляет он, причмокивая языком.

Разгораются бездымные партизанские костры. В воздухе стоит запах горелого мяса. Палка, на которой я жарил свой кусок, обгорела, сломалась. Достая мясо штыком и пытаюсь есть его с гарниром из свежих березовых углей и золы.

— Жаркое по-партизански! — хохочет веселый Киквидзе, и все смеются.

Ничего, что у нас нет соли и хлеба; зато у нас избыток бодрости, а с этой «припра-

вой», как говорит наш доктор Мац, можно жить долго.

Военврач второго ранга Мац — уже пожилой человек. Он небольшого роста, с очень медлительными движениями.

Не торопись он разбинтовывает мою ногу.

— Ранена, значит, нога? Ах, какая она нехорошая! — приговаривает он, словно имеет дело с ребенком.

Доктор Мац, прищурив свои добрые серые глаза, разглядывает рану сквозь роговые очки.

— Для вас сейчас самое лучшее лекарство — солнце. — говорит он и, мягко улыбаясь, повторяет: — партизанское солнце. Держите вот так ногу открытой, полежите, но не засыпайте, а то комары насыдут на рану, и это уже плохо... Солнце и воздух, — вот вам рецепт.

Я сижу под теплыми лучами, вытянув ногу, закрыв глаза. Мне хорошо... И мне кажется, что я попал в какой-то благоустроенный санаторий, которым заведует добрый доктор Мац.

10 ИЮЛЯ.

Мне определенно легче. Ночью я прошел пешком километра два... Спасибо доктору Мацу!

Мы остановились в густом лиственном лесу. Чудесное солнечное утро. На полянах множество цветов. Гуляют пчелы... Но некому собирать мед: деревни превращены фашистами в кучи пепла. Лишенные крова люди бродят по лесам. Всюду кровь, пожары, страдания... Лишь одни дети, кажется, продолжают жить наперекор всему, подобно вот этим цветам...

Они появились на поляне неожиданно. Даже наше боевое охранение не заметило, откуда загляли эти босоногие светловолосые ребятишки.

— Вы откуда? — спрашиваю.

— Из дому, — отвечает парнишка с облупленным носом, видимо, вожак.

— А немцы у вас есть там?

— Нету! — хором ответили ребята.

— Их всех дядя Малек разогнал. — добавил вожак.

— Это что же, ваш деревенский — Малек?

— Да нет! Он — командир... Тут, у вас находится. Мы к нему пришли.

— В серенькой рубашке!

— В черных штанах... И ходит распояской.

— А сам белобрый такой!

По этим приметам мы потом отыскали Малька. Вот что рассказал о нем паренек с облупленным носом:

— Сидели мы во ржи. немцев глядели. А тут этот паренек подполз к нам. Видим — незнакомый. Но говорит — из соседней деревни. «Немцы тут есть?» — спрашивает. Мы ему говорим: «А ты сам поди погляди». Повели к дороге, сидим и смотрим. А тут и талки, и автомобили с солдатами. От нечего делать мы их считать стали, а особенно стараются этот новый паренек. Мы сразу подумали: «Это, наверное, разведчик — для красноармейцев считает».

— Ты разведчик красноармейский? — спросил я его, а он прямо говорит: «Да, разведчик».

— Вот здорово. Возьми и нас в разведчики.

— Идет, — сказал он, и мы тут уже настоящему подружился. Он, оказывается, командир, но только такой маленький ростом. Звать себя велел по-ребячьему — Малек. Шо-нашему — дядя Малек, значит.

— Вы будете моим отрядом разведчиков, — говорит он, — и все, что увидите, мне будете говорить.

Сидели мы так в кустах до самого вечера. А к ночи в нашу деревню приехали немцы, грузовики поставили на улице, а сами на них спать легли... Тут дядя Малек куда-то пропал. Мы спать не ложились, знали, что дядя Малек к красноармейцам ушел.

В полночь поднялась пальба по деревне. К нам в деревню налетели на мотоциклах красноармейцы и давай лупить фашистов... А те бегут спросонья, кто куда! Смотрим — и Малек на мотоцикле, за командира... Вот тебе и дядя Малек!

Мальком оказался младший лейтенант Мальков из авиадесанта.

Я с любопытством разглядываю этого маленького лейтенанта, одетого в ситцевую серенькую рубашку и черные брюки. Босой, без пояса, загорелый, он ничем не отличался от своих добровольцев-разведчиков, и лицо у него совсем детское, лукавое, и голос звонкий, ребячий.

Днем он открыто ходит в разведку, появляясь в деревнях, занятых фашистами. А ночью подросток Малек превращается в смелого командира и совершает дерзкие налеты на врага.

В одну из почей он с группой в 16 человек разгромил фашистскую колонну в 60 машин, из которых уничтожил 18, убил 40 немцев.

— Это орел, — сказал начальник штаба.

«Орел» сидел в стороне под деревом и с таинственным видом говорил что-то ребятам, — видимо, заваривалась какая-то новая каша.

...Целый батальон немецких солдат разделился на отлогом берегу реки для купанья. Ребята и Малек уехали в сторонке и, болтая в воде голыми ногами, стали с любопытством смотреть на купающихся. Их хотели прогнать солдаты из немецкого охранения.

Но вдруг со стороны купающихся раздался голос: «Киндер, киндер!».

Кричал и махал руками какой-то толсто-брюхий толстый человек, купавшийся с небольшой группой в стороне от солдат. Наверное, офицер,—решили ребята. Солдаты из охранения пальцами и криком дали понять ребятам, что надо подойти к офицеру.

Они побежали. Толстый офицер стоял по колено в воде, чесался — чуть не до крови соскребли себя ногтями.

— Мило! Мило! — сказал он на ломаном русском языке.

— Мыла и мочалок, моментом! — скомандовал Малек ребятам, и те пустились выполнять его приказание.

Сам он, засучив штаны, вошел в воду и стал услужливо плескать водой на фашистского офицера. Тот заулыбался и стал подставлять «мальчишке» то бока, то спину. Вскоре появились ребята с мылом и мочалками и немедленно приступили к делу: стали намыливать мочалки и тереть офицерские спины.

Помывшись, офицеры припились плавать.

— Полевые сумки стянуть — я под рубашу, — скомандовал Малек. Не успел он оглянуться, — ребята уже тащили из-под белья офицерские сумки.

— Ну, а теперь тикать, — сказал Малек ребятам.

Охранение немцев они прошли благополучно и доставили в лагерь шесть полевых офицерских сумок с картами и приказами.

— Это мы смыли, — с гордостью заявили ребята, сдавая добычу.

11 ИЮЛЯ

...Сегодня фашистские самолеты сбрасывали над лесом листовки. Видимо, чувствуют, собаки, что мы где-то поблизости. На квадрате бумаги напечатана фотография. На ней красуются четыре мрачных личности. Они пемигая смотрят оловянными глазами в объектив фотоаппарата. На коленях эти молодчики держат котелки с каким-то варевом. Под этим «увлекательным» изображением неожиданная подпись, изготовленная на смеси русского и украинского языка с немецким акцентом: «Красноармейцы, будьте ласковы, сдавайтесь в плен. У нас рай, все едят досыта, не как у Вас».

Эта листовка доставила нам немало весе-

лых минут. Мы вспоминали отошедших фашистски солдат,двигающихся по дорогам, и смелись до упаду над гитлеровскими горе-пропагандистами. Не думал я, разглядывая вражескую листовку, что спустя несколько часов «познакомлюсь» с ее творцами. Но не будем забегать вперед...

Лесом мы идем дальше по своему маршруту. На пути пересекли несколько грунтовых дорог, по которым изредка проходили немецкие машины.

Но вот вперед — шоссе, одна из важнейших автомагистралей, по которой к фронту движутся вражеские машины, тракторы и орудия.

Отряд остановился в 500 метрах от дороги. Решено разведать дорогу и подступы к ней в пяти точках, чтобы в одной из них проскочить всем отрядом.

Разведчиков в отряде очень мало. Закутный старается создать сильные разведывательные группы, но мы ежедневно теряем этих драгоценных людей.

На один из ближайших участков дороги вызвался идти в разведку и я. Закутный разрешил. Со мной послан красноармеец-разведчик Бука. Оставляю копия. Крадучись по кустам и за деревьями, пробираемся с Букой к дороге, откуда доносится шум машин. Вечереет. Движение на дороге становится все менее напряженным.

Но всему видно, что разведчик Бука отлично знает свое дело. Он как будто рожден для разведки. Невысокого роста, юркий, остроглазый украинец.

— Ось бисова фашизма! — вырывается у него всякий раз, когда мы переползаем от дерева к дереву. Чтобы нас не услышали, Бука старается передвигаться в те моменты, когда с дороги доносится шум машин. Ползем, прижимаясь к земле, так, чтобы слиться с ней; используем каждый пенечек, каждую травку. Залегли и наблюдаем за проезжающими мимо фашистами. Сейчас, во всем черном, с автоматами на рулях, мотоциклисты внушительны. Но посмотрите на них ночью, — это жалкие кролики, которые при первом же выстреле улетают сломя голову, опасаясь налета партизан или подвижных отрядов Красной Армии.

У края дороги стоят два автобуса, легковая машина. Колонна мотоциклистов проехала. Вокруг тихо. Но это спокойствие может быть обманчивым: надо еще и еще раз высмотреть поближе.

Остается всего метров тридцать до дороги, отдаленной от нас открытой зеленой поляной.

На краю поляны, ближе к нам — обломки двух разбитых немецких танков. один грузовой и пустые зеленые бочки из-под горючего.

Видно, подблизил их наши артиллеристы прямо при заправке.

— Заправились, та на небо отправились,— шепчет мне Бука.

Осмотревшись вокруг, находим, что это место — для перехода нашего отряда самое подходящее: выйдем из леса, бросок в 30—40 метров к дороге, а за дорогой сразу в густой лес... Вот только машают автобусы — «бисовы шарабаны», как их окрестил Бука. Он усиленно разглядывает их в бинокль.

— Треба ще трошки разведать,— шепчет он, а сам показывает на бочки.

Смотрю на него вопросительно.

— Гляди тыльки на меня! — сказал Бука и быстро пошел.

Забравшись за одну из бочек, извиваясь ужом, он еле заметно стал катить ее по дугу в сторону автобусов. Покатит, покатит — остановится, посмотрит на меня, а я ему сигналю: если на дороге безопасно — взмах рукой вперед, при появлении какой-нибудь машины — взмах к земле. Бочка потихоньку катится. Бука ползет. Около самого кювета он руками сигнализирует: мол, под автобусом люди.

— Сколько?

Всеми растопыренными пальцами показывает — десять и сигнализирует: «Подтягивай отряд вплотную к дороге». Этот сигнал через меня быстро пошел по цепочке в отряд, и тот уже стал подходить. Теперь дело за Букой и за мной, мы должны дать сигнал.

Бука показывает мне свой пистолет, — приготовьте, мол, оружие. Тычет пистолетом себя в щеку сипны и делает взмах в сторону автобусов. Понимаю: немцы будут бежать, открыть по ним огонь сзади. С нетерпением жду нового сигнала Буки. Ждет и отряд.

— Внимание!

И вдруг в предвечерней тишине, при ясном небе, раздался страшный громовой раскат. За первым — второй, третий...

Что это?!

Бука грохает из всей силы своей металлической каской по дуплу пустой железной бочки. С каждым новым «взрывом» из-под автобуса вылетают испуганные немцы и бегут влодь дороги. Тут я влогонку им даю автоматную очередь. Фашисты бегут, кричат, падают.

— Тикай, тикай, бисова фашизма! — кричит им вслед выскочивший из-за бочки Бука.

Дорога очищена. Наш отряд быстро пересекает ее. Особая группа — к машинам! Испортить немедленно! Я задерживаюсь возле автобусов. Каково же было мое изумление, когда в них оказалась походная немецкая типография. Газетчик полетел на знакомое предприятие.

Меня типография очень интересует. Беру несколько листовок, лежащих у плоской типографской машины.

Ба! Знакомые все лица!

На листовке та же четверка с котелками. Заглядываю в фотоаграфское отделение. Там лежит ворох фотографий. И первое, что мне бросается в глаза, — оригинал снимка, размноженного в уже известной нам листовке. Этот снимок убедительно раскрывает тайны фашистской пропаганды: на оригинале ясно видно, что «пленные красноармейцы» — это немецкие солдаты, которым ловкач-художник успел подрисовать красноармейскую форму, намалевал петлицы и пристроил звезду на плечиках. Грубая работа!..

Немедленно поджигаем автобусы с машинами и бумагой, со всей пачкотней фашистских вралей.

12 ИЮЛЯ.

Лес, лес без конца... Где-то вдалеке на востоке раскатисто грохает артиллерия. Неужели подходим к линии фронта? А может быть, это такой же отряд, как и наш, наводит у немцев беспорядок?

Это должна выяснить разведка — наши глаза и уши.

Начальником разведки в отряде выдвинулся связист по специальности, двадцатичетырехлетний комсомолец, младший политрук Павел Кольчев. Способнейший в этом опасном деле парень. А на вид такой тихоня, скромник, с красивым нежным лицом и голубыми смеющимися глазами. Ему бы стихи писать на какие-нибудь лирические темы...

Узнаю, что Кольчев и в самом деле до войны стихи писал, работая токарем в Москве на заводе имени Сталина. А узнали бы на заводе, что собой представляет теперь их «лирический» (Павлик! Это — гроза и смерть фашистов, попавшихся ему на глаза. Под его скромной внешностью скрывается талантливый разведчик — отважный, хитрый, дерзкий.

Нам позарез нужен был проводник из местных крестьян. Мы вынуждены пробираться по непроходимому лесу и болотам. Проводника нужно было достать в деревне, занятой немцами.

Целый день разведчики Кольчева прощупывали биноклями каждый домок, каждый сарайчик в ближайшей деревне: кто остался из крестьян? В какой хате? Вечером разведчики во главе со своим командиром ушли добывать проводника.

Через час вместе с ними пришли три старика, составляющих, оказывается, все наличное население деревни.

«Население» ушло от немцев прямо из-под носа, хотя этих носов там насчитывалось свыше пятисот. Целый батальон не укараулил трех жителей!

Проводники отлично вывели нас к следующему пункту.

Павел Колычев умно выбирает места наших очередных привалов: всегда обеспечена скрытность, круговая оборона, наблюдение за врагом.

Сегодня мы впервые раз оценили его умение. Отряд был далеко от главных, идущих с фронту дорог, но зато вплотную к поперечной, соединяющей их лесной дороге.

— Отсюда сразу два пути — вправо и влево, наблюдать будем, — лаконично докладывал Колычев командиру Закутному, — место прекрасное, лучше его не найти.

Командир согласился.

...Круговая оборона, созданная капитаном Доброленским, была наготове, когда разведчики вдруг доложили: к нам движется по лесной дороге фашистская колонна машин с артиллерией.

— Приготовиться! Без команды ни одного выстрела! — приказывает Доброленский своим людям, залегшим в траве и кустах.

Заряжены винтовки, на боевой взвод поставлены гранаты. Перед глазами — зеленая поляна в квадратный километр. Дорога на поляну зияет на опушке леса черной дырой, как вход в тоннель.

— Будем ловить кота в мешок, — говорит Доброленский.

Он приказывает лейтенанту Кареву закрыть выход с поляны, а лейтенанту Кузину — вход на нее, как только пройдет неприятель.

Я нахожусь тут же, около капитана. Маленький, подвижной, с грубоватым лицом; на поясе пара гранат. В правой руке сверкающая сабля. До чего у него свирепый вид!

В лесном тоннеле, на дороге, тархтят машины. Покачиваясь на выбоинах, на корнях лесной дороги, они медленно выползают на поляну. Так и чешутся руки спустить курок! Но нельзя — приказ.

Впереди — грузовик с пехотой, за ним — три легковых машины, снова три грузовых, наконец, четыре орудия, прицепленные к четырем автомобилям с людьми. Это — хвост колонны. Вся она теперь на поляне. Остановилась...

— Но где же, черт возьми, команда?! — хочу я крикнуть Доброленскому, но меня опережает резкий голос капитана:

— По фашистским гадам — огонь!

Залп. Сплошной пулеметный и ружейный огонь по немцам, взрывы гранат... Немцы, забившись под машины, бьют из минометов, из пушки.

— За мной, на бандитов! Ура! — На весь лес прогремел голос Доброленского.

Его крик подхвачен сотнями людей. Лесное эхо повторило, умножило голоса.

Русское могучее «ура»! Оно как на крыльях несет нас в атаку. С ним легче взмах штыков и сабель. С ним яростней удар по врагу.

Наше «ура» точно обрубило огонь фашистов. Обрублен не только огонь. Вижу, как Доброленский саблей рубит одного за другим трех немецких фашистов. Красноармейцы дружно устремились за ним, бьют немцев штыками. А капитан вскочил на легковую машину и с крыши, размахивая шапкой, точно дирижируя, командует: где, какому взводу добывать врага.

На месте остались сто пятнадцать неприятельских трупов, из них двадцать офицеров.

Мы разгромили напорившийся на нас штаб 238-го пехотного полка вместе с его охраной. Сами потеряли десять человек убитыми и шестнадцать ранено.

Отвожу одну страничку в блокноте под ведомость трофеев.

Знамя фашистского полка.

3 легковых и 8 грузовых автомашин.

4 пушки и к ним свыше 500 снарядов.

4 миномета.

42 винтовки, 8 пулеметов, 12 автоматов, 30 листолетов.

Не вписываю в ведомость еще две вещи, которыми, признаюсь, воспользовался сам.

Я уже несколько дней хожу без сапог. А тут — подвезло. В офицерской машине нашли пару ботинок военного образца. Обувь, правда, не по заказ: 46 номер вместо 41. Но что делать? Выбор ограничен.

Другая вещь — это толстый, в черной обложке, похожий на конторскую книгу, дневник убитого немецкого фельдфебеля, Йоганна Ланге.

Фельдфебель скуп на записи: всего двести строчки на день. У него едва хватало времени «расписываться» кулаком на лицах своих подчиненных. Вот одна из многих записей в дневнике: «Расписал Фабера, утерявшего лопатку. Пусть повторит, совсем без глаза оставляю».

Как и всякий рачительный мародер, фельдфебель Ланге не забыл перечислить в дневнике все, чем он должен обзавестись в Советском Союзе.

Занимательна запись от 19 июня. Это скорее пометки лошадиного барышника. Зафиксирован экстерьер — размеры всех частей тела некоей Фридель. Ножки — 39, плечи, пояс, рост... Фельдфебель забыл лишь размер мизинца Фридель: среди заказов для нее — «перстень с бирюзой». Но черт его знает, как

подобрать, на что примерить? И Ланге пишет: «Какой попадется».

Разобраться в дневнике мне помог прекрасный знающий немецкий язык доктор Мац.

Близка в черной обложке исписана меньше чем наполовину, а у меня вышла вся бумага. Меня искушает мысль использовать дневник немецкого фельдфебеля. Вот эти строчки я уже записываю в нем.

Правда, в дневнике раньше моего «расписались» наши гранатометчики: осколки гранаты основательно изрешетили его черную глянцевою обложку...

13 ИЮЛЯ.

За вчерашний разгром немецкого пехотного полка фашисты решили нам отомстить. Мы это предвидели.

В 13 часов мы выдержали первую немецкую пехотную атаку. Лучше бы они не затевали ее. Лес — на шастихия, а не немцев. Контратакой, с тем же мощным красноармейским «ура», мы решительно отбили нападение немцев. Крепко били прямой наводкой из трофейных пушек наши артиллеристы.

За первой атакой последовала вторая. Она тоже отбита, но поглотила у нас последние остатки винтовочных патронов. Вся надежда — на штык да на пушки с минометами, отбитыми у немцев.

— Все до одного своего снаряда фашисты получают себе же в глотку, — потрясая кулаком, говорит горячий полковник Зуев.

К вечеру немцы предприняли еще две атаки. Они пытались громить нас артиллерией, вывезенной на открытые позиции — на дороге. Но у Зуева и его помощника полкового комиссара Новикова неуловимые пушки и минометы — они то-и-дело перекатываются с места на место, открывая новые очереди огня.

Осколком мины ранен у одного орудия правильный. К орудию подбегает полковник Зуев и, ухватившись за хобот, помогает артиллеристам перетащить орудие на новую позицию. Вокруг рвутся вражеские мины...

Лицо полковника внезапно белеет. Он выпускает из рук хобот орудия и медленно опускается на землю, переломявшись вправо. Сколок мины разорвал ему правое бедро. Кровь летит ручьем по голенищу, а Зуев, схватившись своей большой рукой за «парабеллум», продолжает отдавать приказания:

— На картечь! На картечь, дьяволов!

Голос полковника слабеет, он теряет много крови; но перевязать его невозможно, потому что кругом — ад. Фашисты идут в четвертую атаку. Человек пять фашистов с офицером впереди прорвались к орудью, возле которого лежит полковник Зуев. Все люди в огневом

расчете орудия ранены, но продолжают героически отстреливаться прямой наводкой...

Полковник первый заметил прорвавшихся немцев. Выстрел из «парабеллума» — офицер падает ничком. Немцы бросаются на артиллеристов. Завязалась короткая, но жестокая рукопашная схватка.

Красноармеец Баранов бросился на врага, сцепился руками в его горло и повалил на землю. Боец Поспелов сидел верхом на спине рослого фашиста и бил его своей каской по роже. Бойцы Шнитко и Лурье навалились на немецкого унтера с длинными усами, но в это время сзади на Лурье налетел толстомордый солдат, и все четверо покатались по земле, сливаясь в живой клубок...

Это происходит на глазах у полковника, в пяти шагах от него.

Смертельная боль в поге не дает полковнику возможности хоть чем-нибудь помочь товарищам, ослабевающим в неравной борьбе. Он делает последнее отчаянное усилие, приподнимается на локотки и прицеливается в кучу борющихся тел.

Выстрел. И в смертной судороге забился один из немцев, выпустив из рук свою жертву — ослабевшего красноармейца.

Второй выстрел. Нет второго немца. Еще двух бойцы ловко подставили головами под дуло зувевского пистолета, и их постигла та же собачья участь...

Атака отбита. Раненых бойцов заменили зловьюе. Бойцы принесли полковника на плечах к командному пункту.

— Поздравляю с победой, — сказал доктор Мац, ласково улыбаясь своими добрыми глазами и привычными мягкими движениями начал бинтовать полковника.

Полковой комиссар Новиков запекшимися от жары, прокушавшими в рукопашной схватке губами поцеловал своего друга Зуева...

Во время первой атаки немцев полковник Зуев и полковой комиссар Новиков находились еще на виду друг у друга. Зуев командовал всей батареей, а Новиков стал командиром одного из орудий.

Когда немцы бросились через поляну в атаку на наших пехотинцев, Новиков успел дать только два выстрела картечью. У немцев срезало, как гигантской бритвой, первые ряды. Воспряли и бросились в контратаку наши пехотинцы. Но они загородили собой немцев, и орудью некуда стрелять.

— Дайте, черти, дырку для снаряда! Стрелять некуда! — надрывно кричал пехотинцам Новиков.

Те ничего и слышать не хотели — продолжали рваться вперед, стреляли, падали, снова подымались.

Командир орудия Новиков порывается покинуть орудие и выскочить вперед для «расчистки» дороги снарядам. Но разве можно это сделать сейчас, когда во всем орудийном расчете вместо семи человек осталось только трое — остальные выбыли из строя.

У панорамы весь измазанный кровью и грязью наводчик, юркий заряжающий, который и снаряды подтаскивает, и в ствол их закладывает, и замок закрывает. Правильным орудия — сам полковой комиссар.

Все-таки Новиков вдруг покидает свое орудие и с поднятым вверх пистолетом обезоруживает убегающего вперед. В разгаре атаки он расталкивает бойцов вперед и влево, показывает, что пужна «дырка» для снаряда, и, наконец, отбежав в сторону, дает сигнал орудью — «огонь».

Раздался выстрел. Снаряд летит в проделанный Новиковым тридцатиметровой ширины коридор и попадает в самую гущу немцев.

Второй и третий снаряды буквально вкалывают в землю разъяренных фашистов. Но они еще пытаются стрелять, бросать гранаты.

— Протыкай штыками гадов! — кричит пехотинцам комиссар. А своему орудийному расчету он бросает:

— Шпарьте без меня, ребята!

Схватив винтовку с плоским штыком у среженного красноармейца, Новиков бросается вперед. За ним полсотни храбрецов. Около правого локтя — младший лейтенант Павлюк, около левого — старший сержант Сидоров.

— Ур-а, на гадов!!!

Снова трогнули бацкиты. Побежали. Жаль, что в спину им нечего всыпать. Патроны все кончились.

14 ИЮЛЯ

Есть уже 20 дней, как мы держимся с фашистами в их тылу. Истребляем живую силу, громим склады, обозы... Каждый день несем потери и мы. Люди изурены. Кое-кто из менее выносливых ослабел физически.

Но не ослабела наша воля к победе. Горячо верим в наш народ, в нашу родину.

Плохо одно: уже дней 15 мы оторваны от внешнего мира. У нас нет радио. Мы не знаем, что делается в нашей стране, где проходит фронт, как разворачивается война. нас, может быть, считают погибшими...

Как хочется услышать только два слова из эфира: «Говорит Москва!» Только это...

Наши разведчики напрягают все усилия, чтобы достать радиоприемник. Но где? В этом селе фашисты расстреляли всю семью сельского учителя за то, что у него был обнаружен радиоприемник, принимавший Москву.

Мы знаем, что радиоприемники есть в офицерских машинах. Но мы обычно не соблюдаем никаких правил этикета при встрече с этими господами — швыряем гранаты прямо в стекла. Нам машины не пужны, — мы по дорогам не едим, поэтому после нашей «работы» от автомобилей, кроме груды обломков, ничего не остается.

...В лагерь нашего отряда, расположенный в густом лиственном лесу, вернулись разведчики Лидов и Парма. Докладывают командиру: в селе, в трех километрах отсюда, — немецкий гарнизон. В бинокль наблюдали из рощи: отдыхают.

— Что еще видели? — спрашивает командир.

— Кругом — немецкие патрули по три-пять человек. — добавляет Парма.

— Еще что?

— Больше ничего особенного, — говорит Лидов. — Ну, там девочка какая-то тряпки стирает.

— Вы к ней подошли, что-нибудь узнали?

— Нет, нельзя было. Около нее сидели патрульные.

— Но она — дрянь девочка, — заявляет Парма. — Она фашистам платки носовые стирает. Выстирала, высушила на веревке, что натянута у нее там между двух деревьев, а потом, подлизав такую, с поклоном подходит к каждому и преподносит платочек...

— Интересно, — задумчиво произнес командир. — Кто ее научил такому подхалимскому обращению? Она еще и сейчас там?

— Там еще, у нее белья много.

— Немедленно доставить ее сюда.

Вскоре разведчики снова были на прежнем месте, но маленькой прачки уже не было.

— Когда она успела уйти? — недовольно бурчал Парма.

Стали шарить биноклями вдоль всей речушки.

— Вот она, хитрюга, — обрадовался Парма. — Ишь, куда забилась, под кусток.

Девочка стирает белье в полкилометре от прежнего места. Около нее никого не было.

— Вот видишь, и наблюдательный пункт смелить успела, — сказал разведчик Парма, твердо уверивший себя, что он имеет дело со шпионкой.

Прошло несколько минут. Девочка положила, выжимала, развешивала на веревке какие-то рубашонки, платки. Надо было вброд перейти речушку.

Когда разведчики шли по воде, девочка услышала подозрительное бульканье. Она вдруг стала торопливо увешивать бельем всю веревку.

— Ты что тут делаешь? — грозно прорычал Парма, вылезая из воды.

— Товарищи красноармейцы, у меня радио, я слушаю Москву,— прелепетала девочка.

— Москва?! — воскликнул Парма.— Где она?!

— Вот здесь, близко. Только бельё спишите с антенны, а то не слышно будет.

Лидов мигом сорвал рубашонки, трусики, платочки, развешанные на проволоке. В кустах, около корзинки с бельём, под кучей веток был запрятан маленький радиоприемник.

— Вот ты какая?! — удивленно растягивая слова и все ещё не освободившись от подозрений, проговорил Парма.

— А зачем платёк немцам стирала?

— Нарочно. Чтобы они меня не тронули.

Девочку звали Люсей. Ей 13 лет. Её отец фельдшер. При появлении немцев отец поручил ей спрятать приемник возле речки. Люся приходит сюда «стирать бельё», натягивает антенну, как сушильную веревку, настраивается и слушает Москву: вечером голос Москвы через Люсю доходит и до всех оставшихся жителей села — стариков и детей.

...Разведчики привели Люсю в лагерь и принесли приемник. Белокурую, худощавую девочку в легком ситцевом платье, с двумя косичками, разбросанными по плечам, окружили со всех сторон командиры, разведчики. Ее засыпали вопросами. Все наперебой предлагали помочь настроить приемник.

— Он очень капризный. Я сама.— важно говорит Люся, усаживаясь на землю и надевая наушники.

Что-то долго хрипит, свистит. Наконец, спимая наушники и передавая их командиру, Люся объявляет:

— Говорит Москва!

— Говорит Москва! — взволнованно выкрикнул командир.

— Говорит Москва! — понеслось по всему лесу, из уст в уста, от сердца к сердцу.

Стремглав сбегались бойцы к командному пункту, где находился приемник.

— Где он?! Что услышали?!

Уже не видно ни приемника, ни его крохотной хозяйки — на зеленой лесной поляне сплошная толпа красноармейцев. На животах, на четвереньках, навалившись друг на друга, сгрудились бойцы вокруг маленького черного ящичка. В нем все: связь с миром, вести о родине, надежда на избавление из фашистского плена.

Включен репродуктор.

— Тише! — больше по привычке, чем по необходимости, обращается Козик к бойцам. Но об этом не надо и просить, — все замерли, затаили дыхание.

— ...Мы еще раз повторим, что... — раз-

дался из репродуктора знакомый дикторский баритон и вдруг оборвался.

— Чорт возьми! — вырвалось у нас разом.

— Ловите! Ловите! Скорее! — закричали мы Козику и Люсе.

Голос пропал, но зазвучала какая-то песня, потом опять хрипение, свист. Но мы сидим возле приемника, никто не уходит.

Мы ждем. Полчаса, час, два... Ночь. Тишина. Шумят листья. Где-то далеко бухает выстрел.

— Сегодня ничего больше не услышим, — тихо говорит Люся, но мы все сидим и выжидательно смотрим на маленький квадратный ящик.

15 ИЮЛЯ.

Утро. Снова все заняли свои места возле радиоприемника. Люся ловит Москву. И вдруг:

— Внимание! Внимание! Говорит Москва! Передаем статью товарища Емельяна Ярославского: «Всенародная партизанская война в тылу врага».

— Ребята! Ну, как нарочно для нас. Знают, что мы сидим здесь и слушаем, — говорит Козик.

Мы ловим каждое слово, вылетающее из картонного, порванного в трех местах, репродуктора.

— 3-го июля товарищ Сталин в своем выступлении по радио призвал советский народ одать все силы на разгром врага...

Сталин выступал по радио с речью к народу?! А мы не слышали... О чем говорил стране наш вождь?

Слушаем с напряжением, до звона в ушах, стараемся запомнить слова Сталина, приведенные в статье Ярославского. Эти слова адресованы к тем, кто остался в захваченных врагом районах, — к нам.

«...Создавать диверсионные группы... Для взрыва мостов, дорог, порчи телеграфной и телефонной связи... Поджога лесов, складов, обозов... Создавать невыносимые условия для фашистов... Преследовать и уничтожать их на каждом шагу...»

Торжественно звучат эти слова в утренней лесной тишине. Сразу просветлели истомленные, нехудавшие люди, и на лицах бойцов я вижу то выражение мужества, готовности на все, какое бывает, когда человек принимает присягу.

Да, мы присягали в эту минуту. Мы клялись великому Сталину, что выполним его приказ, что не дадим врагу ни часа покоя, что мы будем преследовать его и уничтожать на каждом шагу.

— На каждом шагу! — громко произносит Козик, когда радиоприемник умолк на минуту.

— На каждом шагу! — ответили мы, и это прозвучало, как клятва.

16 ПОЛЯ.

Будто сразу окрепли пальцы мускулы, будто горячей забурлила кровь в жилах, — до того велика и могуча сила сталинских слов, сталинского призыва, услышанного по радио в лесу... Мы обрели новое, несравнимое ни с чем могучее оружие — частичку воли своего вождя. Мы усеем свой путь трупами фашистов, скелетами их машин, обломками обозов. Будем вредить фашистам на каждом шагу!..

На командный пункт привели человека, задержанного охранением у окраины леса, в котором размещался наш лагерь. Высокий старик в пенсне, строгое сосредоточенное лицо, в одной руке зонтик, в другой небольшая рыночная корзинка с яйцами. Старик — работник связи, об этом говорит его форменный китель с «молнией» на левом рукаве. Однако человек вызывает у нас подозрение. Да и документов у старика никаких не оказалось.

— Кто вы такой?

— Техник телеграфа из города.

— Вы и сейчас там работаете?

— Нет, немцы уволили, солдат посадили.

— А к нам как попали?

— Я вас искал.

— Нас искали? А пока только корзинку яиц нашли? Расскажите, что в городе.

— Я затем и пришел, чтобы рассказать. А яйца... в деревне купил.

Старик продолжал:

— У нас — немцы, но не в самом городе, а в военном городке — в казармах. Это — карательный отряд. Только они боятся идти дальше, сидят у нас уже три дня. Все это время растаскивают магазины и обирают квартиры. Расстреливали на площади по одному из каждого учреждения. У нас убили телефонистку. Они ищут вас, красноармейцев.

— Телеграф ваш занят?

— Да, занят.

— Может быть, и вы на них работаете?

— Что вы, что вы! Я советский гражданин.

— Советский? А чем вы докажете? У вас даже документов-то нет никаких.

— Немцы все отобрали, еще когда на работе застали.

Можно верить старику-технику или нет? Кто он? А вдруг подослан фашистами? Нужно было получить ясные ответы на эти вопросы. Задержанного пока что отвели под конвоем в сторону.

Вернулась разведка старшего лейтенанта Коробова. Она действовала в районе города О., в семи километрах от нас. Разведчики подтверждают слова старика. Немцы расположились в казармах, находящихся на самой окраине города.

В разведку входил старший сержант Селин. Он хорошо знал этот город, и ему удалось побывать сегодня в домах на самой окраине. Селину показали старика-телеграфиста.

— Где живете? — спросил Селин.

Старик назвал адрес.

— Кого знаете в горсовете?

Старик назвал несколько фамилий. У него с Селиным нашлись и общие знакомые — городок небольшой! Подозрения несколько рассеялись.

...У командира отряда Левашова созрело решение: они ищут нас, а мы найдем их. Надо покарать карателей. Пусть только станет потемней!

Выработан дерзкий план. Задуманно произвести налет на городок, навести панику, навредить, побольше захватить боеприпасов, продуктов и отойти. Десантному отряду Левашова такие вещи делать не впервые.

Сумерки. Мы покидаем свой обжитой лесной лагерь. Рота старшего лейтенанта Яковлева с приданными ей двумя пушками — авангард отряда.

Густая роща на большой возвышенности близ города облюбована разведчиками еще днем. Там же выбрана огневая позиция для орудий. Определены дистанции до важнейших целей.

Первая и самая важная цель — 4 больших трехэтажных казармы, набитые немцами.

Ночь... Заняв рощу, Яковлев к моменту подхода всего отряда приготовился к открытию огня по казармам.

— Начнем с первого этажа, остальным и так тошно будет, — сказал он командирам орудий. И вот команда:

— Огонь!

Снаряды летят точно в пиячие окна казарм. Слышатся взрывы, рушатся стены, что-то взрывается внутри... Огонь перенесен на другие здания военного городка.

Все пошло, как задумано: в казармах началась страшная паника. С криками и гвалтом фашистские солдаты прыгали с верхних этажей, падали, металась во все стороны, как с завязанными глазами. Это хорошо видно при ярком свете пожара — горит казарма и какой-то склад.

Мы двинулись в наступление и вскоре перешли в атаку. Мы на каждом шагу наткнулись на трупы. Фашисты бросались в улицы, в гражданские дома и... почему-то не стреляли.

Оттуда они снова выскакивали с какими-то свертками, узлами, но уже без винтовок. Вдоль улиц бандиты удрали почти без оглядки... Как потом оказалось, в узлах было наворованное имущество. Раненые фашисты признались, что они два дня «чистили» город — магазины и квартиры. Каждый награбил много. Но вот беда — девать некуда! Не тащить же на спине. А часть идет дальше. Наворованное продали по домам на хранение, номера записали, расстрелом пригрозили... Нужно быть гитлеровцем, чтобы додуматься до такой гнусности: вас ограбили и вам же отдали ваше имущество под расписку на хранение.

Позабыв о всяком сопротивлении, грабители все же помнили о барахле, которое сейчас так «спешно» и разбирали.

Вот на дороге, уткнувшись мордой в лужу, валяется с обнаженной головой фашист. Его прижал к земле большой чемадап, будто свалившийся на него с неба. И чемадап и сам грабитель метко прострелены красноармейской пулей. Один «хитрец» напялил на себя женский халат — для маскировки, видимо. Халат одел, а каску спать забыл. «Дама» в каске уложена пулей тут же, невдалеке от кавалера без каски.

Фашисты бросили на произвол судьбы обоз, автомашинный, оружейный снарядами, цистерны с горючим, пушки... Наши бойцы несутся от машины к машине с горящими факелами и зажигают обоз. Стало светло, как днем. Артиллеристы налетели на фашистские орудия, вынимают замки. Везде идет горячая, спешная работа. Надо успеть за час управиться со всеми делами. Мы зажигаем, громим, колотим вдребезги все, что попадает под руку. Отвсюду доносится грохот взрывов и треск огня.

В переулках завязался бой. Несколько опомнившихся фашистов пытаются отстреливаться и бросать гранаты из-за угла. Но вспоминается наказ командира отряда: не застревать в городских щелях — запутаешься и время потеряешь. Пулю прорываться к центру, поражать нервы города — телеграф, электростанцию. Бойцы мчатся дальше. Фашисты из переулков сами удирают. Хотят выбраться за черту города: боятся населения. Теперь, когда на улицах появились первые красноармейцы, жители указывают укрывшихся врагов.

Наша особая группа во главе с Седным кратчайшим путем бежала к телеграфу. Она почти на руках несла с собой выбившегося из сил старика-телеграфиста.

— Где? Показывай! Скорей! — торопят его бойцы, подбегая к телеграфу с переулка.

— Вот, третье окно справа!

В окно летят четыре гранаты. Взлетела на воздух аппаратная телеграфа. Немецкой охране, расположенной у главного подъезда здания, уже нечего больше охранять.

17 ИЮЛЯ.

Наконец-то сегодня у нас баня! Долго мы ждали этого дня. Месяц не мылись, не мыли белье. Банный день нужен не меньше, чем хлеб, чем боеприпасы...

Латерь, как всегда, в глубоком лесу, подалше от неприятеля, близко к реке. Колычев с его неизменными помощниками — Мякишевым, Горбушкиным и Сорокой — заранее облюбовали прекрасное место для «бани», хорошо прикрытое. У берега — плоты, удобно раздеваться.

Заместитель командира Чехарин разработал «внутренний распорядок» купанья, как план самой настоящей боевой операции. В самом деле: мойся, но помни, что ты не в бане, а в тылу врага.

— Мыться будем поочередно: один взвод моется, другой — охраняет, — приказал Чехарин командирам подразделений.

Первым пришло к реке подразделение Новикова. Охраняющий взвод занимает оборону, остальные, прежде чем раздеться, устанавливают на берегу пулеметы, определяют сектора обстрела на случай нападения фашистов. И пулеметы и винтовки остаются в заряженном виде.

Мы вынимаем из ранцев и бережно разворачиваем белье, тщательно берегающиеся нами целый месяц.

Люди бросаются в воду, как в атаку, — всем своим существом, напролом; ныряют, плавают... Другие спускаются с плотов осторожно, окуная то одну, то другую ногу.

— Эй, дядя! Замаскируйся хорошенько. Полежай скорее в воду! — кричали такому плавающему бойцу.

Что это? Шутка или серьезное боевое предупреждение?

Не прошло и полминуты, как все сплели уже в реке, торчали лишь одни головы. Мы отмывались, отскабливались, снимали с себя месячную грязь, а кое-кто — и остатки запекшейся крови. Большой кусок мыла ходил из рук в руки. Мочалки — пучки травы с берега — были у каждого.

Наслаждение непередаваемое! Бойцы барахтались в воде, словно озорные ребяташки.

— Так бы никогда и не вышел отсюда, — говорит Новиков.

Я мылся, сидя на берегу, не разбинтовывая ноги. Друзья поливали мне в котелке воду. Но я был в таком же упоении от «бани», как и те, кто был с головой в воде.

«Баня» длилась часа два. Одно подразделение сменялось другим. Людей силой приходилось выгонять из речки.

Перемылось уже большинство, как вдруг на другом берегу раздался автоматный стрелок.

— К оружию! — гремит с берега команда.

Все бросились из реки к вытовкам, пулеметам и, как были голые, так и залегли около них, открыв огонь по немецким солдатам, появившимся на опушке. Перестрелка длилась около 15 минут. Немцы замолкли. Нами выслана мощная разведка. За ней — одно из вымывшихся подразделений. Неприятель оказался несильным: какой-то запутавшийся в лесу батальон. Может быть, из карательного отряда. С ним продолжалась мелкая перестрелка. Наступать и ввязываться в крупный бой мы не собирались. Но как жаль было расставаться с рекой! Месяц ждали этого дня... Да и осталось пропустить всего не больше сотни человек.

— Домываться всем, кто не мылся. Остальные — охранять! — приказал Чехарин.

«Баня» продолжалась под огнем противника. Вымылись все до единого бойца.

— Это ничего, что пострелялись, — банька, можно сказать, с парком получилась, — подшучивает Козик.

Как истинный пропагандист, он тут же совершает экскурсию в историю: один солдат петровского времени стоял на посту на берегу Невы. Захотелось ему купаться. Раздевшись и положив ружье вместе с бельем, он забрался в воду. Только начал мыться, как на берегу Невы появился сам Петр I. Солдат смело выскочил, схватил ружье, голый вытянулся во фронт и давай рапортовать. Петр I ответил: «Ты достоин за свой поступок самой высшей кары, но так как, выскочив из речки, ты схватился прежде всего за ружье, а не за штаны, то наказание тебе смягчается».

— Ну, а мы же не только за ружье схватились, а даже противнику отпор дали, — смеется Козик.

...Ночью наш отряд подходил к шоссе на дороге, которую надо было пересечь. Я ушел вместе с Кильичевым и его разведчиками к самой дороге. Теперь всегда так делаю: с одной стороны — в разведке участвую, с другой — не оказываясь в хвосте у отряда и не отстану во время броска через дорогу. Дорогу перехожу с первыми бойцами.

Наблюдаем. Ежедневно проходят по дорогам длинные-предлинные колонны черных автобусов с крестами, вывозящих раненых с фронта. Хотя в них тоже фашисты, но это не наш объект. С ранеными не воюем, у нас времени нехватает здоровых фашистов бить.

Сейчас проходит перед нами такая колонна. Навстречу ей идет небольшая регулярная часть, силой до роты. Бросаются в глаза слишком уродливые фигуры солдат: будто вместо ранцев на спинах опромные выюки.

Что это за выючная часть? Саперы, что ли, с матералами? — думаем мы.

Рота вдруг недалеко остановилась. Возле черных автобусов поднялся страшный шум, ругань.

Надо бы нашему отряду сигнал давать — бросок-делать, но мы увлеклись: подползли ближе к бандитам.

Но кто же из них бандиты? Те, что с выюками на спине, или те, что пахотятся в черных автобусах? Стоял неумоверный гвалт, ругань. Раздался пистолетный выстрел. Кто-то застонал. Солдаты бросились к автобусам.

Они сбрасывали с себя выюки и пихали их в двери автобусов. Все не вмещалось. Наспех вынимали носилки с ранеными, грузили свои выюки, а затем больных.

— Награбленное, сволочи, отправляют, — догадались мы, наконец.

«Операция» отправки длилась минут двадцать, после чего санитарные машины продолжали свой путь, а фашистская рота отправилась «воевать» дальше.

Когда все стихло, с дороги послышался еле уловимый стон.

Подходим вплотную. В кювете лежит прикрытый носилками, еле живой раненый немец. Его во время отправки вещей забыли в канаве, а может быть и просто выбросили братья по грабежу.

Захватив у него из-под головы документы, мы подали сигнал отряду и пересекли дорогу.

...Чуть забрезжил рассвет. Я попросил доктора Мац разобраться в документах и письмах раненого.

Яровой 152-го отдельного батальона связи Эрст Шредер.

Отложив все, что пишут ему, ищем, нет ли письма от него на родину. Это интересное — обычно, так и узнаем о фронте.

В тетради — недолгое письмо к жене. Эрст Шредер пишет жене Эмили о прекрасных советских лесах, стройках. Он восхищается этим. Я с ним вполне согласен. Было бы время, переписал бы себе все в дневник, но возьму другое место из его письма.

«...А скоро, Эми, ты получишь от меня гостиницу, — сибирскую лисичку. Она при мне, уже упакована, получилось очень миниатюрно. Если подходящего случая отправить. Она немножко поношена, но ничего. Скоро я буду иметь возможность поймать тебе совсем новую, прямо там, где они растут...»

Лисичка уехала. Шредер остался. Скоро получит Эмилия «попошенную сибирскую лисичку».

И больше она уже ничего не получит. Здорово попошенный на войне ее супруг Эрст выброшен братьями-арийцами в кювет, как самая последняя падаль.

Не дошел фашист Шредер до тех мест, где «растут сибирские лисички», никогда не пойдут туда и все его братья-трагедии.

19 ИЮЛЯ.

Наш путь уже давно проходит параллельно фронту — с севера на юг. Пройдена не одна сотня километров. Сегодня мы особенно близко подошли к фронту — километров на 20—25. Об этом можно судить и по слышимости артиллерийской канонады слева и по насыщенности дорог немецкими войсками.

Попробуем, однако, свободны от немцев наши леса: фашистские колонны пришиты к дорогам.

Охранение у них только головное и тыловое, т. е. все по той же дороге. Боковое же, в лес — не выставляется: немцы боятся леса, как черти лапана. Мы пересекли много дорог, встретили десятки вражеских колонн, в том числе и пехотных, но еще не было случая, чтоб они имели боковое охранение хотя бы в 50 метрах.

Полные трубы, они — вояки только крупными соединениями, тысячеталковой массой. Они храбры только возле машины. Отвернись от машины, разделили пехотную роту от танковой — и машина наступления сломана.

Сегодня на заре, между прочим, мы наблюдали новый вид охранения, являющийся плетом военной немецкой «изобретательности».

В селе на ночевку остановился фашистский пехотный батальон. Обычно немцы в таких случаях выставляют на окраине и в переулках броневики, патрули. Но Кольчев еще ночью докладывал: немцев полнее село, и ни одного броневика или танка.

— Зато собак — несметное множество, — добавил он.

— Какие собаки? — недоумевали мы. — Что произошло?

Подходя к селу, Кольчев увидел странную картину. Вместо броневиков и танков у околицы стояли... собаки будки! Оказывается, фашисты заставили крестьян перетаскать эти кенуры от домов на окраины. При появлении посторонних собаки будут лаять и разбудят лежащие около них фашистские патрули.

Но трудно обмануть нашего Кольчева. Он сам не съел свою порцию мяса, отдал ее собакам, и они молча пропустили его в деревню.

...Продолжаем наш марш. Пока не решаемся прорываться сквозь фронт; спустимся еще южнее, там безопаснее. А потом неизвестно, перешли наши девчата-посылные фронт или нет, сообщили ли командованию сигналы, выработанные нами на случай прорыва к своим.

Девчата ушли еще 16 июля. Они сослужат отряду великую службу или погибнут при переходе фронта.

Где-то они сейчас? Последний день их с утра до вечера инструктировали полковник Ревуенко, капитаны Кубасов, Маслюков и старший политрук Мелведев.

— Ну, еще раз все сначала. — требовал Кубасов, и девушки повторяли наизусть серию ракетных сигналов, которыми отряд предупредит советские войска о переходе фронта.

Особенно тщательно они репетировали с девчатами вопрос их немецкими офицерами.

— Вы откуда? — спросят девчат.

— Из соседней деревни.

— Почему остались, не убежали со всеми?

— Хлеб убирать будем. Белье господам офицерам стирать будем, — бойко отвечает машинистка Лиза Семеева, черпоглазая, живая.

В начало похода она всё песни да частушки распевала, а теперь вся высохла, еле ноги передвигает, приумолкла. Вместе с нами голодает, но, если получит кусочек мяса или сырую картошку, обязательно найдет такого, кто ослабел еще больше, чем она, и поделится с бойцом.

Шнипова Валя — солидная, сильная, круглолицая девушка. Она бы смело могла пару немцев за шиворот взять и столкнуть их лбами покряче. Валя — наборщица типографии, но сейчас она «лаборантка» ягод, грибов.

Лиза Горняк — медицинская сестра, добровольно уехавшая с нами на фронт. Предприимчивая, со смелыми серыми глазами. Все порывалась в ночные разведки с Кольчевым, но мы не пускали, берегли.

Все же в дневное время она и остальные девчата заходили передельными в занятые немцами деревни, добывали ценные сведения.

Чубикова Маруся — воефельдшер, 18-летняя, беленькая, пежная и хрупкая, как стекло! Ни военная гимнастерка, ни сапоги, ни нагач сбоку не могли принять ее фигуре военной строгости. Уж очень желанное создание! Странно видеть такую на войне. Ну, а вдруг налетит на нее копыт при разрыве снаряда... Она очень проста, скромна, молчалива. С ранеными работает самоотверженно, успевает всех перевязать, всех обласкать. Человек перебинтован и лежит спокойно на лесном валежнике с душистыми сосновыми ветвями под головой, а Маруся сидит около

него, погруженная в думы: хорошо бы так сделать, чтобы боль раненого взять на себя, а он бы снова пошел бить фашистов...

Девчата были настоящими боевыми подругами. Они сами первые предложили свои услуги — перейти через линию фронта для связи с частями Красной Армии.

В тот день, 16-го, они переоделись в крестьянское платье, распрошались, заплакали, конечно. Слезы, впрочем, были на глазах не только у наших милых девушек. Ведь ради нас они отправлялись на опасное дело, — возможно, на смерть.

Глазами, полными восхищения и радости, смотрели мы вслед удаляющимся самоотверженным женщинам. Последний раз между деревьями мелькнули их беленькие белорусские кофточки.

20 ИЮЛЯ.

Свои маршруты по лесам и болотам мы совершаем не только с помощью карт и компаса, но и с помощью проводников — стариков, пастухов. Эти люди, рискуя жизнью, отправляются с нами. Иногда становятся участниками наших стычек с врагом, но не убегают, продолжают идти вперед и выводят колонны километрами за 20—30 к намеченному пункту.

Уже более десятка фамилий и адресов этих самоотверженных друзей числится у меня на отдельном листочке. Когда-нибудь отблагодарим, а сейчас этот листок я держу всегда наготове, чтобы в критический момент уничтожить его и не выдать друзей.

Сегодня у нас проводником 50-летний колхозник Семен. Он хорошо знает места, а если и собьется, на помощь ему всякий раз приходит собака Линда.

— Она у меня смышленная. Буда с ней ни заверни, обязательно выведет, — говорит старик, поглаживая рыжую Линду.

Старик с собакой шли все время в голове колонны вместе с разведчиками. Линда, бежавшая в нескольких метрах впереди, вдруг насторожила уши, прилегла.

— Личь, значит, — прошелгал старик.

А Линда — будто опытный разведчик: то ползает, то побежит, то снова замедляет на месте. Разведчики — за ней.

Вскоре из кустов ясно донеслось хриплое рычанье какого-то неведомого зверя. Линда, посмотрев на нас своими умными глазами, приготовилась к прыжку.

Вскинуты винтовки.

— Агу!

Линда делает громадный прыжок в куст

на зверя, и в тот же миг «зверь» заорал истошным человеческим голосом.

Бросаемся за Линдой и видим, как она с остервенением рвет на части штаны на немецком солдате, который никак не может очухаться от сладкого сна.

Солдат оказался пьяным пекарем с немецкой походной пекарни, расположенной в соседней деревне.

Потом от пьяницы узнали, что он не просто пекарь, а главный пекарь. Хлеб испечен и ждет отправки. Сам он, напившись водки, забрел за околицу, заблудился в лесу и заснул.

Весть о хлебе, да еще горячем, из самой пекарни, не на шутку взволновала весь отряд. Никто не смог сдержать слюнки, — вель хлеба мы не видели уже неделю, только мясо без соли да всякая зелень.

— Атаковать! — решительно предлагает Кольчев.

— Разведайте сначала, — приказывает командир.

Пленного главпекаря, всего изорванного Линдой, разведчики забрали с собой: пусть покажет пекарню.

Через час к месту нашей стоянки возвратился Кольчев с своими разведчиками и еще 10-ю пленными полупьяными пекарями. Солдаты-пекари, перемазанные мукой и тестом, тащили на горбах мешки, нагруженные буханками хлеба. Хлеб немедленно разделили между всеми бойцами.

— А пекарня? — строго спросил Кольчева командир Закутный.

— Все машины и котлы изломаны. Тесто спущено на дорогу, — отпарировала Кольчев и, усмехаясь, добавит:

— Здорово помогли сами вот эти бандюки.

Сытые, довольные удачным налетом, мы двинулись дальше...

21 ИЮЛЯ.

Сегодня с утра у нас затруднение с проводником. «Проводник кончился» — докладывает Кольчев командиру отряда. Это значит, что провожающий нас дальше плохо знает местность, пора добывать следующего. Но вот мы вошли в деревню, не запятуя немцами, и все-таки у нас нет проводника.

Гитлеровцы здесь так жестоко расправились с населением, что все убежали в леса и болота. Вдруг у ворот колхозного двора мы натолкнулись на трупы пяти замученных крестьян: четверо мужчин и одна женщина.

— Вот гадья, даже женщину не пощадили?! —

— Попадутся же сегодня — порубаю пятерых за каждого, — сурово сказал Добротен-

ский. И все знали цену словам этого храбрейшего командира.

— Правоставные! Где вы? Откуда слово родное? — вдруг слышим мы старческий голос из-за конюшни.

Лепкая дрожь пробежала по телу, — голос на пустом кладбище. Ребята бросились за конюшню. Ведут оттуда под руки осторожно шагающего седого старика.

— Кто вы, дедушка?

— Колхозник я, родные, живой человек, Ефим зовут. Не тронули меня супостаты, безвредный я, думали.

Только здесь мы заметили, что старик смотрит своими мутными бесцветными глазами мимо нас, куда-то в пространство. Он протягивал вперед руку, стараясь что-то нащупать. Старик был слеп. Вот почему его сочли безвредным.

— Как же, дедушка, жить будешь? Ведь ты один в деревне?

— Знаю, — я один, зато вас много.

— Но ведь мы сейчас гуляем.

— Значит, и я пойду, — решительно заявил дед.

— Тебя же, дедушка, водить надо, — с горечью говорит командир Закутный.

— Не надо меня водить — сам дорогу знаю.

— Как же знаете, вы же же видите, — смущенно проговорил командир.

— Лучше вас, сыночки, дорогу знаю. Седьмой десяток, почитай, на этом месте живу.

И командир и разведчики стали расспрашивать Ефима, как идти дальше. Он точно отвечал на все вопросы, все совпадало с картой.

— А что, если нам его с собой взять? — предложили Бобычев.

— Ноги, дед, крепкие? — спрашивает командир.

— Верст на двадцать, почитай, без передышки хватит.

Дед, конечно, преувеличил, но нас устраивало, если бы он с нами пришел «без передышки» хотя бы пять километров и за это время рассказал о нашем пути дальше.

— А давно не видишь, дедушка? — спросил командир.

— С войны германской. Там отравили. Дым-газом введливым.

Решено было деда взять с собой и оставить где-нибудь в деревне, в которой есть народ.

Выделенный красноармеец подошел к старику и подставил ему свое плечо, на которое тот и оперся.

Покидая колхозный двор, мы еще раз взглянули на трупы у ворот. Около убитой

пожилой женщины стоял шестрый с большими глазами теленок. Он жалобно мычал, бестолково тыкался своим белым скользким носом в платок женщины, лизал ее холодную отброшенную в сторону руку...

— Телочек еще тут? — спросил дед Ефим.

— Да вон около хозяйки, наверное. Убитая лежит.

— Знаю, убита. Слышал. Телятница наша Аксинья. Бойкая была баба. За телка обиженного готова была глаза выцарапать. Еще-то кто есть с ней? — допытывался дед Ефим.

— Четверо мужчин.

— Знаю, тоже слышал. Ефим-то Горох, тезка мой, тут, что ли?

— Не знаем, дедушка.

— Как же не знаете бригадира-то нашего? Махонький такой, а молотный был... С клюкой березовой, я еще ему делал.

По приметам старика мы безошибочно узнали среди трупов маленького старичка, бригадира Ефима Гороха. Только клюка березовая валялась немного поодаль от хозяйна...

Миновали околицу.

— Вот эта пшеница, — говорит дед, показывая вправо и влево от дороги, — из отборных сортов. Зернышко к зернышку подбирали в колхозе. То-то она, видите, какая густая, колосистая.

Мы видели бескрайнюю ниву густой, со щетинистыми колосьями пшеницы; но как ее мог видеть наш слепой спутник?

— Вот теперь пора и вправо, — немного погодя проговорил дед. — Здесь ежели дорожка малая есть, то она прямехонько на лес выведет и на ту просеку, которую вы спрашивали.

Когда мы вошли в лес, то убедились, что дед наизусть знает не только большие, но и малые лесные просеки, знает не только известные болота, но и каждый ручеек. По запаху определяет он, какая порода деревьев идет справа, какая слева.

Приблизилось болото.

— В давние времена здесь была погибель настоящая. До базара пять верст, а обходили за двадцать. Теперь вот все колхозам обсушили, прямую тропу сделали.

По какому-то еле заметному жужжанью пчел дедушка предупредил:

— Сейчас пасека наша колхозная будет. Богатая, мед на выставку в Москву возили. Там все языки от него проглатывали: говорят, наш самый душистый.

Бойцы толпой шли вокруг деда Ефима, с наслаждением слушая рассказы его про родной, богатый природой, белорусский край, про занятую колхозную жизнь, про родной

белорусский пыльный завод, а потом смоляной.

— Бойкая жизнь стала, когда мы сами властвовать стали. Все, как пчелки на пасеке, трудятся, работают... Все видно даже мне, незрячему человеку...

Старик глубоко вздохнул и перекрестился. Этим жестом он по-своему как бы благоговел все то, что создано руками советских труженников, — всю великую страну свою видел слепой старик.

— Не горюй, дедушка! — ободряли бойцы своего слугушку. — Скоро придет избавление от врага. Вот дай нам стать посильнее — соединиться со всей Красной Армией.

Десять километров прошли мы по густому лесу и болотам просеками и бревенчатыми переходами. Нигде ни разу не сблизись. Так хорошо нас вел невиданный проводник, слепой старик Ефим.

...Каждый день, как только мы останавливаемся на длительный отдых, я принимаюсь за свою раненую ногу. Разматываю со скатерть величиной замшу, снимаю десяток метров бинтов и ворох ваты. С открытой раной поджариваю ногу на солнце в течение 2—3 часов.

Это и есть «кварцевое» лечение, авторитетно рекомендованное доктором Мац. Ведный доктор! Он так исцелял, что, кажется, на лице его, кроме больших роговых очков, ничего не осталось. На привалах ему даже отдохнуть некогда. Бойцы, как только останавливались, так уже и спят, а доктору еще часа на два заботы о нас.

Каждый день доктор занимается перевязкой раненых и перевязывает самого себя — для все время пешком, он растер себе в кровь ноги.

Я тоже пробую идти пешком, иногда 2—3 километра; но, обессилев, я ложусь вместе с другими ранеными на повозку.

Рядом, придерживаясь рукой за пояс красноармейца, хромает доктор Мац.

— Доктор! Есть местечко, садитесь, отдохните!

— Нет, у меня есть силы, — тихо отвечает Мац и не обходится без шутки: — Мне вчера на обед досталась телячья ножка. Резвый был теленок. Вот теперь по себе чувствую — бегу да и только.

Доктор не хочет показывать раненым, что он настолько слаб, что нуждается в повозке.

— Товарищ возвращай второго ранга! Командир отряда приказывает вам сесть в повозку, — слышим мы голос красноармейца, посланного командиром.

Мац тихо ворчит что-то под нос, присаживаясь с краю на одну из повозок.

...Сегодня доктор снова меня перебинтовал после солнечной ванны.

— Вы знаете маршрут? — спрашивает он. — Вам придется припать трехкилометровую болотную, грязевую ванну, но это ничего. После высушимся.

Нам предстояло преодолеть одно из многих болот, с которыми мы встречаемся каждый день. Повозки вместе с возницами-крестьянами отправлены рискованным путем в обход по дороге. Раненые — частью пойдут сами, частью будут перенесены на плечах здоровыми товарищами.

Наш новый проводник — 64-летний пастух-поляк, дедушка Виктор — ведет нас через болото, выбирая нетопкие, неглубокие места.

С виду — сплошной зеленый, с массой желтых цветочков, луг. Только бы лечь да отдохнуть на нем. Но вот мы вступаем на этот луг. Сначала хлюпаем по какому-то заросшему мелкой осокой упротому, будто гутаперчевому ковру. Наступивши, а под ногами выбьется.

Начинаются кочки, и между шлеми вода, прикрытая мхом и водорослями. Проваливаемся в воду по колено. Ноги засасывает куда-то в бездну. Выглянешь одну — уже засало другую. Вырвешь ногу из тины — замутаешься в траве. Водоросли, как эхид, цепкие, зеленые, обвивают ноги и не рвутся никак. С проклятиями, с напряжением всех оставшихся сил мы провозимаем прорываться дальше. Огрозывать метр за метром у болота куда тяжелее, чем вести бой с противником.

Вот уже час, как мы барахтаемся всего на одном километре. А впереди — не видно конца — тянется все тот же коварный и противный, с желтыми цветами луг. Скорее бы лес, скорее бы сухое место!

Проваливаемся по пояс. Раненым и спально ослабевшим только и спасенье на кочках. За эти малюсенькие островки спасенья мы жвтаемся обеими руками, чуть не зубами. Только бы не утонуть!

Мы растянулись на все болото в длинную предлинную цепочку. Прошло два с лишком часа. От времени до времени вдруг раздастся стои, мольба о помощи утопающего.

Видна спина, вешевой мешок, а голова уже погрузилась в воду. — мох не дает затонуть сразу.

— Хватай! — командует кто-нибудь из бойцов. И откуда ни возмись — к нам прихоят сила и энергия. К гибнущему прыжками бросаются со всех сторон товарищи. Вытаскивают за якиворот, тиснут... Из носа течет вода. Человек, как полусонный, не знает, что вокруг. С головы и плеч его свисают скользкие зеленые водоросли. Постоят и

опять бредет на буксире у товарища, держась за ремешь или шатку.

Вскоре вся колонна превращается в сплошной буксир: соединились ремни, палки, вештовки, концы веревок и даже чья-то длинная цепочка с часами...

Нещадно палит солнце. Хочется пить, но кругом лишь грязь, и мы припадаем к ней пересохшими губами. Только теперь я знаю, что такое жажда... Часто отдыхаем. Каждому достается по кочке. Редко кто садится. Большинство вот так, как и я, — павалились животом на кочку, свесились на две стороны, как мешки, перевязанные пополам. Вот и отдых. Некоторые «в объёмку» с кочкой даже засыпать ухитряются. Но это ненадолго. Обязательно свалится и начнёт бутылкаться под свои собственные упрёки, сдобренные крепким словом.

Снова по цепочке команда.

— Поднимайся! Марш!

Болото в три километра мы атаковали почти три часа, хотя и очень торопились, опасаясь, как бы не прихватила нас здесь вражеская авиация.

Мы уже были на краю болота. Входили в лес. Сильные бойцы выводили последних ослабевших, выгнали раненых. И тут нас все-таки подловил фашистский самолет-разведчик.

Сделав над нами три круга, он спешно ушел на запад. Мы знаем:

— Теперь приведет бомбардировщиков.

Надо бы скрыться дальше, в глубь леса, но мы даже перед явной угрозой смерти не можем ступить и шагу. Все свалились на землю, измученные, мокрые, бессильные... У нас есть, конечно, надежда: наши замечательные герои — Колычев с разведчиками. Они тоже устали и не прочь были растянуться на валежнике да отдохнуть как следует. Но эти неутомимые, вечно настроженные и какие-то железные люди знают свой долг перед товарищами, врага никогда не просят.

Колычев во все стороны посылал разведку. На горизонте замечена вражеская красная ракета. Других ракет не видно, стрельбы тоже нет. Знаем: это обозначение стычки вражеской части для своих соседей и для авиации. Это делается к вечеру каждый день, в одно и то же время.

— Пусть будет красная, — насмешливо промолвил Колычев, продолжая рассказывать по нашему «сонному царству». Он нагибается над бойцом и вкладывает в расслабленную его руку выпавшую вештовку.

Забыв обо всех муках, я невольно люблюсь этим изумительным человеком, талантливым

разведчиком с лицом нежной девушки и с сердцем льва...

И все-таки я засыпаю. Точно тонины гирь придают меня к земле. Не хочется думать ни о чем, даже о предстоящем прилете стервятников.

— Ну их всех к черту! Все равно не попадут, знаем их меткость.

22 ИЮЛЯ.

Полночь. После недолгого отдыха Закутный сказал:

— В следующую ночь будем переходить линию фронта. Сигнал, посланный с девушками, наверно, уже передан своим.

На фронте тихо. Ни артиллерийской, ни ружейной перестрелки не слышно. Мы считаем, что линия фронта проходит от нас в 20 километрах.

Колонна тронулась. Цель — до рассвета максимально приблизиться к фронту, притаиться на день в глубоком лесу, подготовиться для последнего броска. Надо суметь это сделать очень тонко: и немцев прорвать и не быть расстрелянными огнем своих войск.

Вернулись люди Колычева.

— Впереди дорога с войсками, — докладывает на ходу разведчик.

— Справа залегли солдаты, — сообщает другой.

— Слева проволока и окопы с немцами, — добавляет третий.

— Что за чертовщина? — изумляется командир. — Зачем здесь проволока?

Движение колонны на час прекращено. Ити пока некуда: с трех сторон неприятель, с четвертой — болото. Выяснили — слева у нас или одна из самых тыловых немецких линий обороны или запасная.

— Здесь оставаться нельзя ни минуты, немедленно пройти окопы с тыла и снова в лес, — приказывает Закутный.

Мы подврядываемся небольшими группами к окопам. Бесшумно прикалываем дозоры тылового охранения. Все они принимали нужную на окопы с тыла массу наших людей за свое подкрепление. Пока они собирались спрашивать пароль, специально выделенные группы накрывали их палатками.

Трудно поверить, но мы буквально проходим через окопы со спящими в них фашистами. Делаем это тихо, спокойно, соблюдая выдержку, зная что ночью сильнее мы, а не немцы.

Лишь передовые посты и секреты, когда мы наступили прямо на спины, подняли тревогу. Раздалась выстрелы, выкрики, исполошено застрочил пулемет, но было уже поздно. Мы были за проволокой, в дремучем лесу, и лишь

шажные пуги от времени до времени свистели над нашими головами.

На бруствере какого-то окопа я подобрал маленький мешочек с крупной. Обрадованный, засунул его в карман. Утром полакомилась кашей... На рассвете, во время привала, решил похвастаться находкой. Вынимаю — и перед глазами самый обыкновенный мешочек артиллерийского заряда с немецкой надписью. Внутри зернистый черный порошок, из которого я собрался варить кашу.

Но где мы находимся? Не может быть, чтобы нам удалось так безболезненно, без всяких потерь, пройти линию фронта. Сомнения вскоре подтвердились: разведка донесла, что впереди село Любань, только что оставленное немцами. Но весь район занят фашистами.

Значит, мы попрежнему в тылу врага...

Тем временем из села к нам в лес приковылял хромой сторож сельсовета.

— Который раз спрашивают сегодня по телефону какого-нибудь начальника, — говорит он Закутному.

— На русском языке?

— Истинно, на русском. До этого, конечно, и немчура говорила.

Долго раздумывает командир.

— Стоит послушать, — наконец решительно заявляет он.

Я пропущу с ним вместе. Под сильным охранением мы с Закутным пробираемся в село и скрываемся на огороде.

— Ну, кто кого обдурит? — шутит Закутный. — Кто-то ловит нас на удочку...

Мы у аппарата. И вот какой произошел разговор:

Закутный. Какого вам надо начальника? Сельсоветского?

Голос в трубке. Нет, нам нужны военные. Есть у вас там военные?

Закутный (шутливо). Да, воются по-прежнему. А вам каких — немецких или русских?

Пауза.

Голос в трубке (сердито). Не валийте дурака. Отвечайте, кто вы такой: немец или русский?

Закутный (насмешливо). А я вас хотел спросить о том же.

В телефоне ругательство. Но разговор возобновляется снова.

Голос в трубке. Если вы не скажете, кто вы такой, — я вас прикажу арестовать.

Закутный. Это еще посмотрим, кто кого арестует.

Голос в трубке. Назовите свою фамилию, может быть разберемся.

Закутный. Это мне не жалко. Пожалуйста: Закутный.

Голос в трубке. Что за чорт! Закутный?! (п уже выкриком:) Слушай, Закутный, а как ты сюда попал? Я — Судаков.

Закутный (в недоумении, морща лоб, напрягает память). Что-то не помню...

Голос в трубке. Ах ты, чорт этакий! Да мы же с тобой вместе диссертацию по топографии в академии защищали!

Закутный (поражен). Слушай, неужели?! Ты?! Судаков?!

Далее разговор между двумя командирами происходил в сплошных восклицаниях и намеках. Ясно одно: Судаков говорит из действующей армии, части которой расположены отсюда в нескольких километрах. Сейчас он придет сюда роту броневиков, которая и уведет за собой весь отряд.

Как хорошо, что, несмотря на образовавшуюся линию фронта, уцелели провода местной связи!

Закутный и я в неописуемом восторге. Но что-то щемит внутри. После 30 дней пребывания в окружении врага трудно поверить, что мы уже почти дома.

— А вдруг это все-таки немец? — сомневается Закутный. — С меня слетает пыль восторга. Шутка сказать: целая рота броневиков. Придет сейчас, мелькнет своими белыми черепами на башнях да и покажет нам, что такое телефонный разговор. Ах, как мы были неосторожны!

Вернулись в рощу. Закутный расположил отряд подальше у опушки против места, назначенного для свидания с бронеротой. Бойцы приготовили связки гранат.

— Еще раз повторяю, — обращается к бойцам Закутный, — будьте осторожны.

Поднятая вихрь пыли на проселочной дороге, показались бронемшины. Подъехав к роще, они мгновенно развернулись для атаки. Пушки направлены прямо в нас. Вот-вот грохнет залп. Но машины с визгом остановились. Из верхнего люка готовного броневика во весь рост показался советский командир-танкист.

Он крикнул громко на чистом русском языке:

— Товарищи бойцы Красной Армии! Кто здесь есть? Пусть выйдет хотя бы один командир.

Вперед выступил из-за деревьев Закутный. Открыто говоря, он не имел права рисковать... Мы видели, как Закутный подошел вплотную к машине, поздоровался с командиром и, чтобы окончательно убедиться, что перед нами свои, попросил открыть люки машин. Всюду он увидел наших советских бойцов Красной Армии в форме бронетанковых войск.

— Выходите, товарищи! — радостно крикнул Закутный, обращаясь к нам.

— Свои! Свои!

Только стиснутые, опустились руки с гранатами. Как-то стыдно стало, — на своих поднимали. Все бросались через опушку к машинам. Бойцы облепяти броневики со всех сторон.

Люди обнимали и целовали друг друга. Бойцы обнимали брону и стволы пушек и пулеметов, гладили их руками, как живых. И я не мог удержаться — обнял камишежного таджика и звонко расцеловал его.

Трогательная встреча была внезапно прервана строгим командой Закутного:

— Вперед, марши!

Разведка донесла о близости врага.

Быстрее с машинами! И колонна под охраной броневиков в предвечерней дымке двинулась форсированным маршем навстречу своим войскам. Вскоре мы уже вступили на позиции частей Красной Армии.

Эх, жаль, что на радостях невозможно крикнуть «ура» на весь свет, на весь фронт... Ну, ничего — оно пригодится нам при первой же атаке на фашистов.

Мой первый вопрос к командирам, встретившим нас:

— Где генерал-майор Галицкий? Как его части?

— Генерал Галицкий несколько дней назад вывел все свои отряды, пройдя по тылам врага свыше 500 километров. Бойцы и командиры влились в крупное соединение, командовать которым назначен Галицкий.

Вот это чудесно! Значит, еще повоюем!

...Мы в Гомеле. Прежде всего — помыться и сменить наконец истрепанное обмундирование! В госпитале меня посадили в горячую ванну.

Непередаваемое блаженство охватило все мое существо до кончиков каждого нерва.

Телу, и не верится: «Неужели вырвались?! Нет... Разве Козычев не в разведке? А взорванный поезд... Драться будем сегодня, как и вчера и позавчера. Ах, это проклятое болото, чуть не остался там навсегда. Как это назвал его доктор? Ах, да — трехкилометровая ван-

на... Но ведь я и сейчас в ванной... по разво сравняшь. До чего сладко.

... Я ткну, захлебываюсь, кричу во все горло, хватаюсь руками за что попало. Что-то схватил, железное, гладкое. Держусь изо всех сил. Пытаюсь вспомнить: не было же на карте, черт возьми, никакой переправы. Какую же реку мы форсируем?!

— Не кричите, товарищ Поляков, — успокаивает меня чей-то голос. Очнутся. Я цепко держусь за края ванны. Меня поддерживает запылавшийся санитар. Приготовив ванну, он вышел на минутку, а я в это время уснул и... начал тонуть...

Через час я разговаривал из Гомеля по телефону с Москвой. Редакция поздравляет с благополучным выходом из окружения.

— Так и знали, что выйдете!

Я что-то бормочу от волнения.

— Ладно, после все расскажете. Немедленно на самолете в Москву! — приказывают из редакции. Я снова в Москве, — дома...

* * *

«...Моя родина, мой народ ведут великую отечественную войну с гитлеровскими ордями. События проносятся бурей...» Этими словами я начал свой корреспондентский дневник.

Буря событий не утихла. Она попрежнему бушует с ожесточенной силой. Но я ясно ощущаю, что главный удар буря принесет тем, кто ее посеял.

Я в этом глубоко убедился, находясь целый месяц в тылу врага, в его зверином окружении.

Каждый день я видел этих выкормышей Гитлера, вместе с другими истреблял их. Это — не люди. Это — стреляющие, гавкающие автоматы, без души и сердца. Подлые трусы, которых, как крыс, топили отряды Щуки, Кольчева, Доброленского.

Враг, конечно, еще силен, жесток и коварен, но он будет сломлен нашей силой, нашей волей к победе.

В войне с фашистами победить можем только мы — наша родина, наш народ. С этой верой мы будем воевать и дальше.

Бабек

Трагедия

КАРИНА ПЕРВАЯ

IX век. Хижина в горах Азербайджана. Вечер. У очага, подкладывая в огонь сучья, сидит молодой пастух — Бабек. Тихим голосом поет он песню, поглаживая ручного орла — Карагуша. Беззвучно приоткрывается дверь, на пороге девушка Пэрисад. Остановилась... Слушает...

Бабек (поет)

«Победители ночью спят.
Победителей не проймешь.
Побежденные копят ят...
Побежденные точат нож...
Так бывало из века в век:
Побежденный велик человек!
То, что было множество раз,
Повториться может сейчас».

(Орел издаст карговую трель тревоги.
Бабек оглядывается — видит Пэрисад.)

Пэрисад (лукаво)

А что это пел ты?

Бабек (упрямо)

На пел я ее.

Пэрисад

Пел. В этой песенке — сердце мое.

Бабек

Тсс... Ты что? Не знаешь? Дитя?
Ведь эта песня запрещена!
Арабы совсем не дадут житья
Тому, кто петь бы ее посмел...
Нет — я совсем другую пел:
Про ледяную шурпу я пел.

Пэрисад

Ах, Бабек... Зачем говоришь?
Взгляни на меня: ты с кем говоришь?

Я ведь не шейх и не мулла.
Разве я выдать тебя могла?

Бабек

Прости меня, милая Пэрисад.
Сама понимаешь, в неволе мы.
Душа у людей не розовый сад.
Разве поймешь, где друг, где враг?
Азербайджан теперь, как овраг,
Арабистан — что гора теперь.
Трудная очень пора теперь.
Нытью кого ни встретишь — зверь!
Каждое слово твое стерегут...
Всего и друзей у меня, что мать.
Да этот мой прирученный бургут¹.

Пэрисад

Очень плохо ты это сказал!
А как же тогда Джавидан-аксакал?
Не он ли нас подымает к борьбе?
Когда он летит на своей арбе —
Всюду арабы бегут пред ним.
Его вороное с белым джубэ,
Как чернорыбый бургут над ним.
Разве я не права? Говори!

Бабек (нежно)

Ты очень права, золотая Пэри!
Слово твое я пью, как ручей.
Тайну одну я тебе скажу:
Нет для меня мечты горячей.
Чем Джавидава арапником быть,
Родину от арабов отбить...
Это — в сердце! Это — в мозгу!
Дышать без этого не могу!
Но только пока об этом забудь:
Говори о другом — другом мне будь.

(Молчанье.)

¹ Бургут — беркут.

Пэрисад

А где же мама твоя? Я к ней.

Бабек

Сядь, посидь. Скоро придет.
Зажжем можжевелник. Подбросим пней.
Дорогим гостем будешь у нас.
Молодость не забудешь у нас:
Час посидишь. Уйдешь через час.

Пэрисад

Ой, шет!

Бабек

Почему же? Разве я зол?

Пэрисад

Шугает меня твой страшный орел.

Бабек (смеясь)

Э, душа... Не бойся его:
Тебе он не сделает ничего.
Как только песня домычнется твоя —
Флейгой картавит птица моя.

Пэрисад

Нет. Бабек... Берет меня страх:
Рано теперь темнеет в горах.

Бабек

Э, душа... Темнота — не змей.
Ну, я провожу тебя с песней моей.
Да вот и звезда на небе заглялась...

Пэрисад

Ах, Бабек... Я боюсь твоих глаз...

Бабек

О, Пэрисад! Сладка твоя дрожь!
Моей лихорадкой тебя помогу...
Мать моя подарила мне грош.
Что на него я купить могу?
Купишь финик — в нем палочка есть;
Купишь персик — в нем косточка есть;
Белые семечки — шелуха...
Жаль его вынуть из кошелька.
Но вдруг мне подумалось: «Не горюй!
Отдашь его девочке за поцелуй...»
(Девочка есть такая одна:
Диким перцем пахнет она.)
Тот поцелуй при вечернем огне
(Да будет свидетелем Дух Костра)
Поделим, Пэри, с тобой паравие:
Половинка тебе — половинка мне.

Пэрисад

Ой, шет...

Бабек

Души ты моей бирюза...

Пэрисад

Нельзя, я сказала!

Бабек

Пэри!

Пэрисад

Идут!!

(Входит мать Бабек, старуха Баромид,
неся вязанку можжевелника.)

Баромид

Кто здесь? А! Это ты, Пэрисад?
Хорошо сделала, что пришла.
Иди, сынок, накорми осла.

Бабек

Плу.

Пэрисад

Я, ханум, вот тут пришла
Тот казан, что брала у вас.

Баромид

Э! Благородство орла у вас:
Казан для нас — ненужная вещь.
Было бы пузюло — дала бы весть.

(Бабек у.)

Чего ж ты стоишь?

Бабек

Мешок приагручу.

Баромид

Постой! Возьми с собою кувшин.
Осла накормишь — пойдешь к ручью.
Только, сынок, не разбей, смотри:
За направленьем зыбей смотри,
А то заглядишься... Раскроешь пасть...
Я тебя знаю, проклятый дживи!
Только и думаешь, как бы упасть!
Как ты смеешь разбить кувшин?
Зря позылаю к ручью тебя...
Дай-ка я проучу тебя!

(Бабек привычно нагибается — Баромид сте-
ганаула его плетью.)

Пэрисад

Зачем же вы бьете его, ханум?

Баромид

А что?

Пэрисад

Ведь кувшин еще не разбил!

Баромид

Так рассуждает мой глупый ум:
Когда он успеет кувшин разбить,
Тогда его уже поздно бить.

(Бабек уходит. Старуха дергает за веревку
и щеколда на двери захлопывается. Тишина.
Баромид и Пэрисад разжигают очаг. Вдруг
сильный стук в дверь.)

Г о л о с
Откройте!
Б а р о м и д
Кто там?
Г о л о с 2-й
Откройте, эй!
Б а р о м и д
А кто там?
Г о л о с 3-й
Открой!
Б а р о м и д
Не кричи на меня!
П э р и с а д
Должно быть, несчастье у этих
людей...

Б а р о м и д (ворча)
Несчастье, несчастье... А я сама
Счастливая, что ли? Одна сума.

(Открывает дверь.)

Ну, что там такое случилось?

(Входит Муса, за ним Джамшид.
Боайт и Могол вносят умирающего
Джавидана. С лицом, покрытым волося-
ным нагабом, вошла Шахсултан.)

М у с а

Беда!

Д ж а м ш и д

Он умирает.

М о г о л

Скорей, скорей...

Б о а й т (властно)

Воды!

Б а р о м и д

Тыше-тыше... Будет вода...

П э р и с а д (вглядываясь в лицо
умирающего)

Послушайте: это л герой Джавидан.

Ш а х с у л т а н

Да, милая девочка.

П э р и с а д

Горе мне!

Ш а х с у л т а н

Ты знала о нем? Но где же вода?

П э р и с а д

Он равен?

Ш а х с у л т а н

Да-да...

Б а р о м и д
А вот и Бабек.
Давай скорее воду, Бабек.
(Шахсултан оглянулась на вошедшего... Она
потрясена обаятельной мужественностью его
облика и доверчивым выражением глаз. Не
обратив на нее внимания, Бабек подходит
к Пэрисад.)

Ш а х с у л т а н

Это ваш сын?

Б а р о м и д

Ну, яско — не дочь.

Ш а х с у л т а н

Бабек его имя?

Б а р о м и д (ворчливо)

Бабек, Бабек....

Дверь закрой! На улице дождь!

Бабек (тихо)

Слушай, Пэри... Не знаешь ли ты?

У нашей хижинки — кони, щиты...

Чего им нужно от нищеты?

П э р и с а д

Ах, Бабек. Умирает вождь.

Б а б е к

Как умирает?

П э р и с а д

Он ранен... В грудь...

Б а р о м и д

Закрой же дверь, я сказала. Дождь!

Ноги мои пожалей, шайтан!

Б а б е к (закрывая дверь)

Он умирает? Он? Джавидан?

Ш а х с у л т а н (становясь на колени перед
умирающим)

О, Дух Огня — огради его!

Вьнь эту боль из груди его...

Вьрни дыхание из меня,

Вдохни в него снова душу огня.

Б а б е к (к Шахсултан)

Кто ты ему такая? Жена?

Ш а х с у л т а н

Нет. Мы одним отцом рождены,

Но Джавидан — от главной жены.

Б а б е к

Все равно. Ты плакать должна,

Если слезы твои не снег.

Ш а х с у л т а н

Плакать? Но слезы мол, как и смех,

Здесь неприличны. Уж если бесц

В славной битве находит конец,
Рыданье на проб немилу ему.
Орлиный зоб — могилу ему.
В мире войны — нет выше отца.

Ба б е к

Не знаю... Но я... Я столько мечтал
У этого самого очага
Азербайджану ратником быть,
А Джавидану соратником быть,
Просто джигитом быть у него,
Даже убитым быть за него —
Ему отдать свое существо...

Ша х су л та н (спокойно, как о чем-то
очень простом)

Отдай его мне.

Ба б е к

Но ты ведь не он.

Ша х су л та н

Но, может быть, он это то же, что я?!

(Бабек смотрит на шею изумленно.)

Ш э р и с а д

Он умирает!

Ба ро м и д (качая головой)

Последний стон...

Ба б е к

Он умер!!

(Все бросаются к трупу.)

Ша х су л та н

Начальников всех знамен
Сейчас же, Муса, привести ко мне.

Му с а

Все уже здесь.

Ша х су л та н

Так пусть войдут.

(Хижина наполняется воинами.)

Му с а

Стоящие в боевой броне
Взвесьте мечи и станьте вот тут.

(Воины становятся караулом у тела вождя.)

Ша х су л та н

Воины! С новой бедою вас!
Камень в лобатмана мой
Три четверти весит сейчас.
Очень малая сила я...
Руку свою закусила я!
Вот перед вами — труп вождя!

Во и ны

— Горь нам!
— Беда!

— Черный год!

— Я видел: его поразила бранца...
— Что делать будет Азербайджан?
— Его не забудет Азербайджан!
— Сироты мы!

— Черный год набежал.

(Бабек достаёт дудочку и играет похоронную песню. Парсад рыдает. Слышны вздохи и шопот мужчин. Шахсултан стоит, не сводя взора с Бабека.)

Му с а

Однако, войны, шлем Войны
Еще не повешен нами на гвоздь.
Вождя, друзья, мы выбрать должны.
И должен быть этот новый вождь
Водрей орла в молодой орле,
Мудрей, чем мулла в седой бороде.
Кто ж человек этот? Кто он и где?

Го л о с

Му с а!

Му с а

О нет: я болезнью объят,
Сила моя от меня бежит.

Го л о с

Бо а й т?

Му с а

Но очень силен Бо а й т.

Го л о с

Джа м ш и д?

Му с а

Но очень смышлен Джа м ш и д.

Го л о с

Мо г о л?

Му с а

С ветерком жена у него:
Взглянь, пожалуй, должна на него.
Что ж? неужели нет никого?

(Молчание.)

Ша х су л та н

Воины! Наш великий герой,
Свой дух испукая на этих руках,
Поставил всякзем над этой горой,
Над замком Аль-Бадд, над войском его,
Со всем добром по повозкам его —
Меня!

Бо а й т

Ого...

Джа м ш и д

Те-бя?

Ша х су л та н
Меня!

Муса

Ну, что ж... Конечно... Оли рогня...
Хоть и малекый, а все-таки брат —
Одна кошма... Олин дымок...
Он мог завещать ей замок Аль-Бадд.
Но вот... войска завещать ей не мог.

Шахсултан

Вот как? По разво из слабых я?
Свинчатка-биток среди бабэк я!
С детства с мальчижами росла.
Как у мужчины — моя стрела!
Чем вас пугает моя коса?

Муса

Тем, что девушка ты, краса.
Как волна, чту я, мой друг, тебя,
Но очень боюсь, что будут, ханум,
Собачьи свадьбы вокруг тебя.

Шахсултан

Но он завещал мне мужа, Муса.

Воины

— Мужа?
— Слышали?
— По кого?

Шахсултан

Великий вождь, указав на того,
Сказал: «Супругой при этом быть!»

(Она указала на Бабека. Бабек вздрогнул...
Все ошеломлены.)

Джамшид

Как нам с таким заветом быть?
Откуда же вождь его знал?

Боайт

Стой!

Не верю я этому!

Баромид (срываясь)

Ах ты, джин!
Башка твоя пусть станет седой!
Чурек ты простой! Орех ты пустой!
Не верит он, а? Не верит! Кому?
Мертвому! Мертвому самому!

Голоса

— Однако же мы не знаем его!
— Кто он такой?
— Где его родство?
— Муж — это меч, жена — ножики;
Муж всегда важнее женьки;
Он будет властвовать надо всем —
Но кто он такой?
— Мальчик совсем!

Баромид (мягко)

Воины! Свет вы моей души!
Помните? В сказках наших быта

Птица власти — «Девлет куши».

Бабушки вам говорили о ней...

Если где искали царей,

Птицу ту выпускали скорей.

Что было, то и случится, друзья!

Вот эта самая птица, друзья!

(Указывает на Шахсултана.)

Верно, ханум?

Бабек

Пустой, апа-джан.

Баромид (тихо)

Молчи...

Бабек

Апа-джан... Чайка моя!

Баромид

Шуш! А где тут нагайка моя?

Вот я тебя сейчас проучу...

Бабек

Уйди, апа-джан...

Баромид

Замолчи!

Бабек

Уйди!

Воины! Горечь в моей груди...

Слова не вымолвил Джаведан.

Врет моя мать. И эта врет.

Слова не вымолвил Джавидан.

Мне и вожденье не по плечу.

Кто я такой? Всего пастух.

Слова не вымолвил Джавидан:

Молча горел. Молча потух.

А ты, апа-джан, хозяйка моя:

Вон висит нагайка твоя!

Бей меня и убей меня —

Сгибну с вами обоими я.

Баромид (бросаясь к нему)

Мальчик ты мой! Маленький мой!

Пусть белый свет мне станет тюрьмой...

Очень слова твои хороши.

Похорошела я с этих пор.

Питочку выдерну из души —

Эти твои слова завяжу.

Песнею соловья затвержу.

Ах, Муса, ты не можешь понять:

Мать черна, но счастлива мать,

Что ее сын — это белый снег!

Муса

Эй, джигиты! Сказать ли за всех?

Голоса

Скажи, Муса! Ты умнее всего!

Муса

Что в горах зеленее всего?

Г о л о с а
— Трaвa?
— Кaрaгaч?
— Зoлoтaя фудa?

М у с а
Нет! Зелeнeе вceгo вoдa:
Гдe вoдa прoбeжaлa, тaм
Зeлeнь вьлeтeт жaлo тaм.

Г о л о с а
— Вeргo, Мусa!
— Спaсибo тeбe.

М у с а
А чтo нужнee вceгo в бoрбe?

Г о л о с а
— Хлeб!
— Кoпeй!
— Сeрeбрo пaлaшa!

М у с а
Нет. Пужнee вceгo — дyшa.
Гдe дyшa oбнapyжeнa — тaм
Будeт кoпeй и oрyжиe тaм.
Есть ли дyшa y мaльчикa?

Г о л о с а
Есть!

М у с а
Чтo жe eщe дyшe пpeдпoчeсть?

Б o a й т
Пocтoй!

М у с а
А тeпeрь я вoт чтo cкaзaл:
Мнoгo нaрoдa живeт в пoлeх,
Мнoгo нaрoдa живeт cрeди cкaл;
В этoм нaрoдe нeмaлo тaких,
Ктo мoг бы вoзглaвить джигитoв

лихих,
Тoлькo... cлyчaя нeт y них.
У этoгo мaльчикa cлyчaй eсть.
Нo — eсли ктo и пoлучишe eсть,
Пycть дoкaжeт cилy cвoю,
Пoбeдивши eгo в бoю.

Г о л о с а
— Вeрнo, Мусa!
— Иcтиннo, дpyг!

М у с а
Эй, джигиты! Сдeлaйтe кpyг!
Пoглянeм, кaкoй oн в бoрбe.
Ну, выбиpай cилaчa пo ceбe.

Б a б e к
Ктo эти люди?

М у с а
Вce из двoрцa.

Б a б e к
Aзeрбaйджaнцы?

М у с а
А ктo жe eщe?

(Мoлчaниe.)

Б a б e к (тиxo)
Нет cрeди них для мeня бoрцa.

Г о л о с а
— Ишь ты, кaкoй!
— Скaжитe, кaкoй!
— Мoжeт быть, вceх нac лeвoй рyкoй
Вoзмeчтaл пoрaзить Бaбeк?

(Смeх.)

Б a б e к
Вoт чтo! Я шe шyт и нe бeк.
Гдe ужe мнe бoрoтьcя yмeть?
Я чaбaн. Пpocтoй чaбaн.
Вcтpeтилcя мнe нa дoрoгe мeдвeдь —
Рaзвe я cпpaшивaл, ктo кoгo?
В пpoпacть мaхнyл я гpyбo eгo!
(Вoт нa мнe eщe зyбы eгo.)
Вcтpeтилcя бeркyт мнe y пнeздa —
Рaзвe я cпpaшивaл: ктo кoгo?
Мoя рacпpaвa былa пpocтa:
Oбил я удaрoм лoктя eгo!
(Вoт нa мнe eщe кoгти eгo.)
Нет... Бoрoтьcя я шe yчeн:
Cмepтoyбийcтвeнныe кocти мoи.
Нo рaзвe мoгy нaнecти yрoн
Вaм, дoрoгoмe гocти мoи,
Eсли ты или тoт, или oн
Нужны cтpaпe мoeй для вoйны?
Итaк, хoть нeт зa мнoю винь,
Хoть, мoжeт, в бoю мь в бyдeм рaвны —
Cчитaй, Мyca, чтo я пoбeждeн:
Нe трoнy джигитa мoeй cтpaны.

(Клaнeтcя им дo зeмли и yxoдит из кpyгa.
Джигиты пepeглядывaютcя. Бaбeк нpaвится
им вce бoльшe и бoльшe.)

М у с а (мeгкo yлыбaяcь)
Ну? Кaкoй бyдeт нaш oтвeт?
Cчитaть ли eгo пoбeждeнным?

Г о л о с а
Нет!

Ш a х с у л т a н
К тoмy ж гoвoрят пpo eгo дeлa
Зyбы мeдвeдя и кoгти oрлa.

М у с а
Вeрнo, хaнyм. Нo дyшa и мoщь
Этo eщe нe вce для вoждя.
Нaхoдчивoстью oтличaeтcя вoждь!
Вoжди видaли и чepныe дни,
Нo — дyxoм бaрeсы, yмeли oни

Лисицею выползти из западни.
Так пусть же покажет сметку свою
Тот, кто мощь показал в бою.

Г о л о с а

— Верно, Муса!

— Истинно, друг!

М у с а

Вот я загадку вам задаю:
Пусть одного из наших волчат
Арабы в башне своей заточат.
Хватился веревки — веревки нет.
Как ему выйти на белый свет?

(Молчание.)

Д ж а м ш и д

А если прыгнуть, Муса?

М у с а

Ты глуп.

Д ж а м ш и д

Убьюсь? Но я все-таки вышел, Муса!

М у с а

Да, но кому пужен твой труш?

(Молчание.)

Б а б е к

Я скажу.

М у с а

Говори, краса.

Б а б е к

Слышите голос мой молодой?
Девушки утром пойдут за водой,
Песня моя слетит горячо,
Сядет какой-нибудь на плечо,
Скажет ей: «Дорогая моя!
Ты отыщи мне, кыз, муравья...
Паутинку к нему привяжи
Волос косы твоей, коли добра;
Шелковинку к тому подвяжи
Голос-басок, если есть добра;
Только тогда, дорогая моя,
Ты и пусти по стене муравья.
Муравей по стене ползет —
Паутинка волос везет,
Волос — шелковиспую нить,
Нитка — тоненькую струну,
Струнка же может соединить
С длинной веревкою.

Д ж а м ш и д

Ну?

Б а б е к

Ну-ну.

М у с а (усмехаясь)

Друг! Ты читаешь в самой судьбе.
Но как же проведят твои глаза,
Что муравей поползет к тебе?

Б а б е к

Но это же очень просто, Муса!
Медом, что в этой тыжке течет,
Смажу я пальцы ладони моей.
Тот муравей почувствует мед —
В руку придет ко мне тот муравей.

Д ж а м ш и д (восхищенно)

Да это ж мудрец.

М о г о л

Он разумней музлы!

Б о а й т

А можешь ли снискать халат из скалы?

Б а б е к

Можно. Задача твоя не тяжка:
Песчаные плитки лишь дай для стежка.

Б о а й т

Но из песка ведь ниток не вяют!

Б а б е к

А разве из скал халаты шьют?

(Смех.)

Г о л о с а

— Ай да Бабек!

— Истинно, друг!

— Выпей вина из воинских чаш!

М у с а

Пусть же он будет водителем наш...
И по обычаю — твой сузруг.
Хоть ты соврала, Шахсултан-бала¹,
Спасибо тебе! Хорошо соврала.

(Пэрисад с легким криком убегает. Шах-султан подходит к Бабеку и, отведя его в сторону, обнажает лицо свое.)

Ш а х с у л т а н

Юный Бабек мой! Моя любовь!
Нравится ли тебе моя бровь?
Песцы Арана воспели ее,
Сравнивая с пиявкой, Бабек.
Нравится ли дыханье мое,
Свежее, как дуновение реки?
А как ты нашел мановенье руки?
Однако здесь душно. Пойдем на
крыльцо.

Да: а перед кем из твоих друзей
Могу обнажать я свое лицо?
Ну, перед кем? Назови имена!

Б а б е к (угрюмо)

Перед кем захочешь... Кроме меня...

¹ Бала — дитя.

КАРТИНА ВТОРАЯ

Крепость Аль-Бадд. Площадь перед дворцом, украшенная зеркалами, коврами, знаменами и заполненная народом. На крыльце — Шахсултан. Рядом — Бабек, Муса и Баромид.

Шахсултан

Люди собрания! Вот Бабек.
Совсем молодой он. Но знает жизнь!
Видел он Майтюба и Казбек,
Сам Гиндукуш увидал его,
Но дым этих крыш — это дым его!
Хотите такого?

(Молчание.)

Старик (вежливо)

Хотим его,
Но что нам Казбек? Что Майтюба?
Пусть расскажет нам о себе.

Бабек (тихо)

Я знаю, люди, что многим седым
Ближе близкого этот дым.
Меня он окутал с первого дня.
Верно про это сказала ханум.
Но есть у нас и повыше родня.

Муса

Эй, киши! Ты что говоришь?
Что может быть выше, чем дым этих
крыш?

Бабек

Выше то, что сверху, Муса!
Вот оно.

Муса

Что это?

Бабек (подымая на плечо орла)

Беркут, Муса.

Сидя дома у дыма куги,
Видел я в небе его круги;
Кизяком разжигая очаг,
Думал я о его очах...
В перьях его я вижу дранит.
В дыбах плеч — чертанья скакал!
Весь его облик угрюмо хранит
Душу озер и тайну скал.
Буревое крыш — это что? Лаваш...
Это — жареный баклажан...
Буря крыл этих — воздух наш!
Скалы и тучи — Азербайджан!
Видели вы, когда в зорях он
Волка гонит перед собой?
Как наша родина, зорек он!
Как наш джигит, палетает в бой!

(В толпе волнение.)

Эй, старики! Вы берите дым —
Беркут же нужен нам, молодым!

Муса (умиленно)

Верно, краса.

Народ

— Молодец!

— Охек!

Шахсултан

Люди собрания! Это Бабек!
Хотите такого?

Народ

Хотим, хотим!

Бабек (вдохновенно)

Покрасьте же хвост моего коня
Красною хоросамскою хной!
Пусть, на веселых копытах звеня,
Вьются розовые венцы,
Вьются бронзовые бубенцы...
Пусть вокруг меня и за мной
Перекликаются жеребцы!
Отныне время откроется вам
Не по заре и пеннои птиц,
Не по арабским песочным часам,
А по моей трубе боевой.
По тяжкой, скажу я, тропе боевой
Будем путь прокладывать свой.
Еще скажу я. Женщина пусть
Снимет волосной пеллб:
С открытым лицом мы идем в свой путь.

(Снимает с лица Шахсултана покрывало.
В толпе недоумение.)

И еще скажу: мужчина пускай
В бутылке не вилит джина пускай!
Пусть каждый, где хочет, ищет свой рай.

(В толпе пуд одобрения, смех, восторженные
восхищения.)

Так. А теперь, чтобы в замке Аль-Бадд
Меж населения дружба была —
Пусть, когда трубы мои тропрубят,
Люди сюда свое горе несут.
Незамедлительно. Вскоре несут.
Здесь мы будем вершить свой суд.

(Трубы трубят.)

Муса

Итак, подходите!

(К крыльцу подходят Бойт и старуха
Сакина.)

Бойт

О, Шахсултан!
Очень великий ум тебе дан.
Вот старуха. Пряха она.
Юридоочная неряха она!

Шерсть я ей дал (соткать ковер),
И вдруг, поймаешь, залез к ней вор.
Шерсти, конечно, пропал и след.
Должна она мне вернуть или нет?

Ш а х с у л т а н

Должна, конечно.

С а к и н а

Конечно, должна.

Но как верну? Я на свете одна.
Не каждый день пожую я чурек.
Как я верну ему, джан-Бабек?

Б а б е к

Как же вернет она, а?

Б о а й т

Пу да:

В том-то и дело, что никогда.
Пускай, однако, за это тут
С нее хотя бы погги сорвут.

Б а р о м и д

Погги? У старой? Ах ты, змея!

Ш а х с у л т а н

Дело ясное для меня.
Что об этом закон говорит?
«Взятое — выдаче подлежит».
Поэтому, как нам ни жалко, но...
Придется, старуха, отдать руно.

Т о л п а

— А где ж ей достать?

— Руно не вода!

— Она не достанет его никогда!
Это совсем не то, что трава!

Б а б е к

Тшш... Шахсултан, конечно, права!
Так же учила меня моя мать:
Раз ты взял, то должен отдать.

(К Б о а й т у.)

Шерсть она тебе, друг, вернет,
Только, конечно, не вдруг вернет.

Б о а й т

Неважно когда, а важно шерсть.

Б а б е к

Есть ли, хатун, у вас хижина?

С а к и н а

Есть.

Б а б е к

Так вот. Обнесите этот свой дом
Самым простым колючим кустом.
Мимо, возможно, стада пройдут,
Бока об колючки всегда обернут,
А вы этот пух собирайте, хатун,
Но уж теперь запирайте, хатун.

Б о а й т

Но это же будет через года!!

Б а б е к

Важно шерсть — неважно когда.

(Хохот. Народ приветствует Бабека.)

Б а б е к (тихо старухе)

Хатун! Не знаешь ли, где Перисал?

С а к и н а

Не знаю такой.

Б а б е к

Закутана в шаль...

А?

С а к и н а

Не знаю.

Б а б е к

Бурнус полосат...

На пожке обруч...

С а к и н а

Не знаю.

Б а б е к (вздыхнув)

Жаль.

М у с а

Дальше кто?

(Могол тащит к крыльцу караванщика, кото-
рый, однако, и не думает упираться. За ним
идет А й ш а, жена Могола.)

М о г о л

О, мудрый Бабек.

Да будет счастлив твой род вовек.

Ш а х с у л т а н

Ты что, Могол? Ты где? На луне?

М о г о л

А что?

Ш а х с у л т а н

Обращаться надо ко мне!

М о г о л

О, лунолика! Шахсултан!
Очень великий ум тебе дан...
Была одна женка. Муж один был.
Одну эту женку один муж любил.
И вот из-за моря он ей прислал
Один драгоценный камень — лал,
Прислал я камень через него,
И он говорит, что отдал его...

А й ш а

Не отдавал он!

К а р а в а н щ и к

Ты врешь, Айша!

А й ш а

Молчи! Змея у тебя в душе!

Могол

Вот караванщик мой. Вот жена.
Кто ж виноват? Неужели она?

(Толпа зашумела.)

Шахсултан

Скажи, караванщик: ты помнишь вполне,
Что отдал камень его жене?

Караванщик

Клянусь Себелан-горою, ханум.

Шахсултан

Свидетели есть?

Караванщик

Целых трое, ханум.

Шахсултан

Но где же они?

Караванщик

Свидетели, эй!

(Из толпы выступают трое мужчин.)

Шахсултан

Вы были при том, когда этот ей
Отдал камень Могола?

Первый

Ну да.

Второй

А как же!

Третий

Конечно! Как раз тогда
Мы шли втроем в караван-сарай,
И я сказал: «Айшэ, не теряй!»

Айшэ

Врешь ты все!

Третий

По-по-по...

Айшэ

Это ложь!

Не было их! Ты, ханум, разберешь!
Ты не допустишь...

Могол

Ханум, рассуди.

Боль, как яд, у меня в груди...
Жаль мне камня, а женки сильнеей:
Очень хочу я поверить ей.

Шахсултан

Бедный Могол мой... Бедняжка Айшэ...
Мне и самой это тяжело, Айшэ.
Но как в твою пользу дело повесть,
Когда у него свидетели есть?
Ведь как-никак, а суд — это суд.
Сам Соломон растерялся бы тут.

(Толпа застыла.)

Бабек

Ханум! Я, конечно, не Соломон...

Толпа

— Охек, Бабек!

— Пусть рассудит он!

— Он блещет душой, как большой алмаз...
— Суди!

Айшэ (плача)

Бабек, заступись за нас...

Бабек

Вот что. Уши зажмите им!
Поговорю сначала с одним.

(Толпа бросается к свидетелям и закрывает им уши, за исключением первого, который стоит перед Бабеком.)

Бабек

Ты этот камень видал?

Первый

Видал.

Бабек

Какой же цвет имел этот лал?

Первый

Синий.

Бабек

Синий. Так. А размер?

Первый

Не помню.

Бабек

А все-таки? Например!
Такой? Или, может, такой?

Первый (неуверенно)

Такой.

Бабек

Хо-ро-шо. Подходи другой.

(Второй свидетель подходит к Бабеку.)

Бабек

Какой расцветки тот камень был?

Второй

Желтой.

Бабек

Желтой?

Второй

Как пламень был.

Бабек

Ну, а размер?

Второй

Да с пол-огурца.

Бабек

Давайте третьего молодца!

(Третий свидетель становится перед Бабеком.)

Бабек

Какой этот камень цвет имел?

Третий (бойко)

Черный.

Бабек

А может быть, белый?

Третий (обрадованно)

Как мел!

Белый, как сама белизна!

(Смех.)

Правда, я был тогда со сна...

(Хохот.)

Бабек

Ну, а размер?

Третий

С кулак!

Бабек (изумленно)

С кулак?

Третий

С детский, понятно.

Бабек

Ага. Ну, так.

Могол! Какой же он был, этот лал?

Могол

Лал этот был, как зарево, ал.

Размер же с бусинку — как четки-тезбек.

Бабек (тройке)

Слышали?

Первый

Прости нас, великий Бабек!

Второй

Прости нас, Бабек!

Третий

Бабек, прости...

(Шадают перед ним на колени.)

Бабек

Под арабские выставить их пращи!

Толпа

— Вот это судья.

— Вот он — человек!

— Как его имя? Бабек?

— Бабек.

— Юн, а какая сила в душе.

— А Шахсултан осудила уже...

— А что ей бедность? Ее родня
От спеси уже не слезает с коня.

Муса

Дальше кто?

(К крыльцу подходят торговец плащам и юноша-воин, покрытый забралом.)

Купец

О, Шахсултан,

Очень великий ум кому дан!

Я купец. Состоит мой товар

Из всяких чананов, джубэ, шаровар.

Понятно каждому: деньги есть,

Можешь любой товар приобрести.

Денег нет — проходи, не стой.

А этот вот юнец холостой

Подходит себе, выбирает джубэ

И, не заплативши, уходит себе.

Шахсултан

А ты что скажешь?

Юноша

О, Шахсултан!

Вчера я попал на арабский стан,

По стрелы их до того горячи,

Что я остался без епанчи.

Купец

А мне что за дело? Вот глупец!

Юноша

Но я же тебя защищаю, купец.

Купец

Врешь ты! Ваш разбойничий стан

Не нас защищает, а крестьян!

Юноша

Крестьяне — первые в нашей борьбе.

Купец

Джубэ отдавай! Отдавай джубэ!

Бабек

Юноша. Голос твой молодой

Напоминает мне золотой.

А золотой бы напомнил блеск

Жарких кос одной Парисад,

Этот солнечный арабеск,

Это солнечное лптье,

Да будут на мне все печали ее...

Встать: вы не встречали ее?

Купец и юноша

Нет.

Бабек (юноше)

Но запах одежды твэей

Диккий перец напомнил мне,

А это совсем аромат кудрей

Белной девушки Парисад.

Мелный облик ее и взгляд

В твоих очах отражен, кини.
Не милый ли ты ее, а? Скажи!

Юноша

Нет... О, нет!

Бабек

А скажи мне, джигит:
Зачем боевым забралом покрыт?
Зачем скрываешь свой лунный лик
Передо мной, оскорбляя меня?
Разве, если б ты был велик,
И я бы в забрале вошел на крыльцо?

Юноша

Арабы забрали меня в кольцо
И огненной паклей сожгли лицо.

Бабек

Ага. А скажи мне, юный джигит:
Как твое имя в подлунной звучит?

Юноша

Имя мое «Карабарс».

Бабек

Пусть так.
Но это прозвище. А в роду?

Юноша

Род мой, Бабек, это так... Пустяк...
Не осветит он моей головы,
А имя мое не придаст молвы
Тому, что известно о нем, увы.

Купец

Ханум! Я спешу! Присуди мне джубэ!
Сколько раз говорил тебе?

Баромид

Но он же тебя защищает, купец!

Купец

Не нужно мне этой защиты, ханум!
Лмею я право хотеть, наконец,
Чтобы меня защищали те,
Кто думает о моей полноте?

Шахсултан

Ты прав, купец. И джубэ твое.
Не думаем о полноте мы твоей.

(Карабарсу.)

Отдай джубэ.

Бабек

Но возьми мое!

Опо в рубцах. Чернопего от ран.
И хоть не пахнет так, как джебран,—
В нем запаха трав отдаленных стран.
Возьми!

Юноша

О. Бабек! Ни холод, ни жар
Не страшны мне. Я джигит коренной.
Но я потому приму этот дар,
Чтоб твой аромат был всегда со мной.

(Бабек торжественно снимает с себя джубэ
и надевает его на конюшу, который так же
торжественно возвращает джубэ купцу.
Вдруг из переулка выбегают мальчишки,
женщины, старики.)

Крики

— Арабы идут!

— Арабы идут!

— Бегите!

— Арабы!

— Вавейла!

— Они под стенами!

— Кончайте суд!

— Они на зубцах!

— Нет, выше они!

На самой высокой крыше они!

— Как мыши, они... Как мыши, они...

Муса

Зачем шумите? Проказа на вас!
Никто не пойдет без приказа на вас.
А если бы был такой приказ,
Лазутчик давно бы уведомил нас.
Арабы шумят? Но шум — это дым.
А дым — это, жители, только тень.
Дыбя тень поворотом крутым,
Не перескочишь через плетень,
Ибо торчит палисадник еще.
Дыбящий тень — не всадник еще:
В пустоте его дымчатый бег...

Крики

— Довольно, Муса!

— Пусть скажет Бабек!

— Бабек! Скажи хоть слово друзьям...

— Заставьте речь его говорить!

Бабек

Много нечего говорить.
Каждый все понимает сам:
Время сраженью и бою час —
Азербайджан призывает нас!
Эй, джигиты!

Воицы

Э-гей!

Бабек

Коня!

(Ему подводят коня. Он вскакивает в седло.)

Бабек (матери)

Апа-джан! Обними меня...

Баромид

Мальчик мой! Я тоже с тобой!

Бабек

Мама! Это не кухня — бой.
Чем ты поможешь бою кинеть?

Баромид
Мальчик... Я буду громко петь.

Бабек
Ой, моя маленькая... Моя мать...
Жертвой мне за тебя бы стать.
Эй! Повести ханум на арбе.
Где джубэ?

(Озирается — видит купца. Смаху срывает с него только что возвращенное по суду джубэ и набрасывает на мать.)

Налевай джубэ!
Мать и сын плут на врага...
Джигиты, за мной! Уррага!

Воины
Уррага!

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Горный пейзаж над долиной в окрестностях Дарваза. Утесы, обрывы, пропасти. Над ущельем — огромный рыжий валун в желваковых подтеках. На нем тонкая, как струйка дыма, чинара. Через лужайку пробегает разбитый отряд арабской пехоты. За ним «на плечах» бабекиты. Последние судорожные стычки. Арабский военачальник в скромной походной одежде пытается скатиться в низину. В ту же минуту врываются Бабек, Джамшид, Могол, Муса, Сулейман и Шахсултан. Араб пырлет в расщелину валуна.

Бабек
Джамшид! Гони из-за берега.
Как беркут, пасевший на бирюка.
Оглядываться не давай, Джамшид!

Джамшид
Джигиты, за мной — уррага!

Воины
Уррага!!
(Исчезают.)

Бабек (увидя плащ араба, торчащий из каменной щели)
Эге... А это что за джигит?

Воины
— Араб?
— Араб!
Эй, ты! Оробел?
— Смотри: на глазах становится бел!

Муса
Совсем притупился коготь его.

Могол
А ну, выходи!

Бабек
Не трогать его!

Могол
Да он, наверно, к штанам прилип.
(Смех.)

Бабек
Ах, какой ты грубиян, Могол.
Цып-цып, уважаемый... Цып-цып-цып...
(Поддевает его саблей.)

Видишь, Могол? Так-так... Вот-вот...
На ласку даже цыпленок идет.

(Араб степенно вылезает из щели.)

Бабек (резко)
Саблю!

(Араб вытаскивает из ножен клинок и кладет перед Бабеком.)

Пня?
(Араб молчит.)
Ну? Говори!
(Молчание.)

В пропасть его!

Араб
Бухари, Бухари...

Бабек
Сап?

Араб
Начальник сотни.

Бабек
Ах, так?

Но если неправду ты говоришь,
То правду скажет этот тесак.

(Разглядывает саблю.)

Какая вода! Какое литье!
Не наших узоров это витье.
И нет у нас ковачей таких,
Чтоб лить струю из металлов тугих.
Значит, ты не отбил ее!
Значит, кюши — твоя эта сталь!
Значит, если ты «Бухари»,
То с прибавленьем приставки «Аль».
Значит, ты — шейх.

Араб
О, пет!

Бабек
А тесак —
Вылит в городе Мехрджанкадак!

Араб
Ну, хорошо. Допустим. И что ж?

Б а б е к

А то, что Джангер, ваш сталевар,
Только за то, чтобы выковать нож,
Даже с нищих берет динар.
Сколько же может стоить, киши,
Этот твой полумесяц? Скажи!
Молчишь? Шо-моему, триста!

С у л е й м а н

Алла!

Б а б е к

Значит, не сотне начальник ты,
А думаем мы — начальник крыла!

М у с а (тихо)

По если... если такая он знать,
Значит, можно его обменять!

Б а б е к

Тес... Мне особая мысль пришла...

Л а з у т ч и к (вбегая)

Ханум. Где ханум?

Ш а х с у л т а н

Я здесь.

Л а з у т ч и к

Западня!

Арабы в тыл по ущелью текут.
Они очень скоро появятся тут...

В о и н ы

— Скоро?

— Когда?

— На закате дня?

Л а з у т ч и к

Раньше, раньше!

Ш а х с у л т а н

Могол — вперед!

Перейдешь эту речку вброд,
Войдешь в ущелье — и дашь бой.

М о г о л

Джигиты, айда!

Б а б е к

Не надо! Отбой!

Ш а х с у л т а н (вспыхнув)

Однако, Могол, я сказала — вперед!

М о г о л

Джигиты...

Б а б е к

Могол! Пожалей народ.

Побереги дорогих коней.
Когда орда подойдет под утес,
Лучше гранитом ударить по ней.
Вот этот камешек нам подойдет.
Видите след его? Сам ползет.

М у с а

Постой, Бабек... Ничего не пойму:
Что нам за польза спускаться валун?
В ущельях скачут по-одному.
Не очень многих он перебьет.

А р а б

Верно!

Б а б е к

Неверно! Важен брех:
Если обрушим этот гранит,
Ход из ущелья будет закрыт.

Ш а х с у л т а н

Но я уже слышу конский топ!

М у с а

Мы не успеем!

М о г о л

Они уже здесь!

Б а б е к

Эй, Сулейман! А ну-ка, подкоп!
Живо! Видишь: он еле висит.
Зато у входа в ущелье висит.
Давай, давай... Быстрее, джигит!
А мы, Могол... Ты с левой своей
Засядь у пропасти с той стороны.
Как только арабы вернутся, бей!

М у с а

А? Ну, конечно... Могол! Туда!

Ш а х с у л т а н

Это не стоит большого труда.
Верно, Бабек!

Джигиты, айда!

(Убегают.)

С у л е й м а н

Джан, Бабек! Посмотри: роса.
Это уже не земля, а грязь.

Б а б е к (передавая Мусе араба)
Постереги-ка его, Муса.

(Подходит к валуну.)

Земля — как земля. Валун — как валун.
Все идет правильно. Дайте колун.
Пустяк остается. Где их войска?

С у л е й м а н

Подходят, Бабек.

(Бабек вдруг поворачивается к арабу и глядит на него тонко и провозительно, как молдой сокол.)

Б а б е к

Послушай, араб!

Жизнь твоя — это тень волоска.
Нет тебе из-под сабли пути.

Однако ты мог бы своих спасти.
Хочешь, а? Я жду... Говори!
Если ты крикнешь, влизу главаря
Конницу уведут, Бухари.

Араб

Они не услышат.

Бабек

Можно суметь.

Зато какая великая смерть!
Арабы тебя объявят святым!
А?

Шахсултан (тихо)

Зачем издеваться над ним?

Бабек (сй)

Я знаю, что делаю.

Шахсултан

Бабек

Но...

Молчи.

(Арабу.)

Не хочешь? Ну-ну.

(Своим.)

Подводи мечи!

Коняй вот тут. Отличная грязь!
Ну? Где войска?

Сулейман

Шод нами как раз.

Бабек (шопотом)

Ага... Разойдись!

Муса

Шахсултан — сюда!

Бабек

А ну-ка, валун, в атаку айда!!

(Бабек обрубаёт последнюю каменную кочку,
и огромный валун, черкнув по небу тонкой
своей чинарой, окутываясь дымом, грохнул
в пропасть.)

Араб (подходя к Бабеку)

Послушай, Бабек... (Кажется, так?)

Мне все равно, что думаешь ты...

Но только жизнь — для меня пустяк!

Бабек

Зачем же не шел навстречу судьбе?

Араб

Я... я, Бабек, не верил тебе.

Бабек

И я б не верил, а все же рискнул!
Вот какое различье у нас.
Однако я слышу воинственный гул.
Это арабский Дарваз шумит.
Пойдем посмотрим на вас, джигит.

Кетати: возьми себе свой клинок.
Бабек не любитель богатых вещей.
И бы луною рубить не мог:
И под луною любить привык.

(К своим, тихо.)

Могол придет — подайте крик.

(Бабек и араб всходят на скалу.)

Вай, сколько сабель! И склоп... И дол...
Хо — и у всех барабан. Зачем?

Араб

В ветрах поет барабан-доол...

Ну, и врага пугает затем.

Бабек

Зря. Барабан мешает в борьбе.
Много тратите вы на бойца!
Сколько богатства несут на себе:
Седла в фобрах чернобурых у них,
Крупы в барсовых шкурах у них,
Обруя вся в кистях золотых.

Араб

Это — дебыча.

Бабек

— Это — груз!

С таким хозяйством джигит не джигит.
Бедный Афшин... Берет меня грусть:
Ну что с такой конницей он?
Только за смертью гонится он.
А кетати: где тут его шатер?

Араб

Вои!

Бабек

На горе?

Араб

Не совсем.

Бабек

Между гор!

А кони какие! Тце-тце-тце...
Это не то, что наши дубы.
Когда араб на своем жеребце,
С его злыгом и зубами борясь,
Извивается, как струя,
Подымается на дыбы,
Мне всегда кажется — это змея,
На которую принял барс!
Так где, говоришь, Афшина шатер?

Араб

В распадке.

Бабек

Меж гор? А сказал — на горе!
Ну, как с тобою вести разговор?
Каждое слово твое — это ложь!
Всюду съешь ты ее, как нож!

Араб (волнуясь)
Что-ты, Бабек... Я правду сказал...

Бабек
Откуда я знаю?

Араб
Знамя на нем.
Да и рисунки: «лев» и «шакал»...

(Входит Могол.)

Бабек
Могол? Ну, как?

Могол

Все сделано.
Бабек (кладет руку на сердце)
Друг!

Эй, азаматы! В долине Афшин!
Так ли силен, азаматы, наш дух,
Чтобы, ударив араба с крыла,
Даже не дать ему крикнуть: «Алла»?

Воины

— Наш дух силен!
— Джап-Бабек, веди!

Бабек

Но вот какая мне мысль пришла:
Те, кто будут скакать вперед,
Измажьте бурю глиной лицо!
Врагу почудится среди кутерьмы
Отряд, который заперли мы.

Воины (восторженно)

— Охек, Бабек!
— Скорее, скорей...

— Какой молодец!
— Пустите меня!

— Опять араб побелел от скорбей.

— А голову тоже мазать, сосед?

— Зачем ее мазать?

— А если я сед?

(Смех.)

Могол
Веди пас, Бабек, мы готовы!

Бабек

Э, нет.

Нас теперь поведет Бухари!

Араб

Я?!

Бабек

А кто же? Ты знаешь своих,
Знают тебя твои батыри...
Если, джап, ты поскачешь вперед,
Никто ничего уже не разберет.

(Хохот.)

Шахсултан

Бабек...

Муса

Бабек!

Шахсултан

Он обманет, Бабек!

Бабек (тихо)

Я проверял его. Этот араб
Но крови — шейх, а по духу — раб!
(К арабу.)

Итак, родной, повторяй, родной:
Джигиты!

Араб

Джигиты...

Бабек

На линию рек!

Араб

Однако постойте...

Бабек

За мно-ой!

(Толкает его вперед себя.)

Араб (побелевшими губами)

За мной-ой!

(Бабеклы с хохотом устремились за ним,
сверкая клинками.)

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Горный перевал, за которым видна снеговая
вершина — Себелан. На переднем плане палатка
арабского князя Афшина. Афшин и
два его помощника, Аль-Бухари и Джа-
фар, глядят, как в бою с перевала отступа-
ют арабы. Но вот слышна песня старухи —
и на гребень восходит азербайджанцы. Впе-
реди Бабек бьется на саблях с тремя ара-
бами. Поразив двух и обратив третьего в бег-
ство, он видит, что вокруг скатываются и
срываются арабы, влача за собой камни и
дымные клубы праха.

Бабек

Арабы! Остановите бег!
Невинную кровь зачем проливать?

Вот война — и вот я, Бабек.
Хочу я сразиться палаш о палаш
Один на один! Впре-бир! Баша-баш!
Где же ваш вождь? Полководец ваш?

Афшин

Я этот вождь.

Бабек

Выходи тогда!

Сразимся грудь к груди тогда!

Афшин

О, Кара-Тигр! Твой меч горяч.
И я хоть стар, как старый грач,

Но сладко пред твоей орлой
Перекрестился бы с тобой
Моей серебряной гурдой,
Но что нам даст столь близкий бой?
Кто ли был бы из нас убит —
Азербайджанец или араб. —
Отряд ведь этим не разбит,
А раб — везде и всюду раб!
Он будет рад, разверзши пасть,
На победителя напасть.

(В это время к Бабеку подходят Шах-
султан и Баромид.)

Шахсултан

Эге! Он бьется боя вблизи!

Бабек

Ну, хорошо. Доставай стрелу.
Все твои хитрости рыжей лисы,
Наверное, отпадут тогда:
Неверные не нападут тогда —
Далече будет наша орда.

Афшин

О, мой Бабек! Клянусь Аллой,
Я рад померяться стрелой.
Но видишь сам, как тучей я:
Водой и салом вспучен я.
Куда б стрела твоя, звеня,
Ни направляла свой полет,
Она везде найдет меня,
Везде меня она пробьет,
Тогда как ты, великий вождь,
Уж так-то тонок, так-то тощ,
Что, приада даже в грощ,
В тебя никак не попадешь!

(Арабы хохочут.)

Бабек

Правда твоя. Но ты не грусти!
Тебе помогу я в деле твоём:
Белой линией ты очерти
Тело мое на теле твоём.
И если я неумелой стрелой
В тебя попаду за белой чертой —
Не будем считать мы стрелки той.

(Теперь смеются азербайджанцы.)

Бабек

Афшин! Домашняя крыса ты!
Взгляни в ущелье с твоей высоты:
Что видишь там?

Афшин

Я вижу туман.

Бабек

Нет, Афшин: это синий дым.
А что, Афшин, ты видишь за ним?..

Афшин

Я вижу волнистое что-то..

Бухари

Река!

Бабек

Нет, Афшин: это стадо овец.
Что видишь при овцах ты, наконец?

Джафар

При овцах, наверное, пастухи.

Бабек

Нет, Афшин: три араба твоих
Пируют, крестьян ограбя монах:
Один араб, седой человек,
Снимает джораб с ноги мертвеца;
Другой крошит в молоко чурек;
А третий, который очень высок,
Вплетает в бороду волосок.
Доверься же этому глазу, Афшин,
Стрела моя даст ли мазу, Афшин?
Око, видящее тебя,
Ненавдящее тебя?

Афшин

Однакоже стрелоский ты!
Твой глаз алмазной остроты
Пронзает даже недра гор.
Войди же в бедный мой шатер —
Поговорим с тобою там.
Договориться нужно нам.
Быть может, я свою гурду
В пожны отправлю и уйду.

Баромид

Э, Афшин! Ты, я вижу, хитер:
Ты, вижу, хочешь его схватить!

Шахсултан

И все же Бабек войдет в твой шатер.

Баромид

Как войдет? Почему войдет?
Серый шайтан пусть к нему войдет!

Бабек

Нет, я пойду, ана-джан.

Баромид

Но пойдешь!

Бабек

Нет, пойду.

Шахсултан

Пойдем, Бабек.
(К Баромиду.) Отойдите... Ну!

Бабек

Пленика только возьмем с собой.

Шахсултан

Зачем?

Бабек

Это будет подарок, ханум.
А ксати — и жертвой перед судьбой.

Подарок придется арабу принести?
Жергеу тоже пора бы принести.
Зачем же двойные расходы несть?

(Смеются. Бабек выводит из толпы пленного араба.)

Пойдем, князи. Приехали мы.

(Посадив на плечо поданного ему Моголом орла, Бабек берет за руку араба и спускается в шатер к Афшину. Шахсултан идет рядом.)

Б а б е к

Великий Афшину — подарок прими!

(Араб падает на колени перед своим князем. Афшин коснулся его плеча в знак прощения. Араб встает.)

А ф ш и н

Бабек-ага! Простор и мир.

Ш а х с у л т а н

Простор и мир, Афшин-ага.

А ф ш и н (не обращая на нее внимания)

Садись за мой убогий пир.

Считай, что ты не у врага.

Считай, что я твой лучший друг:

Ты мне, как радуга меж дуг.

(Представляя своих.)

Аль-Бухари — любитель книг.

Джафар-ага — мой лучник.

Б а б е к (так же)

Шахсултан — учитель мой.

Карагуш! — хранитель мой.

(Арабы переглядываются, но.. делать нечего — кланяются женщине и птице.)

А ф ш и н

Но где танцовщица? Сааз?

Где Уль-удэ? Рабаб? Тамбур?

(Входят музыканты и бедуйинка.)

Танцуй, красавица, для нас.

Изобрази походку бурь.

А вы — вы попробуйте каймак.

Вот тут миндаль. А это мак.

(Бедуйинка танцует.)

Б а б е к

Ну, хорошо?

Не скажу, что нет.

Но звал я пастушку одну, сосед.

Нари она... (Да и звать — Нарю).

Она пройдет — корабль слышет...

Увидишь — растаешь слаще зарю!

Трудно поверить, может быть,

Что эта походка может быть.

Но кто увидал — не сможет забыть.

(Афшин делает жест. Тайец прекращается.)

Ш а х с у л т а н

Видала я эту пастушку, Афшин.

А ф ш и н

Да?

Ш а х с у л т а н

Сложена, как этот кувшин.

Просто прыгает, как коза.

Б а б е к

А ты ведь, ханум, не сумеешь так.

Ш а х с у л т а н

Ну, а глаза?

Б а б е к

А что глаза?

Ш а х с у л т а н

Я даже цвета не помню их.

Б а б е к (вздыхая)

А я... я помню.

Ш а х с у л т а н

Еще бы! Жених!

Б а б е к

Очи ее — как два вороних!

Д ж а ф а р

Мы просим вас: вот тут пилав...

Со сладким гурюком чялав;

Куринные шварки... Гусиный жир...

Б у х а р и (сквозь зубы)

Халва, паклава... Каймак... Инжир...

Б а б е к

Вда невежды — враг жизни его.

Если, Афшин, мы с тобою друзья,

Скушай ты, а потом уже я.

Ш а х с у л т а н

Он прав.

А ф ш и н

Ну, что ж. Не скажу ничего,

Не думал кормить отравой тебя.

Но я понимаю, право, тебя.

(Ест.)

Ш а х с у л т а н (умывая кончики пальцев)
Ну вот. Теперь говори про дела.

А ф ш и н

(проведя ладонями сначала по щекам, затем по бороде и, соединив руки у конца ее, начинает издали)

Что я скажу про ваши дела?

Я только стремя, маш-Алла¹,

Где ногу держит панинах.

Я только сталь его седла.

В твою страну внедряя шаг,

И кровью жил траву моча,

Я только лезвие меча,

¹ Маш-Алла — такова воля бога.

А ложо держат ладьях.
По что поделаю, грузья?
Мне рукоятью быть цельзя.

Итак, военный этот стан,
Его шатры и племена —
Всего лишь веточка одна
Того, что есть Арабистан,
Который смог, как старый тис,
В созвездья самые влестись,
Юрными за землю держась.

Его Немен, его Геджас
И город в кратере — Аден,
Пустыня лавы — эль Харра,
Пустыня камня — эль Хасса,
Гадремаут и, наконец,
Береговая полоса —
Все это сядет на копей,
Все это завтра будет тут.

Арабы на седых конях,
Арабы на гнедых конях,
Туркмения на золотых,
Монголия на вороных,
Белуджистан и Курдистан,
Китайцы из-под Синда-Фу,
Как сповиденья наяву,
На ваших ринутся крестьян.

Как старый сокол-балабан
Пугает зайцев или птиц,
По вас ударит барабан —
И вам не петь и не пастись!
Не станет пойма для коров,
Хотя ручьи подымет кровь;
Уйдет верблюд из этих мест:
Он человечину не ест.
Пальется горечью зерно;
Где зеленело, там черно,
Где пахли травы — уголь там!
И нежным девичьим устам
Плодов земли не осязать —
На все наложит смерть тамгу,
Придя, как полуночный тать.

Вот все, что я хотел вам сказать,
И все, что я сказать вам могу.

(Молчание.)

Б а б е к (оробев)

Ойе... Послунай... Дженаб-э-эли...
Не считай за обиду мои слова.
Зачем вам возиться в нашей пыли?
Что такое? Азербайджан?
Стоит ли боя Азербайджан?
Бучи крестьян — гореть горожан...

А ф ш и н

По-моему дал я вам полять,
Что я — лезвие, а не рукоять;

Что этот мой военный шаг
Определяет ладьях.

Б а б е к (глухо)

Скажи, что вам нужно? Будь мне отец!
Масло мы дали... Дали овец...
Приходят — уходят... Пришли опять...
Деньги просят... Деньги я дал...
Землю просят. Но как отдать?
Наши берлоги вам отдадим —
Как налоги вам отдадим?
Без очага — какой уже дым?

А ф ш и н (раздражаясь)

По я ж оказал, Бабек-ага,
Что я лишь стремя, а не нога.

Б а б е к

Дженаб-э-эли! Не морочь ты меня!
За каждый день, что ты сел на коня,
Платят тебе десять тысяч дирхем.

А ф ш и н

С чего ты взял?

Б а б е к

Мы знаем кой-что.
Тут притворяться не перед кем.
Некогда слушал я раз соловья,
Некогда слушать сейчас соловья:
Каждому чувству — птица своя.

А теперь скажу: вот война — вот я!
Азербайджан я тебе не отдам!
Ни гор, ни моря, ни даже ручья;
Ни карканья в хижине дверцы его,
Ни запах выжженный перца его,
Короче короткого: ни-че-го!
Дыханье мое — Азербайджан...
Как прыгал, так будет прыгать

джейран!

Как жил любой болотный кот,
Как проживала любая дрофа —
Вот так же будет из года в год.
Эй! Покуда я лют и бран,
Живи-поживай себе, горный барап!
Не тронет араба тебя барабан.

Азербайджан! Дыханье мое!
Братья мне — все живое твоё...
В лесах Талыша живет дикобраз,
В пьесах камыша — тигр живет,
И я, Афшип, с тобою борясь,
За этих зверей готов умереть!
За каждую птицу, что хочет петь!
За каждую пчелку, чей мед, как медь.
А больше всего — за наших крестьян...
За девушек, у которых стан
Тоньше, чем этот кувшин с водой;
За наших старушек, которые нас
Не ослабляют любовью святой,
Но вместе с нами в битву идут!

Где сын — она здесь. Где бой — она тут.
Пойдем, Шахсултан... На плечо, бургут!
(Кланяясь А ф ш и н у.)

Прощай!

(Идет к выходу.)

А ф ш и н (нервно к Шахсултану)

Ханум! Устала устала!
Скажи мне, как ты сказала, зовут
Пастушку, которая...

Шахсултан

Перисад.

А ф ш и н

А что? Ничего... Оа сказал про кувшины —
Вот я и вспомнил.

Шахсултан

Э, Афшин!

А ф ш и н

Увы... Я не лучше других мужчин.

Бабек (у выхода)

Да, я хочу, дженаб-э-эли,
Чтоб вы уехали с нашей земли.
Если другой имеете край,
Если другое место есть —
Прошу я тебя: шатры забирай!
Пусть обсудит твой Совет
Этот дружеский мой совет.
Идите отсюда. Здесь места нет.

(Аль-Бухари и Джафар, выхватив сабли,
бросаются на Бабека.)

Бухари

Убить его надо!

Джафар

Убить! Убить!

Бабек

Назад! По мне, пугеры мои!

(Он выхватил саблю — арабы отпрыгнули.)

А ф ш и н

Арабы! Здесь не нора змеи!
Как вы осмелились забыть
Свой долг перед гостем? Как могли
Козорыим криком оскорбить
Вожя вельяственной земли,
Священного, как хлеб и гроздь?
Прости меня, великий вождь,
За их поступок.

Шахсултан

Вот что, Афшин.

Это собрание твоих старшин
Не так оскорбило криком его,
Как ты, называя великим его.

Слушай, если имеешь слух:
Вождь Аль-Багда не он, а я!
Он только супруг мой, а был пастух.
Подумай об этом. В мыслях читай.
За обиду слова мэн не считай.

(Уходит. За ней Бабек.)

А ф ш и н

Ушел?

Джафар

Ушел.

Бухари

Афшин!

А ф ш и н

Молчи!

Бухари

Зачем ты зверя упустил?

Джафар

Зачем ты удержал мечи?

Бухари

Ты что задумал?

А ф ш и н

Бухари!

Джафар

Ты что задумал, говори!

А ф ш и н

Джафар!

Бухари

Прости меня, Афшин,

Но я...

А ф ш и н

Довольно! Эй, Али!

Скажи, чтобы ко мне ввели
Того, кого из камышин
Мы взяли.

(Джафар уходит.)

«Упустил...» Как раз!

Пусть черный тигр, разъярясь,
Уйдет заливать в камыш
Свои раненья. О Алла!
Взиска не matka из дупла,
А все росенье. О Алла...
Не тигр важен — важен след!
Гнездо по следу разоринь.

Бухари

По где же этот след, Афшин?
Надежды даже нет, Афшин!

А ф ш и н (улыбаясь.)

Не беспокойся: след у нас.

Бухари

Но где же он, могучий князь?
В сжемчужной ли твоей душе?
В туманной ли какой дали?

Афшин

Он здесь уже. У нас уже.
А кетати: вот идет Али,
Внимание!

(Входит Али, сопровождающий пленного
Бойта.)

Бойт (падая на колени)

Афшин! Бурз бах!¹
Азербайджалец я. Бакебит.
Бойт — мое имя. Сражались в боях,
Но притаялся между факет.
Я покоряться судьбе не хочу:
Я передаться к тебе хочу.

Афшин

Увы, Бойт. Как быть теперь?
Могу ль тебе открыть я дверь,
Когда ты изменил вождю?

Бойт

Какой он мне вождь?

Афшин

А кто же он, друг?

Бойт

Я ш дирхем за него не даю.
Я был владетель долины одной.
Три фарсаха считай вздо мной!
Замок имел. Весь верх слюдяной.
Четыре башни было вокруг.

Афшин

И где же все это сейчас, мой друг?

Бойт

Когда на коне проезжал Бабек,
Метнул он в верога свое копыце.
«Равны, — сказал, — и крестьянин и бек.
Вредно считать на «мое» и «твое».
Ну, и другое еще сказал...
Но так это он горячо сказал,
Что пастухи принялись шуметь.
А я в душе ревел, как медведь:
Ведь на три пальца пробил он медь!
На три пальца!

Афшин

Вот что, Бойт.

Слышал ли ты о замке Аль-Бад?

Бойт

Как не слышать? Я же там стою.

Афшин

Ты случай мезя: ты получишь назад
И замок свой и дозину свою.

Бойт (выстрепленно)

Афшин, ты маг!

(Деловито.)

А когда там быть?

Афшин

Надо сперва согнаться быть.
Слушай сюда: возвращайся в Аль-Бад.
Войди в доверие к Шахсултан.

Бойт

Ага!

Афшин

Сделай вид, что любовью объят.

Бойт

Так.

Афшин

С нею ты речь поведешь
О том, что Бабек величайший вождь.

Бойт

Дальше.

Афшин (сыплет ему золото)

Вот пока лянтыдесят.
На эти деньги вичною совою
Сыщи мне девушку — Парисад.
Девушку эту чуть-чуть подтолкни
Так, чтобы в эти ближайшие дни
Ее увидели бы пред собою
Не он, не она...

Бойт

А кто же?

Афшин (улыбаясь)

Они. Ступай!

(Бойт уходит.)

Джафар! Ты иди вслед.

(Джафар уходит за Бойтом. Афшин поворачи-
вается в Бухари.)

Ну, вот вам и тигриный след
Аль-Бухари, ловец минут.
Такие травку не совинут,
Но мехом махнут далеко.
Их ароматы, мой юнец,
Запосудинить не так легко,
Но схваченные, наконец,
Приводят в логово они,
И стрелюцкого ози
Удушат в собственном гнезде!
И будет кровь его везде
Пылать в огне своей красы
Очарованнем заря...
Но только — что ли говори —
На это надобны часы,
Ловец минут, Аль-Бухари.

¹ Бурз бах — смотри сюда.

КАРТИНА ПЯТАЯ

(Горный ручей. Баромид и Шахсултан с кувшинами на плече спускаются к водоёму.)

Шахсултан

Это такой был страшный сон:
Ведь я и вы — мы тонули в реке!

Баромид

Ай-ай-ай... Чем же кончился он?

Шахсултан

Ну, как такие кончаются сны?

Баромид

Проснулась?

Шахсултан (смеясь)

И где же? У самой стены!

Баромид

Но стоило просыпаться тебе.
Надо было жупаться тебе,
Пока не увидела бы конец.

Шахсултан

Еще чего! Ведь я же тону!
Надоело мне плавание.

Баромид (упрямо)

Прокнулась — значит, пошла ко дну.
Дай кувшин. Я сама зачерпну.
А ты берегись даже маленьких рек.

Шахсултан

Э, неважно. Скажите, ханум:
А что если б это увидел Бабек?
В воду кинувшись паобум,
Кого бы стал наш герой спасать?

Баромид

Конечно, меня.

Шахсултан

Почему?

Баромид

Я мать.

Шахсултан

А я — жена, дорогая ханум.

Баромид

Женой может быть и другая, ханум,
А мать — как хочешь — только одна.

Шахсултан

Да, но это не то, что жена.
Мать... Кому теперь мать нужна?
Разве помощница духа она?
Все равно — старуха она:
Лицом сера, губом сера...

Баромид

Ну, не так уж я стара.

Шахсултан

А сколько же вам, золотая ханум?

Баромид

Сколько, сколько... Ну, шестьдесят.

Шахсултан

Э... Свои годы считая, ханум,
Вы столько сочин лет десять назад.

Баромид

И не отказываю! Нет-нет!
Слово свое говорю я раз:
Что сказала назад десять лет,
То же тебе повторю и сейчас.

(Смеются.)

Боайт (появляясь)

Мать и дочь! Какой красивый вид!

Баромид

А! Это ты? Я пойду, Шахсултан.

Боайт (кланяясь)

Очень я огорчен, Баромид.
(Баромид берет кувшин на плечо и уходит.)
Уф! наконец-таки! Маш-Алла!

Шахсултан

А что тебе в том, что она ушла?

Боайт

Во-первых, то, что остались вы.

Шахсултан

А что во мне?

Боайт

Ох, много, ханум...

Скажите, нет ли такой травы,
Хотя бы и между могильных плит,
Которая болл-утихнуть велит?

Шахсултан

Зачем тебе?

Боайт

Грудь, понимаешь, болит.

Шахсултан

Ну, грудь у тазюго, как ты, ничего.

Боайт

Вот как? А ты спроси — отчего?

Шахсултан

Ну, отчего?

Боайт

От любви!!!

Шахсултан

Ого!

Но ведь любовь — это жемчуг души.
Разве кто-нибудь лечит его?

Бо айт

Я!

Шахсултан

Ну, вот и напрасно, Боайт.
Это чувство прекрасно, Боайт:
Мы дети, любя! Мы птицы, любя!
И этакий дар жемчужный — лечить?
Кого же ты любишь, мой друг?

Бо айт

Тебя!

Шахсултан (смеясь)

А! Ну, тогда его нужно лечить.

Бо айт

Смеешься? Ну, что ж. Понимаю. Молчу.
Когда предо мной возникает Бабек,
В руку его я вручаю камчу:
Пусть он стегает меня по глазам,
Это мне, как слепому — бальзам.
Захочет — глаза свои вылью сам!!
Бабек... Счастливая ты, Шахсултан.
Быть супругой такого вождя —
Это почти божественный сан!

Шахсултан

Постой.

Бо айт

Ну-ну?

Шахсултан

Перебить я должна:

Я ведь, Боайт, не только жена.

Бо айт

А кто же?

Шахсултан

Ты разве не знаешь? Я —

Владелица этого замка Аль-Бад,
Военачальница и судья!

Бо айт

Э, ханум. Это ложь, ханум.
Ты ведь сама признаешь, ханум,
Что этим словам твоим — грош, ханум.
Все наши тетки и все дядья
Знают, кто настоящий судья.
Что же касается замка — увы!
Без разрешения самого
Ослик не ушибнет травы.
Нет! Жена — это есть жена!
Ты, правда, почетом окружена,
Но только за то, что Бабеку нужна.

Шахсултан

Ты забываешь, глупый джигит,
Что он моим языком говорит!

Бо айт

Верно, ханум. Ты при нем, как сааз:
Словом он стал владеть, как конем. —

Кто побеседует с ним хоть раз,
Тот всю жизнь тоскует о нем.

Шахсултан

Чурбан! Сова на башку твою!
Разве об этом я говорю?

Бо айт

О чем же?

Шахсултан

Если скажу я «да»,

Он никогда не скажет «нет».
Так было, так есть, так будет всегда!
Ведь он называет «учитель» меня.

Бо айт

Э!

Шахсултан

Молчи! Ты хуже слепая!
Разве так уже я нежна,
Так далека от дела войны.
Что одному Бабеку нужна?
Ну? Отвечай!

Бо айт

Боюсь.

Шахсултан

Почему?

Бо айт

Ах, ханум... Не нужна ты ему.

Шахсултан (ушав духом)
Как? И ты знаешь?!

Бо айт

Нетрудно, ханум:

Бабек всегда при тебе угрюм.

Шахсултан

Угрюм... Ну, и пусть! А все же, Боайт,
Повсюду пастушки лет, он мой!

Бо айт

Здесь она.

Шахсултан

Кто?

Бо айт

Пастушка.

Шахсултан (забывшись)

Мой брат...

Сердце мое... Где она живет?

Бо айт

Где — не знаю. Однакож — вот:
Бусы ее.

Шахсултан (выхватывая их)

Дешевый коралл!

Бо айт

Не в этом дело. Их подобрал
Мой человек. И знаешь ли, где?

Шахсултан

Ну?

Боайт

Не поверишь, ханум: на суде!

Шахсултан

Она была на суде?

Боайт

Была.

Шахсултан

Но я самолично тяжбы вела...

Глаза мои не утратили свет...

Врешь ты все!

(С горы спускается Бабек. Проходит, не останавливаясь.)

Бабек

Шахсултан!

Шахсултан

Ну, я.

Бабек

Приходи на военный совет.

(Уходит.)

Шахсултан

А? На военный совет... Слышал?

И мой надменный ответ слышал?

Как же ты говоришь, ахсакал,

Что я при владычестве его

Уже не значу почти ничего?

Смеешься, жилы мои тебе?

Радуешься печали моей?

Боайт

Ханум...

Шахсултан

Не хочу я видеть тебя!

Не налиц ты!

Боайт (смеясь)

А кто ж я? Араб? Или рум?

Шахсултан

Уйди!

Боайт

Хорошо. Как знаешь, ханум.

(Церемонно раскладываясь, удаляется.)

Шахсултан (одна)

Он прав. Я все меньше и меньше нужна.

Мог бы меня Бабек и не звать.

Вражда меж нами обижена.

Но он позвал. Почему? Как звать.

Может быть, он позвал и мать.

Обычай.

А может, ревнует, а?

Увидел Боайта... Приревновал...

Милый мой... Моя суета...

Смыла б я горе свое добеда,

Если бы это правда была.

Однако что говорил Боайт

Об этой пастушке? Имя ее

Разносится лепнем жеребят...

На неоседланном скачет коне...

Впрочем, что волноваться мне?

Где она? Нигде ее нет!

Есть только бусы простого зерна,

Но все-таки бусы еще не она.

А хоть бы она? Э, Шахсултан...

Где твоя гордость, большая моя?

Если твой удивительный стан

Не устоит своей красотой

Против красы табушницы той,

То разве лучи твоего ума,

Ученость твоя и отвага в бою

Ничуть не усият красу твою?

А кроме того, ты знаешь сама:

Пастушка сильна, пока ее нет.

Под леплом сердца горит ее след.

Но только явись — и ее красота

Утратит жемчужную дымку свою,

Очарованье бессонных снов!

И вдруг, увидав невидимку свою,

Он сразу поймет, угрюм и суров,

По векам, поздрав, очертанию рта,

Что эта девушка вовсе не та.

(Наклонясь к ручью, глядит на свое отражение.)

Ах, дитя! Ты — сверкающие дна!

Очень умная ты у меня.

Недаром «учитель» тебя он зовет...

Так вот ее бусы! Вот они! Вот!

(Рвет ожерелье и кидает по зернышкам в воду.)

КАРТИНА ШЕСТАЯ

Шатер Бабек. Военный совет! Бабек, Муса, Шахсултан и Баромид. У входа на камне часовая. Лицо закрыто забралом. Это Карабарс. Иногда он встает и прохаживается по площадке, иногда прислушивается к тому, о чем говорят. За шатром — боевой лагерь азербайджанцев.

Муса

Ну что же, краса. Ты воин лихой.

Народ у нас тоже совсем пеллехой.

Пока они вместе — народ и Бабек.

Что, скажите, осплит нас?

Гляжал твой бедеш, и конь твой пег,

Но сколько раз, о славный боец,

Бежал от тебя голубой жеребец?

Дети! Слушайте старика!

Пало ударить на Ардебиль.

Дрогнула у Афшина рука.

Все говорят, что арабы сейчас

Женским страхом боятся нас.

Баромид

Ты прав, Муса. Очень прав, Муса...
(Тут же засыпает и спит в продолжение
всего совещания.)

Муса

А ты что скажешь?

Бабек

Рано, хаджи.
У них не сабли — это леса!
Арабы на седых лошадках,
Арапы на гнедых лошадках —
Все это вот — в десяти шагах!
До облаков подымается пыль!
А ты говоришь — взять Ардебиль.
Ну, а потом, если правду сказать,
Мы очень много трагич бойцов.
К союзникам надо бы поспешать.

Муса

К союзникам? Ну, а где их сыскать?
Кто отзовется на воинский зов?
И дереву жаль своего корья.
А ты что скажешь?

Шахсултан

Я?.. Ах, я!

Муса

Задумалась?

Шахсултан (очнувшись)

Пусть говорит Бабек.

Бабек

Надо найти такие края,
Боторые сами Багдаду враги,
Полные желчи и яду враги, —
Туда бы направить надо шаги.

Шахсултан

Но где же эти края?

Бабек

Мудчи!

Об этом не должен знать никто.

(Карабарс проходит мимо входа. Его видит
только Бабек, остальные сидят спиной
к полу.)

Есть один край. Там нужны мечи.
Возьму один сыр и один каравай
И нынче же ночью уйду в этот край.

Шахсултан

Ты никуда не уйдешь, Бабек.

Бабек

Ну-ну...

Шахсултан

Никуда тебя не пушу.

Ты нужен здесь. Ведь ты вождь, Бабек.

Бабек

Ну да. Когда тебе нужно — я вождь,
Прямо — и я под ногами хвощ.
Слушай: когда-то я вел караван.
И вдруг увидел далеко вдали
Рай, какого не знал и Коран!
Это — западных румов страна.
«Византия» зовется она.
Ее-то подмога нам и нужна.

Муса

Что ж. Отлично, краса. Ну, что ж.
Но Шахсултан — она тоже права.
Разве послом отправляется вождь?
Где ты видел, чтоб атаман
В каждую встречу влезал. Ай-аман!
Что ты, какой-нибудь Сулейман?
Или Джамшид? Подководец ты!
Народ ведешь — не народец — ты.
Есть Могол. Пусть отправится он.
Он знает преческий лексикон.

Бабек

Я понял тебя. Пусть Могол.

Шахсултан

Ну, вот!

Вот и прекрасно! И все обошлось!
Где Могол? Кто его позовет?

Карабарс

Могол!

Баромид (очнувшись)

Что такое? Куда, ханум?
Барабаны? Тарамба-трум?

Шахсултан

Спите, спите...

Баромид

Ай-ай, бала!

Как это можно, чтоб я спала?

(Снова засыпает.)

Могол (входя)

Простор и мир! Я услышал зов.

Муса (торжественно)

Могол! Скажу тебе несколько слов,
Но ты, краса, ты zapomни их,
Как самый сладкий и томный стих.

(Декламирует.)

Афшин попал на наши края...
Аршин для могилы не хочет он дать...
Алтын теперь стоит крови струя...
Запомни, Могол! Ты у нас один!

Могол

Запомнил: Афшин... Аршин... Алтын...

Муса

Теперь пойдут такие стихи:
«Благостью сердца, о друг, истеки!

Арабы на своих сивых конях,
Арамы на рыжегривых конях.
Туркмены на зорытых скакунах,
Хозяиничая, шдеваются тут:
На северной почве пасти не дают.
Не позволяют на южной пахать...»

Б а б е к

Э, Муса! Не нужно пугать.

(Моголу)

Ты объяснишь ему, толмаджи,
Что если эта его страпа
Не выставит за меня мечи,
Не выступит если этот хап —
Его не спасет никакой талисман.
Не обижается пусть старина:
Выбьют его сапоги из стремян.

М о г о л

Кому изложу я все это, скажи?

Б а б е к

Тайна. Узнаешь потом, толмаджи.
Ступай. Спаряди огневого коня.
В шатре Мусы тебя ждет броня:
Рубашка-решетка, шлем и клешня.
Все это ты надевай, Могол.
Только колья не читай, Могол.
Ботца проедешь за царство мое,
Скажет тебе в письменах кошель
Имя страны и хана ее.

М у с а

Вот какая задача тебе.

Б а б е к

Иди. Да будет удача тебе.

(Могол уходит.)

Так. Византийцы. Ну, что же. Пусть так.
Но тут диковать может только простак:
Военный союз тогда лишь хорош,
Когда и граница совместная есть,
Иначе, Муса, цена ему грош.

М у с а

Пожалуй. Если снаружи удар.

Б а б е к

Это, скажем, червонный динар,
То думаю я, не меньше чем в три
Надо ценить удар изнутри.

Встает и достает шахматную доску, на которой расположены крошечные модели твердых с башнями, полъемными мостами и флагами.)

Большие дела теперь нам предстоят.
Смотрите сюда, дороге мои:
Вот перед вами итрупки стоят.
Башенки эти и эти шпильки —
Замки и крепости вайшей земли.
Лазурную глину всегда я любил.

С лазутчиками города я лепил.
На эту шалость потратил я год.
Зато в каждой крепости нашей страны
Знаю теперь каждый выход и вход.

(Снимает с доски какую-то крепость с четырьмя турами.)

Есть на свете крепость Барда,
Как возможно проникнуть туда?
А вот как. Видите эту дыру?
Это колодец. В нем даже вода.
Но он же — подкоп. Через лесью пору
Можете выйти прямо сюда —
В железную баню. Подымется шнок.
Но это, друзья, незначительный риск.

Что нам известно о замке Барда?
Арабы его захватили тогда,
Когда с Джавиданом была беда.
Ханом теперь там — арабский князь.
Но жители города — кровью за нас!
Все в душе — повстанцы они!
Истинно азербайджанцы они,
Да будут белы их черные дни...
Туда, в этот город направившись, я
Вздыблю восстание, как коня.

Ш а х с у л т а н

Ты не пойдешь!

Б а б е к

Пойду!

Ш а х с у л т а н

Пусть Ахмет!
Джамшид! Сулейман. Наконец!

Б а б е к

Ах, нет.

Я!

Ш а х с у л т а н (робко)

Неприменно? Но отчего ж?

Б а б е к

Там нужен уже не посол, а воедь!

Б а р а б а р с

Ты прав, Бабек.

М у с а (вздвигнув) Это кто?

Б а б е к

Мой друг...

(К Шахсултан)

Ханум... Уходи...

Б а р а б а р с

Ты прав, Бабек.

Одного имени твоего звук
Может уже бардинцев поднять.
Иди, ни слова не говоря.
Иди! Я там был. Мне дали понять,
Что наше знамя — для них заря!

Шахсултан (Мусе)

Это что же, а? Аксакал!
Это лазутчик! Он все слышал!

Бабек

Ханум, уходи!

Шахсултан (прислушая)
Ты откуда здесь?

Карабарс

Спал я. Очень нехудо здесь.

Шахсултан

Эй, джигит! В забрале не спят:
От этого душит спящего хан.

Карабарс (смеясь)

Я сплю, залитый броней до пят,
На случай, если прищипит араб.

Шахсултан

Эй, джигит: вот трава-астрагал.
Где ж очертания сна твоего?

Карабарс

Увы... Мой сон от меня ускользал,—
Здесь я разыскиваю его.

Бабек (страстно)

Твой сон — в постели моей: у меня!
Ты не поймал его один!

Карабарс

Взвоем иметь одного коня
Еще не в обычае у мужчин.

Бабек

Да, но с девушкой, жаркой, как медь,
Разве не сладко на скакуне?

Карабарс

Сладко. Но девушку надо иметь.
Зачем же ты с этим пришел ко мне?

Бабек

Затем, что бровь рыжсет твоя —
Это от хиинного зедья, джан!
Что в белой полоске шея твоя —
Это от ожерелья, джан!
А в войске моем — это знает свет —
Ни рыжих, ни полосатых нет.
Когда я сейчас к тебе подошел
(Слушай внимательно, рыжий, меня),
Ты со своих сандалий сощел,
Чтобы казаться ниже меня.
Этот обычай, конечно, пустяк,
Но только женщины бы делали так!
Какая ж еще примета нужна?
Откройся, кто ты! Чья ты жена?

(Подходит к Баромид, будит ее.)

Ана-джан! Почемути сюда!
Вот перед нами кто-то стоит.
Что это: губы или уста?

Что это: пальцы или персты?
Ана-джан! Что скажешь ты?
Может, приметку подскажешь ты?

Баромид

Ну, что же. Такая примета есть.
Эта примета без всякой лжи:
Красный цветок тебе надо принести,
На ночь в постель к нему положить.
Если он мальчик, увянет тот;
Если девочка — расцветет.

Шахсултан

Горе мне!

Бабек

Не вздыхай, ханум!
Пыриче дыхание мое — самум!
Как я заметить могу этот вздох?
Мать! Подруга моя по мечу!
Жеривой мне за тебя бы стать...
Замужь ее за себя хочу.
Скажи ей, какие нужны, слова.
В раковине жемчужной слова:
Бедна для нее моя голова.
(Баромид подходит к Шахсултан и целует
край ее платья.)

Баромид

Что я поделаю? Мать одна:
На один раз человеку дана.
(К часовому)

Да будут лазурью виды твои.
Не считай слова за обиду мою:
Кто отец твой?

Карабарс (пожав плечом)
Азербайджан.

Баромид

Мама кто?

Карабарс
Себелан-гора.

(Баромид поворачивается к снежной вершине
Себелан и кланяется в пояс.)

Баромид

Эй, гора! Душа моя, джан!
Дочку уже выдавать пора.
Что вы на это скажете, ну?
(Гора молчит.)

Нечего вам на это сказать...
Милость мне окажите одну:
Сына имею я одного,
Сна не имею я от него.
Конь его не хочет сказать,
Если не слышит эха ее;
Бронь его не хочет свергать,
Если не видит смеха ее.
А нам ведь надо вести войну.
Что я одна поделаю, ну?
Э, душа моя джан, гора!

Ты стара, и я стара.
Мы вель с тобой попиамасм их...
Давай, Себелан, обещаемс их:
Твоя невеста — мой жених.

Б а р а б а р с

Нет, Баромид моя... Мальчик я...
Напрасна, напрасна речь твоя.
Ах, напрасна.

Б а б е к

Яр! Подожди!

Не я ль волосок с горы увидал?
Узнал я тебя съвоз все миражи!
По стугу сердца тебя узнаю!
По запаху перца тебя узнаю!
Раба твой, о мой Карабарс!
Бэнь я твой! Твой охотничий барс!
Балабаи-птица, что села к плечу!
Замучь тебя за себя хочу...
О луношккая! Ты, как янтарь,
На душу мою, на рану мою!
Вот меч, и вот я! Взмахни и ударь!
Басьду тебе заране пою.
Ранней весны ты моей кипарис!
Твое отраженье во мне живет...
Глаза твои, как в огнях Тебриз,
Где сорок тысяч вполне живет.
На двух вороных едут ко мне
Взоры твои, а рука твоя
Вот тут, в селезенке, якорь на дне,
И всей моей крови река — твоя.
Тень орла по горам летит —
И тень его я, орел — это ты!
Подсолнечник на солнце глядит —
И он — это я, оно — это ты!
С порога дружбы шел я к тебе,
Дорогой любви пришел я к тебе.
Больше не нужно мне ничего...
Небо сердца ты моего,
Вприуса ты моей души,
Шаруса ты моей тиши.

Б а р о м и д

Ну! В таких случаях «да» говорят.

Б а р а б а р с

Что мне сказать, великий Бабек?

(Поднимает забрало.)

Да, я девушка... Пэрисад...
Да, я тоже люблю тебя, джип.

Н а р о д

«Победители ночью спят.
Победителей не примешь.
Побежденные копят яд...»

По прежде чем войти в этот стан,
Хотела б услышать я Шахсултан,
Иначе душа будет дымной, Бабек.

Б а б е к (умоляюще)

Ой, Шахсултан...

Ш а х с у л т а н

Скажи мне, Бабек:

Правда ль, что ты меня не взлюбил,
Когда у одра Джавидана был,
За то, что в спяньи твоей красы
Я, о смерти его говоря,
Не пролила ни одной слезы?

(Бабек молчит.)

Но как могла я заплакать, скажи,
Когда я...

(Гладит Карагута)

Тебя увидала, орел?

Когда я хотела без всякой лжи
Бросить все, что сап мой обрел,
И быть с тобой, мой черный бурнур,
Моя бессоница... Карагут.

П э р и с а д

Больше не скажешь?

Ш а х с у л т а н (хмуро)

Ну, что я скажу?

Задай вопрос любому стрижу,
Что он делает против орла?
Раз уж ты ему в грудь забрела,
А грудь вмещает одну, а не двух,
Что мне поделает? Берн его, друг.

П э р и с а д

О ханум...

Б а б е к

Ты в сердце моем!

Ш а х с у л т а н

По прежде чем вы заживете вдвоем
И вместе сойдутся ваши пути,
Нужно, как ты, Бабек, говорил,
В город бардинцев тебе пойти.
Забыл? Нельзя откладывать дел.

П э р и с а д

По ты же не хотела!

Ш а х с у л т а н (Бабеку)

По ты хотел!

КАРТИНА СЕДЬМАЯ

(Крепость Аль-Бадд. Площадь перед дворцом.
Народ, построившись в круг, пляшет п поет
песню Бабека. У крыльца сидит угрюмый
Ш а х с у л т а н.)

Н а р о д

«Победители ночью спят.
Победителей не примешь.
Побежденные копят яд...»

Побежденные точат нож...
Так бывало из века в век:
Побежденный велик человек!
То, что было множество раз,
Повториться может сейчас.

Б о а й т

Эй, Муса!

Муса
Что надо?
Боайт
Постой!
Где Бабек? Его нет среди нас.
Я уже слышал — народ простой
Очень обижен. Ворчит народ:
«Зачем мы стоим у этих ворот?»

Муса
Не знаю, где он.

(Уходит)
Боайт
Эй, Джамшид!

Джамшид
Ну?

Боайт
Как ты думаешь, где Бабек?
Глаз его, видимо, ниткой зашит,
Если не видит того, что здесь.
Ведь свадьба же, а? Ведь его же песнь!
(Джамшид пожимает плечом. В это время
убегают дозорные.)

Дозорный
Арабы! Арабы! Арабы идут!

Муса
Откуда?

Дозорный
С северной стороны...

Шахсултан
Муса!

Муса
Я здесь.

Шахсултан
Джамшид!

Джамшид
Я тут.

Шахсултан
Отбить набег и разрушить связь.

Народ
Но где же Бабек?

Бабек?
Где Бабек?

Шахсултан
Отныне Бабек не тропа для вас.
Слово мое — труба для вас!
Идите.

Муса
За мной!

(Уходит. За ним все молодые мужчины,
бывшие на площади. Шахсултан снова почувствовал себя в блеске власти. Раздувая
ноздри, она хищно выглядывается в толпу.
Наконец, увидела то, что искала.)

Шахсултан
Парисад-баджи!

Парисад
Здесь я, сестра.

Шахсултан
Подойди ко мне.
Ты, девочка, знаешь мои рубежи:
Всюду, как видишь, всевластна я.
Ты любишь Бабек? Прекрасно. Я —
Тоже люблю его. Больше, чем ты.

Парисад
Но ты уступила его, сестра.

Шахсултан
Э, дитя... Во мне доброты
Столько, сколько имеет кобые.
Что мне нужно, то будет мое.

Парисад (сухо)
Чего ж вы хотите, хапум?

Шахсултан
Выбирай:

Либо уйдешь в арабийский край,
Покуда еще не вернулся Бабек;
Либо Боайт зарежет его!
Что с тобой? Лихорадка-базек?
Э, не разжалобись больше меня...
Иди. Придешь на закате дня.
Если надумаешь — дам коня.

(Парисад не уходит, а как бы отогупает. Она
потрясена. Шахсултан в изнеможении садит-
ся на ступеньку крыльца. Из толпы женщины
выходят Баромид. За ней семелит
Сакина.)

Баромид
Ты что, Сакина?

Сакина
Я к тебе, Баромид.

Баромид
Ну!

Сакина
У козы моей кровь болит.
Шерсть вылезает. Короста на ней.
Глаза я исплакала просто над ней.
Жертвой бы мне за козу эту стать.

(Баромид садится рядом с Шахсултан и
достаёт из кармана нижней юбки изюм.)

Баромид
Надо, старуха, смолы достать.

Сакина
Ну?

Баромид
Ну, и смазать ей плечи и грудь.

Сакина
А мне говорили, что надо дуть.

Баромид
Можно. Кто говорил, тот прав,
По все же немножко смолы прибавь.

Саккина
А дуть осторожно?

Баромид
Совсем, как мышь.

Саккина
Спасибо, ханум.

Баромид
Па! Кушай кишмиш.

Саккина
Уй, как много дала!

Баромид
Ничего.

Саккина
А где ж твой сын? Не видно его.

Баромид
Тиш... Об этом не говори!

Саккина (шепотом)
А что?

Баромид
Ушел он за край зари.

Саккина
Зачем?

Баромид
Не знаю. Но знаю то,
Что это не должен знать никто.

Саккина
А! Понятно...

(Вдруг засуетилась. Ей ужасно хочется кому-нибудь рассказать тайну.)

Прощай!

Баромид
Иди!

Так помни: мажь по плечам и груди.

(На правой стороне площади у подножия башни Перисад сталкивается с Боайтом.)

Боайт

Райская фея Пэри — привет!

Перисад

Уйди! Ненавижу!

Боайт

Невеста вождя!

Где твой жених? Почему его нет?

(Перисад убегает. Боайт глядит ей вслед, восторг обернулся, — увидел старуху Саккина.)

А, это ты!

Ну, как моя шерсть?
Накапливаешь?

Саккина
Собираю, Боайт.

Боайт

Ага.

Саккина

А думаю лет через шесть...

Боайт

Э... А как же моя тахта?

Саккина

А что Бабек говорил тогда!
Важно шерсть — неважно когда.

Боайт

А кстати, ханум: где же сам Бабек?

Саккина

Тсс... Об этом не говори!
Ушел!

Боайт

Тце-тце... Это что же: побег?

Саккина

Что — не знаю. Не знаю — что.
Но ты смотри, чтоб не знал никто!

(Уходит.)

Боайт

Эге... Так-так. Хоть итенчик и мал,
А все же до гнездышка доведет.
Ниточку я как будто поймал...
Семья, наверное, знает все.
Что ж... Побеседуем... То да се...

(Подходит к крыльцу, где сидят Баромид и Шахсултан.)

Простор и мир, золотая ханум!
Привет и тебе, Шахсултан.

Шахсултан (сухо)

Привет.

Боайт

Что вы такое едите?

Баромид

Изюм.

Боайт

Дай-ка одну.

(Баромид дает ему одну изюминку.)

Боайт (смеясь)

Одну и даешь?

Баромид

А сколько ж тебе? Вот молодежь!
Дала ему ягоду — требует все.
Какая разница, что одна?
Такой, как у прочих, вкус ее.
Кислая? Острая? Сахар? Вода?
Знаешь одну — все знаешь тогда.
Зачем меня обираешь тогда?

(Встает и, собрав в подол свой изюм, уходит.
Боайт хохочет.)

Пэрисад (появляясь в бойнице угловой башни и вглядываясь в даль, поет грустным голосом песню)

«Где ты, голубь голубой
С черноглазой головой?
Унеси девичий вздох
Прямо в ветер гудевой...
Где ты, рыбка-шама,я,
Красноперая моя?
Утопи мою слезу
В пене белого ручья...
Где ты, змейка-серебро?
Сделай, милая, добро:
Укати с моей души
Горя горькое ядро».

(Рыдает.)

Боайт (подсаживаясь к Шахсултану)
Ну что, оставил тебя Бабек?

Шахсултан

Молчи.

Боайт

Оставил?

Шахсултан

Молчи, Боайт!

Боайт

Клеткой стал ему твой почлег.
На коврик твой не может он сесть.
Пищу твою не может он есть.
Что же тебе остается? Мечь?

Шахсултан

Э, Боайт! Это слово — гул.
Не труп мне нужен его, а любовь.

Боайт

Да, но ведь он народ обманул!

Шахсултан

Как обманул?

Боайт (как бы поверяя тайну)

От погоны бежал.

Шахсултан

Ах, ты про это? Пикто не бежал:
К соседствующим он ушел рубежам.

Боайт (опешив)

А? Но зачем?

Шахсултан

Тайна, Боайт.

Боайт

Как? От меня?

Шахсултан

От тебя и от всех.

Боайт

Но разве джигит языком богат?
Силетник я? Ах, да бросьте, хапум!
Вот что: сыграем в кости, ханум;
Если шестерку выброшу я,
Значит, тайна ваша — моя.
Внимание, Шахсултан: мечу!

Шахсултан

Довольно, Боайт.

Боайт

Хорошо. Молчу.

Пэрисад (мечется в башне)

Нет его... Нет... Пустынен луг...
Но он — он придет... Он почувствует, да.
Вот я зажмурюсь, открою — и вдруг
Увижу его пред собою вдруг!
Какая я маленькая... Его нет!
Что мне делать? А тучи горят...
Скоро заря... Нужно дать ответ!

(Озирается и видит Шахсултан и Боайта
сидящими рядом.)

Боайт? Но о чем они говорят?
Может, решили, что я не приду?
Может, готовят ему беду?
Разве можно довериться ей...
Надо узнать! Скорей, скорей!

(Исчезает.)

Боайт

Когда еще жив был сам Джавидан
И я у него наседником был,
Глаз мой однажды тебя увидал
И сразу усердно тебя полюбил.
Я винно-пенный, раб я твой,
Военнопленный араб я твой!
В ухе моем — кольцо твое!
В духе моем — лицо твое!
В печени словно торчит копьё...
Взгляни ж на того, кто в муках зачах,
Столько ночей не смыкая очей!
Ах, об этих моих ночах
Не прорыдает ни чанг, ни сааз...

Шахсултан

Ой, неправду, Боайт, говоришь.

Боайт

Правду сказал я на этот раз!
Уйдем со мной! Под тень моих крыш!
Замок мой — это кружево ведь.
Самых палат не разрушили ведь.
Всего на три пальца пробита медь.
Верь мне, ханум! Посмотри вокруг:
В этот день ты одна в слезах.
А кто с тобою? С тобою — друг!
Были Муса, Джамшид, Могол...
По кто к тебе в этот миг подошел?
Я один из них подошел!
Ах, Шахсултан! Поверь уж мне:

Если тайгу доверишь мне,
Если скажешь, зачем этот зверь,
А также в какие страны ушел,
Счастлива станешь, ханум, поверь!
В этом клянусь тебе я, Боайт.
Все поэты в своих робайат
Тебя воспоют и твоих ребят!
Открой же тайгу! Опять молчишь?
Где Бабек? Отвечай же!

Ш а х с у л т а н (оглянувшись)
Тшш...

(Боайт оглядывается и видит Пэрисад.)

Ш а х с у л т а н
Что делаешь, джан, втихомолку, здесь?

П э р и с а д
Ищу я, ханум, иголку здесь.

Ш а х с у л т а н (едко)
Игла, Барабарс, не то, что булат:
Она не пойдет к твоему плащу.

П э р и с а д
В плаще моем было много заплат,
Иглу потерявши — ее ищу.

Ш а х с у л т а н (раздраженно)
Ты в пляске целые дни, как в дыму.
Когда же это ты шить могла?

П э р и с а д
Я шила, ханум, у себя на дому;
Плясала, когда потерялась игла.

Ш а х с у л т а н (злобно)
Но как же сюда попала она?
Иголку ищут там, где и шьют.

П э р и с а д (дерзко)
Но там темно, а здесь луна.
Поэтому я ищу ее тут.

Б о а й т
Ах ты, дерзкая! Кто ты ей? Мать?

Ш а х с у л т а н (с величавостью красивой
женщины, обращающейся к менее избалован-
ной простушке)

Ты хочешь подслушать лепет любви?

П э р и с а д (вспыхнув)
Нет! Я хочу лишь тебе помешать
Выдать Боайту тайны твои.

Ш а х с у л т а н
Тайна моя — не тайна твоя.

П э р и с а д
Тайна твоя — тайна войны.

Ш а х с у л т а н (задыхаясь)
Иди, иди! Проболтаюсь я,
В этом не будет твоей вины.

(К Боайту.)

Да, так мы говорили с тобой,
Душа моя, джан, что он далеко;
Что он задумал не просто бой,
А битву, в которой с его стороны...

П э р и с а д
О Шахсултан...
Ш а х с у л т а н
...с его стороны
Будут войска бардинской страны.

П э р и с а д
Как ты посмела!
Б о а й т
Но сам-то он где?

П э р и с а д (в отчаянии)
Молчи!
Ш а х с у л т а н (наслаждаясь)
А сам он, конечно, в Барде.

Б о а й т
Ах, вот что!

Ш а х с у л т а н
Ну как? Довольна теперь?
Много думаешь о себе!
Думаешь, если талышский зверь,
Охотничий этот тигр, Бабек,
Охочий до женских игр, Бабек
Тебя приласкал, то это навек?
Думаешь, если тигр — он,
То это значит тигрица — ты?
Думаешь сесть на этот мой троп?
Эй, берегись возгордиться ты!
В самую грязь упадешь с высоты.

Б о а й т
Не ссорьтесь, Вы обе, как луч к лучу.
Не так уж разны ваши пути.

Ш а х с у л т а н
Молчи, Боайт!

Б о а й т
Молчу, молчу...
А кстати — сейчас я должен уйти.
В лавке одной для меня берегут
Ловчую птицу одну — бургут.

П э р и с а д
Ты! Никуда! Не уйдешь, Боайт!
Б о а й т (удивленно)
Ойе?

П э р и с а д
Никуда.

Б о а й т
Но это смешно!
Ужель твои перси по мне болят?

Пэ р и с а д

Слышимь ты? Никуда не уйдешь!

Б о а й т

Ай-ай-ай... Жаль, щет Баромид. Она бы
сказала:
«Вот молодежь! Сама навязывает себя!»
Увы, мой дружок... Не люблю я тебя...
Привет, привет, Пэрисад-баджи...
Поздно, лавочку могут закрыть.

(Пэрисад прергаждает ему дорогу.)

Пэ р и с а д

Шока не вернется из боя вожди,
Ты от меня, Боайт, никуда.

Ш а х с у л т а н

Вожди?

Б о а й т

Ого! Ты, однако, горда!
А это видала? Это — гурда!

Ш а х с у л т а н

Вожди? Ах, вот оно что... Поняла!
Ах ты, вьющаяся юла,
В могилах лежала б твоя семья...
Ты хочешь, лукавая, чтобы Бабек
Считал тебя преданнее, чем я?

КАРТИНА ВОСЬМАЯ

Азербайджанский город Барда, захваченный арабами. Площадь, заполненная возами, обр-азовавшими полукруг. На возвышении вос-седает наместник города Аль-Бухари. Черная стража шныряет в толпе. Среди крестьян — Бабек, одетый в козью шкуру. Торговцы и разносчики обхаживают зрителей, выкрикивая свои товары.

Р а з н о с ч и к и

— Аба! Джуба! Пляци! Епанчи!
Аба из замши! Аба из парчи!
Розовое масло заморских стран!
Гранатный напиток!

Табак «Пран»!
Тибетский мускус!

Гашини! Гашини!
Опиум из Тибета!

Т о л п а

Тиш...

(На середине круга выходит азербайджан-ский феодал Шамси-Камар, одетый в великолепные шелка.)

Ш а м с и - К а м а р

Висмиллах иррахмаи иррехим!
Наместник калифа в Барде-городе
Аль-Бухари абу Ибрагим
Устраняет состязанье пещев.
Вы видите, сколько га его зов
Прибыло из деревень возов?

Пэ р и с а д

Что ты, ханум? Опомнись, ханум!..

Ш а х с у л т а н

Молчи! Извелась я от этих дум!
Мало того, что, кольчугу надев
И в коннице мальчиком назывась,
Влпстала ты среди наших дев,
В мальчике — женщиною маяя.
Теперь ты хочешь упизить меня!
Перед Бабеком меня очернить!
Совсем... совсем оборвать нашу нить...
Так вот тебе! Вот!

(Выхватив книжал, она закалывает Пэрисад.
В это время входит Муса с отрядом.)

Б о а й т

Эй, эй! Шахсултан!

Б а р о м и д (издали)

Ай, что ты делаешь?

М у с а

Ведьма ты!

(Бегут к убитой и с криками окружают ее.)

Б о а й т (ни к кому не обращаясь)
Надо скорей бежать на мейдан...
Хозяйка бы... лавочку... не заперла...
Могут перекунить орла.

(Убегает.)

Б а б е к

Нагайками их пригнали сюда!

Б у х а р и (вскочив)

Кто это крикнул? Ты?

С т а р и к (испуганно)

Ай-аман!

Что вы!

Б у х а р и

Смотри у меня, борода!

Ш а м с и - К а м а р

Итак, это значит, что город Барда
Со всеми селениями его,
Приславиыми жителей на торжество,
Не носит в сердце своем ничего
Против калифа. Наоборот —
С каждым днем эхот пленный народ
Убеждается в том, что калиф —
Друг азербайджанских крестьян.

Б а б е к

Врешь! Купцов!

Ш а м с и - К а м а р

Милосерд, справедлив,

Он ни в чем не препятствует нам,
Даже благоприятствует нам.
Какая же почесть вот этим стенам,

Что именно в них наш славный народ
В честь его свои песни поет.
Итак, у кого соловей в груди —
Мы просим того: на круг выходи.
Ну? Кто первый?

Мелнк - Надир
Мелнк-Надир!

(Под барабанный бой на круг выходит азербайджанский феодал, сверкающий золотой парчой и с саазом в шелковых лентах.)

Шамси - Камар
Кто второй?

Хаджи - Ягья
Хаджи-Ягья!

(Барабанный бой. Входит толстый азербайджанский купец в чалме и атласной одежде. В руках у него серебряная пилка.)

Шамси - Камар
Но кто же закончит песенный пир?
Кто будет третий? А?

Бабек
Я, я!

(С маленьким бубном выходит он на круг, но Шамси - Камар останавливает его.)

Шамси - Камар
Ты? А где же твоя домбра?

Бабек
Вот.

Шамси - Камар
Но это же бубен.

Бабек
Пу да.

Шамси - Камар
А что за наряд? Смотри сюда:
Без тупия¹ ты жемч серебра,
Нет, чабан. Ты вот что, чабан:
Сперва забирай отсюда правей,
А там по болотной травке-чакан
Или себе прямо к сакле своей:
К Аль-Бухари не шлют посла,
Который воняет шкурой козла.

(Шамси - Камар со смехом поворачивается к другим ашугам и тихим голосом начинает вести с ними переговоры. Бабек выходит из круга.)

Бабек (шюхая шкуру)
Что с ним такое? Бозел, как козел.
А! Он, наверное, просто зол,
Что я подарок ему не принес.
Э, неважно. Но здесь, Бабек,
Ты должен иметь очень чуткий нос:

Тут одежда совсем не пустяк.
Приди я в шельму, все было б не так.
Но разве купишь его за пятак?

(Задумывается.)

Разносчик
Аба! Джуба! Плащи! Епанчки!

Бабек
Что бы такое выдумать тут?

Разносчик
Аба из замши! Аба из парчи!
Бабек (вдруг хлопнув себя по лбу)
Эй!

Разносчик
Чего?

Бабек
Что поделаю я?
Хотел бы, конечно, белую я.

Разносчик
Есть, хозяин. Есть, дорогой.

Бабек
А оп дорогой?

Разносчик
Пять серебряных. Пять, душа-джан.

Бабек
Э, дешовка... А это джуба?
Дай-ка сюда. Это что: джейран?

Разносчик
Джейран? О, мой любимый пастух!
Джейран — это только нмя, пастух:
Я думаю, это был горный дух!
Молитвою память его почти.
Не веришь? Смотри: это ж дух почти.
Да что там пух? Он нежной молока!
Пощупай: это ж почти облака.

Бабек
Какая джуба твоему цена?

Разносчик
Цена? Цена не больше восьми.

Бабек
А это что?

Разносчик
Это бурка одна.

Бабек
А ей цена?

Разносчик
Восемь стоит она.

Бабек
Ну, раз им обоим не больше восьми,
Раз им обоим цена равна,
Дай мне бурку — джуба возьми,
Вот и расчет. Верно? Сполна.

¹ Тупия — цинк.

(Берет у разносчика бурку и отдает ему его же джубэ.)

Разносчик

Постой, постой! Разве дело в цене?
А кто же за бурку заплатит мне?

Бабек

За бурку? Но я же отдал тебе
Равностоящее джубэ!

Разносчик

Тогда за джубэ мне заплатят пускай!

Бабек

Джубэ я не брал у тебя, хаджи.

Разносчик

Шайтан башку твою хватит пускай —
Кто же за бурку заплатит, скажи?

Бабек

Но я ведь за бурку отдал тебе
Равностоящее джубэ!

Разносчик

Но за джубэ ты не дал ни гроша!

Бабек

Но ведь джубэ я не брал, душа.

Разносчик

Но бурку, душа, ты все-таки взял.

Бабек

За бурку джубэ я тебе отдал.

(Разносчик смотрит на него обалдело.)

Разносчик

Ай-аман! Вот тебе на...
Бурки нет — а расчет сполна.

Бабек (падавая на себя бурку)
Ну-у, земляк... Я шучу, земляк.
Бурку свою получишь опять.

Шамси - Камар

Иррахман-иррахим бисмиллах!
Скучно двум певцам выступать.
Кто же третий?

Бабек

А третий я.

Шамси - Камар

Постой, постой... Лицо — тутия...
Где-то я видел тебя... дитя.

Бабек

Не смотри на лицо — па бурку смотри.
Купец я. Понял? Имею лабаз
На главной улице Самарры.

Шамси - Камар

А как твоё имя, скажи?

Бабек (подумав)

Карабарс.

Шамси - Камар

Не помню что-то... Впрочем, иди.
Люди собрания! Тишина!
Все вы сегодня в сапе судьи.
Пророк сказал: «Народ — это мир!»
Итак, перед вами — Мелик-Надир.

(Мелик-Надир начинает свою песню, сопровождая ее игрой на саазе. Голос у него мягкий, взволнованно печальный. Это подлинный лирик.)

Мелик - Надир

«Душа моя опалена, душа моя зажглась...
Зачем не видит звездочет созвездья твоих
глаз?

Зачем не слышит саазчи, как волосы

твой

Звенят под ветром, отчего беззвучен стал
сааз?

Зачем не чувствует слепой, в твои лучи
войля,

Что он загаром золотым объят в полночный
час?

Зачем лишь я, лишь я один все это
испытал,

Без сновидения и сна на ложе сна мечась.
Не пожелал бы и врагу любить тебя,

ханум!

Сто тысяч ран — и лишь одна целительная
мазь.

Но нет! О чем я говорю? Безумец!
Счастливы я,

Овитый вихрями огня и мыслями

дымась...

Когда бы ворон пролетел сквозь твой
невинный взор,

Он потерял бы черноту и вспыхнул, как
алмаз,—

Так опаленный, как и он, певец Мелик-
Надир

Алмазною голубиной сияет среди вас.
(Зрители одобрительно переговариваются.)

Первый

Ну? Что скажешь, Мамбет?

Второй

Якши.

Третий

Особенно про слепого.

Второй

Да-да.

Первый

Это ашуг — богатой души.

Второй

Ага.

Третий

Человек большого огня!

Шамси - Камар

Люди! Пред вами — Хаджи-Ягья.

(Хаджи-Ягья, подмигнув зрителям, проскислет на пиколке птичьей трель и запел свои куплеты. Это балагур и забавник.)

Х а д ж и - Я г ъ я

«Я влюблен. Я онемел...
Щеки стали, словно мед.
Целый день о ней вздыхал бы,
Если б... время я имел».

(Трель.)

«Я влюблен. На сердце — ад!
Блещут тучи. Хлещет град.
Я бы ждал её всю жизнь,
Только... долго, говорят».

(Трель.)

«Я влюблен. Она легка,
Словно серна берг-Порга.
Превратился б я в оленя —
Одного боюсь: рога!»

(Комически приставляет указательные пальцы ко лбу. Толпа посмеивается. Но тут на круг выходит Бабек и, прерывая песню, хлопает певца по плечу.)

Б а б е к

Славно поешь! Не стораю гори!
Но что подумает шейх Бухари?
Разве, народ мой, мы любим так?
Разве рога — это только смех?
Рога — оружие для атак!
Любовь же — не только к серне любовь:
Пламенная, немощверна любовь,
Когда это чувство — знамя рабов.
Отойди же, Хаджи-Ягья!
Ты! Бесстыжий Хаджи-Ягья.

(И вот Бабек запевает песню. Это та самая песня, которую пел он в связи горной хижине. Эта та самая, которую пел народ, чувствуя свадьбу Бабека. Бабек поет. Бубен ходит в его руках, угрожая и ржоча, как рассерженный беркут. Голос у Бабека глух. Но это голос вождя.)

Б а б е к

«Ты не пой в водопаде, вода!
Опаленный ветер, остынь!
Будь безмолвнее, чем всегда,
Серебристая ночь пустынь.
Не качай оперением, тис!
Белый дым костра, опустись!
Не шуриши, не свисти, змея,
Чтобы слышалась песнь моя».

Победители ночью спят.
Победителей не примешь.
Побежденные копят яд...
Побежденные точат нож...
Побежденный велик человек!
Так бывало из века в век:
То, что было множество раз,
Повториться может сейчас».

Если я найду свой конец,
Не успевши знамя поднять,
Ты забудь меня, мой отец,
Ты забудь меня, моя мать...
Даже ты забудь, о жена:
Ты другому будешь жужла.
Но, свершив погребальный обряд,
Не забудет меня мой брат».

Он уйдет в ущелье, рыча.
Он покинет и мать и жен.
Он сверкнет голызой меча,
С дымом вырвав его из погон.
Он зажжет на горе костер —
И откликнется наш простор!
И джигиты в его дыму
За свободой пойдут к нему».

Так не плачьте ж, друзья, во мгле!
Подымайся, кто молод и зол:
Если тень орла на земле,
Значит в небе этот орел!
Верь в него, не видя его!
Больше я не скажу ничего:
Золотая узда — коротка.
Золотая песня — кратка».

Б у х а р и (вскочив)

Это Бабек! Я узнал его!
Бабек!

Ш а м с и - Б а м а р Неужели Бабек?

Б у х а р и

Схватить!

Б а б е к

Назад! Не дразните меча моего!
Если только я кликну клич —
Вся сталь восстанет за мой «Караглыч».
Эй, разносчик! Возьми свою заморскую бурку!
Сейчас я уже могу обойтись своим азербайджанским козлом. Принимаете ли меня таким, люди города Барда? Я — Бабек!

Т о л п а

— Принимаем, Бабек!
— Жертвой твоей хотим мы стать, джан-Бабек!

(Крики восторга, крестьяне окружают Бабека, целуют ему руки, обнимают его.)

Б у х а р и

Зачем пришел ты сюда, Бабек?
Этот город навеки наш!
Не увеличивай в нем калек.
Если ты любишь этот народ,
Не создавай же новых сирот.
Я дам тебе стражу до самых ворот:
Там будет конь и выучный осел.
Уйди туда, откуда пришел».

(В толпе волнение.)

Б а б е к

О, дженаб-э-эли! Милосердие твое равняет-ся дружелюбию твоему. Хотел я поднять этих людей на восстание, но — копь хорошо, а выючный осел еще лучше! Хотел я сказать им, что стяг мой — это конец деления мира на «мое» и «твое», что стяг мой велит жепцине быть равной мужчине, а мужчине — ангелу, свергающему Аллаха, ибо истинный бог — это огонь, дарователь жизни, отчего и стяг мой красен.

(Бабек вынимает из-за пазухи алую ленту. В его руках она оживает, как язык огня.)

Хотел сказать я еще, что стяг этот будет пожаром для арабских шейхов, но мирным очагом для азербайджанских крестьян.

Б у х а р и

Слушай ты! Говорливый чиж!
Ведь ты же все это им т о в о р и ш ь!

Б а б е к

Э, нет! Не говорю я этого, Бухари-ага. Покаюсь: хотел сказать. Однако милосердие твое вырвало знания из рук моих.

(Бросает ленту к ногам Аль-Бухари.)

Но прежде чем уйти, хочу быть свидетелем высшего торжества твоего. Что толку в песнях ашугов, Аль-Бухари? Ашуг — один. Если их трое — это три раза один. Иное дело — народ! Эй, люди собрания! Споем песню великому шейху, который мог бы раздавить меня, но дает мне уйти. Душа ищет удачу, как шниций монету. Великий шейх помог мне найти ее. Я начну песню, жители; когда же взмахну бубном — воскликните все, как один, великодушное имя владыки вашего: «Бухари!»

(Толпа явно недоумевает.)

Б а б е к

Кто снимет, как алмаз?

Т о л п а

Бухари!

Б а б е к

Кто наместником у нас?

Т о л п а

Бухари!

Б а б е к

Кто примет нашу дань?

Т о л п а

Бухари!

Б а б е к

Настоящая ты дрянь,

Т о л п а (сразу все поняв)

Бухари!

(Хохот.)

Б а б е к

Коль овца дала приплод —

Штуки три,

Кто за ними к вам придет?

Н а р о д

Бухари!

Б а б е к

(Старушонка наскребла

Сухари —

Кто смахнет их со стола?

Н а р о д

Бухари!

Б а б е к

Вашу дочку увидав,

Цвет зарп,

Кто взлетает, как удав?

Н а р о д

Бухари!

Б а б е к

Кто задумал нашу рать

Шокарать?

Кто злодей наш, говори!

Н а р о д

Бухари!

(Бухари вскакивает, делает знак — арабская стража, феодалы и купцы в испуге сплачиваются вокруг него, обнажив кинжалы и сабли.)

Б а б е к

Долго ль нам творить намаз

Полое вас:

«Вы — сворканье! Вы — алмаз,
Бухари...»

Пусть же каждый, кто джигит,
Зарычит:

«Вон отсюда, алчаг-ит¹

Бухари!

Н а р о д

Вон! Вон отсюда! Во-о-и!!

(Вздев на свой меч брошенную им алую ленту, Бабек ринулся в строй стражи. Народ с оружием бросается за ним. Восстание началось.)

¹ Алчаг-ит — презренная собака.

КАРТИНА ДЕВЯТАЯ

Замок Аль-Бадд. Угол башни. За стенами — сигналы арабских труб. Далекое ржание копей перекликается с близким рыданием верблюдов. Осажденные разводят костры. Ночь.

М у с а

Прошу я тебя, Шахсултан-сестра:
Поддерживай дым своего костра.

(Идет дальше.)

Бабушка-джан! Ты жива?

Б а р о м и д

Жива.

М у с а

Как твой костер?

Б а р о м и д

Горит мой костер.

М у с а

Ты будешь, ханум, поддерживать два.

Б а р о м и д

Можно два. Можжевельник давай.
Хворост и сизый ельник давай.

М у с а

Дам, все дам.

(Идет дальше.)

Г и л ь н а р а

Гаймят, смотри!

Г а й м я т

А что?

Г и л ь н а р а

Два костра взяла Баромид.

Г а й м я т

Да? Захочу — возьму себе три.

А й ш а

Эй! У тебя и один не дымит.

Г а й м я т (увидав Мусу, бросает костер
и подбегает к нему)

Муса! Слышал? Спускаются с гор!

М у с а

Слышу, слышу. Ты знай свой костер.

А й ш а

Муса! А когда же вернется Могол?

М у с а

Скоро, Айша. Скоро, душа.

(Отходит.)

(В это время с башни на веревке спускается Могол. К нему сбегаются Джемшид, Сулейман и другие джыгиты. Подходит Муса.)

М о г о л

Простор и мир.

Д ж а м ш и д
Могол!

С у л е й м а н

Могол!

М у с а

Ну, как там с помощью?

М о г о л

Помощи нет.

М у с а

Как? Почему?

М о г о л

Византиец гол.

Хочет помочь — ну печем ему.
Сам боится попасть в кутерьму,
К тому же сынок его, Феофоб,
Императором провозглашен.
Старик на него раздувает зоб,
Но войско держится за сынка...
Словом, там не до нас пока.
А как арабы? Идут?

М у с а

Идут.

М о г о л

А где Бабек?

М у с а

Ушел Бабек.

М о г о л

Как ушел?

М у с а

Скоро будет тут.

М о г о л

А сколько осталось бойцов?

М у с а

Отряд.

Я для того и велел сейчас
Зажечь двенадцать костров подряд,
Чтобы казалось, что много нас.

(Вдруг раздается крик ночной птицы.)

Д ж а м ш и д

Лунь.

М о г о л

Это не лунь.

М у с а

Молчи.

Откуда был крик?

Д ж а м ш и д

Из башни, Муса.

М у с а

Ага. Хорошо. Осмотрите мечи!

Д ж а м ш и д

Разве это не крик луны?

М у с а

Нет... Это он... Он ищет меня...

(Идет к башне, смотрит вверх, но Бабек появляется из нижнего пролома.)

Б а б е к

Муса!

М у с а

Бабек... Ты здоров, Бабек?

Б а б е к

Муса, готовь-ка стрелы твои.
Я слышал в горах скрипенье телег.
А? Понимаешь? Это Афшин
Везет тюмены осадных машин.

М у с а

Гм... Что же делать?

Б а б е к

Этот твой дым

Пусть поддерживает меньшинство,
Афшин за холмом уже. Надо самим
Как можно скорей напасть на него.

М у с а

На каждого нашего — там по пяти!
Напасть... Да и плох я на скакуне.
Раз ты здесь, ты сам напади.

Б а б е к

Ясно, ясно.

И что Барда?

Б а б е к

Было как надо. Вся орда
Вышла за мной. Но за городом вдруг
Мы оказались в военном кольце.
Буда ни посмотришь, арабы вокруг.
Афшин сомкнул северян и южан.
Кто-то предал Азербайджан,
Кто-то им обо мне донес.
Стой... Вы слышите пенье колес?
Давай. Муса! Живей, живей!
Внуков зови, зови сыновей —
Не мы поразим, так нас поразят.
А где моя мать?

М у с а

Вон твоя мать.

Б а б е к

А где жена моя — Парсид?

М у с а (вдруг)

Откуда я знаю? Я глух и нем.
Не евнух я. Не хожу в твой гарем.

Б а б е к

Ну, хорошо. А сердиться зачем?

М у с а

Зачем пристал? Не евнух я.
Не знаю о ваших царевнах я.
Слышу стариком среди древних я.

(Уходит.)

Б а б е к

Что такое? Какой шумной...
Апа-джан!

Б а р о м и д

Сыночек мой!

Здоров ли ты? Не сгорая гори!

Б а б е к

Спасибо, здоров. А где же Парсид?

Б а р о м и д (притворяю)

Да, а где же она? (Зовет.) Парсид!

Б а б е к

Нету.

Б а р о м и д (вдруг)

Зачем на меня кричишь,
Самый худший из поросят!

Б а б е к

Я? Кричу?

Б а р о м и д

Ведь я тебе мать!

Разве можно на маму кричать?

Разве так учу я тебя?

Иди себе! Не хочу я тебя.

Б а б е к

Что с тобой? Ты — мой свет при луне!
Каждое слово — пословица мне!
Что же с тобой?

Б а р о м и д

Нездоровится мне...

(Отходит к костру.)

Б а б е к

Что такое случилось у них?
Не узнаю ни друзей, ни родных.
Эй, Шахсултан!

Ш а х с у л т а н

Бабек?

Б а б е к

(Шахсултан!)

Да будут травой косы твои...
Странный какой-то стал этот стан.
Не узнаю ни родных, ни друзей.
Скажи мне, ханум, я послушаю, эй!
Не видела ты невесты моей?

(Молчанье.)

Что ж ты молчишь? А? Говори.
Где, наконец, моя жена Парсид?

(Молчанье.)

Эй! И тебя я не узнаю!

Шахсултан

Убита она...

Бабек

Убита? В бою?

Шахсултан

Под платаном зарыта она.

Бабек

В каком же бою убита она?

Шахсултан

Ах, Бабек... Лишена я сна...
Голод мой — еды не берет,
Собыл мой — следы не берет.
Повешусь я у твоих ворот...

Бабек

Скажи мне что-нибудь.

Шахсултан

Что мне сказать?

Вот любовь — и вот я, Шахсултан!
Думала быть я тебе, как мать,
Но страсть надо мною, как шах и
султан!

Глаз не смыкала я о тебе...
Молча ходила, как змей в бою.
Нет! Погибла она не в борьбе —
Я убила невесту твою!

Бабек

Ты?

Шахсултан

Я! Ну, что ж ты замолок?
Ложит она... Не подымет век...
Я зарыла ее, как волк,
И не жалею об этом, Бабек.

Бабек (хрипло)

Где находится этот платан?

Шахсултан

Какой? Где зарыта она?

Бабек

Да, да!

Шахсултан

Слушай... Ты слышишь? Я, Шахсултан,
Убила невесту твою — и горда!

Бабек

Где... платан?

Шахсултан (стискивая руки)

Но зачем он тебе?

Бабек (рыча)

Платан!!

Шахсултан

У воды... На тирфийской троне.

Воины

— Арабы, арабы!

— Идет Афшини!

— Где же Бабек?

Бабек

Коня!

Муса

Коня...

(К Бабеку подводит коня.)

Муса

Зачем такой повод? Целый аршин!

(Гаймят бежит от костра к мужу своему —
Джамшиду.)

Гаймят

Джамшид!

Джамшид

Гаймят...

Гаймят

Дай мне свой рот!
Зачем, зачем он тебя берет?

Джамшид

Я сам иду.

Гаймят

Уйди от него!

Я буду ждать тебя у ворот...

Джамшид

Молчи.

(Стоят обнявшись. Айшэ подбегает к
Моголу.)

Айшэ

Могол!

Могол

Золотая моя!

Айшэ

Не оставляй его одного...
Дай мне свой лоб... подбородок... рот...
Твой меч... Твою правую руку... Твой
дрот...

(Осыпает его поцелуями.)

Бабек (вскакивая на седло)

Все мужчины — за мной!

Муса

Вперед!

(Бабек молча и угрюмо выезжает из башни.
Воины идут за ним.)

Баромид

Ну? Сказала ему?

(Шахсултан кивает головой.)

Что же он?

Плакал хотя бы? Ругал тебя?

(Шахсултан молчит.)

Плохо мужьям от любящих жен.
Сама понимаешь: после всего
Надо б тебя на месте убить!
Но раз, Шахсултан, ты любишь его
Так, что могла невесту убить,
Что же он может? Совсем ничего.
Сама понимаешь. Как ему быть?

(Между тем женщины взлезают на стену,
чтобы наблюдать за сражением, хотя никакой
надежды увидеть что-либо в темноте нет.)

Сакина

Эй, Баромид!

Баромид

Это ты, Сакина?

Сакина

Иди скорей... Смотри: огоньки!
Скорей!

Гаймят

Как слышится эта стена!

Сакина

Пустите: это Бабека мать.

Айшэ

Иди, Баромид!

Гаймят

Сядь в вот тут.

Гильнара

Здесь можно, ханум, кое-что услышать.

(За стеной гремит топот удаляющейся
конницы.)

Баромид

Слышала топот? Это Бабек!

Сакина

Ну? Откуда ты знаешь?

Баромид

А кто ж?

Гильнара

Да будет Азербайджану успех.

Айшэ

Да отлетит боевая стрела
От сердца Бабека и от чела!

Баромид

А глаз? А горло?

Айшэ

Тоже пускай.

Сакина

От всяческой его кожи пускай.

(Вдруг раздается птичий гам и хлопанье
тяжелых крыльев.)

Гаймят

Слышите крылья? Птицы летят!

Баромид

Этo они вслушнули дреф.

Айшэ (вслушиваясь). Туда, куда ходи
напиться, летят...

(Молчание. Потом отдаленный вой раненого
зверя.)

Гаймят

А это что?

Баромид

Это тигр.

Айшэ

Ну?

Сакина

Значит, они уже в джунгли вошли.

Гильнара

Ах! Кто выдумал эту войну?

Гаймят

Ай, как вост...

Айшэ

Визг, а не вой.

Гаймят

Еще чего... Разве тигры визжат?

Баромид

Павешное, наехали на него.

Айшэ

Очень, наверно, недужно ему...

Гаймят

Э, Айшэ! Так и нужно ему!
Населся, наверно, баранины он.

Баромид (строго)

Молчи, Гаймят! Первый раненый он!
Может, сейчас и твой джигит,
Пробитый стрелюю, вот так визжит.
(Женщины поднимают отчаянный крик.)

Баромид

Тише, женщины! Что за гам!

Гаймят

Там же мой муж!!

Баромид

Подумаешь, муж!

Сын мой там. Весь народ наш там.

(Женщины заливаются. Только слышно, как
вскликивает Гаймят.)

Гильнара

Бедный тигренок... Как он рвет...
Жертвой мне за него бы стать.

Гаймят

Так и быть — пусть баранину рвет!
Разве мало у нас овец?

Гильнара

Пусть дерет, дорогая ханум,
Ему ничего не скажет отец.

(Вдруг далекое душераздирающее предсмерт-
ное ржание... За ним другое... третье...)

Сакина

Ай, аман! Это бой...

Айше

Бой?!

Гаймят (дикое)

Отдайте мужа мне моего!!

Баромид

Ай, ханум! Что такое с тобой?

Гаймят

Мужа отдай!

Баромид

Сила вражья ты!

Видишь, всех взбудоражила ты...

Гаймят

Мужа?!

Баромид

Накликнешь беды на нас!

Женщины! С битвой победною вас!

Камень в полбатмана мой

Четверпушку весит сейчас.

Сакина

Откуда ты знаешь?

Баромид

Затихло у них:

Знают, наши их стали гнать.

Айше

Ой, Баромид... Боюсь, что нет...

Баромид

А что?

Айше

Не слышишь? Топот опять!

Гильнара

Все ближе!

Гаймят

Пропали светлые дни!

Баромид

Что ты, что ты? Джигиты они!

(Топот быстро приближается к крепости.)

Женщины

Разбиты они... Разбиты они!!

(Все начинают метаться... Крики, вой, на-
ступление ужаса. Вбегает Бабек с седлом
на плече. За ним джигиты.)

Баромид

Ай, Бабек! Что делать, скажи.

Бабек

Возьми арбу свою, арабачки,
Мать мою отвезешь туда,
Где старая сакля наша стоит.
А я, ана-джан, ухожу.

Баромид

Куда?

Бабек

Куда же еще? К румийцам пойду,
Как-нибудь исправим беду.
Прощай, ана-джан моя.

Баромид (обнимая его)

Счастливы будьте.

Бабек

Айда, айда... Поскорее в путь!

(Джигит и старуха уходят.)

Шахсултан

Ну, а со мной не простисься, Бабек?

Бабек (вздвигнув)

Не обращай ко мне, ханум...

(Хочет идти, но на миг задерживается.)

Есть у арабов храм — Баальбек.

Знаешь, наверное? Бровлям там

Не уступают нашим горам.

Такой же был в моем сердце храм,

Но злорада твоя смыла его!

Теперь это сердце — могила его.

(Уходит.)

Афшин (появляется на степе)

Вон Бабек! Я видел: Бабек!

Джафар-ага! На берег бег.

Иначе он спасется вплавь!

Аль-Бухари! Навстречу правь

Своих коней! А ты, Боайт,

Ищи наложницу свою!

Его дальнейшую стезю

Узнай у ней.

Набат, набат!

(Бьют в медные барабаны.)

Аль-Бухари! Джафар-ага!

Пятнадцать тысяч!!

Крик

Уррага!

(Афшин исчезает.)

Шахсултан

Боайт!

Боайт

Это кто? Ойе! Это ты?

Благословенье моей нищеты,

Благодаренье твоей судьбе...

Ш а х с у л т а н

Молчи, Бойт! Я слышала все!
Ни-че-го не скажу я тебе.
Последний ты из последних ты!
Поклялся мне, что не сплетник ты,
Но оказался изменник, Бойт!

Б о а й т

О ханум...

Ш а х с у л т а н

Из-за денег, Бойт?
А разве предал бы нас Бабек?

Б о а й т

А кстати: где он сейчас, Бабек?

Ш а х с у л т а н

Где Бабек и в какую из стран
Думает удалиться сейчас —

Все это знает Шахсултан,
Но никогда не узнает Афшин.

Б о а й т

А мы в колодез бросим тебя.
Ведьма такая... Двухосый джип...

Ш а х с у л т а н

Все равно я тебе не скажу,
Хотя б изорвали тело мое.
Только одно я тебе скажу
(Но это совсем уже дело мое)...
Там, у ручья, на тигриной тропе
Старый, старый платан растет.
Только это скажу я тебе:
Нет Бабека подле него —
Не узнаешь о нем ничего.
Но если... оп... поэзия по агустам...
В этот час... окажется... там,
Бери его, врат мой, к нашим врагам!

КАРТИНА ДЕСЯТАЯ

Летняя резиденция арабского калифа — Самарра. Мост через арык на мечетной площади. По ту сторону его — толпа; на мосту — стража; по эту сторону — огромный черный крест, к которому привязан Бабек. Голова его обрита наголо. Тело в крови. Перед ним на оттоманке, покрытой иранскими коврами, роскошно возлежит Афшин. На левой руке его — попугай. Аль-Бухари и Джафар с арапинками рассказывают по мосту.

Т о л п а

— Бабек...

— Бабек!

— Какой Бабек?

Тот самый, да?

— А вдруг не тот?

— Он сына моего рассек...

Убийца!

— Пах! А вдруг уйдет?

— Кровавый тигр!

— Изувер!

— Убийца сына моего!

— Но как поймали мы его?

Ведь говорят — он просто зверь!

— Его и взяли на аркан.

С т а р и к

Его Афшин, арабский князь,
За ним гонясь, как ураган,
Залгал в безводье.

Дж а м ш и д (одетый арабом)

Эй, сакал!

Все это враки.

С т а р и к

Сам ты врешь!

Д ж а м ш и д

А ты послушай: я слышал,
Что просто предали его.

С т а р и к

Эге... Не деда ли его
Ты внук, приятель?

М о г о л (одетый арабом)

Видал нож?

Смотри, сакал, ударю в прудь!

А р а б (тихо)

Сакал: поосторожней будь...

М о г о л

Стоишь под правую как раз!

Г о л о с а (тихо)

— Тут бабекиты среди нас!

— Совсем шеробкине они...

— Прожженной пробкою они
Намазали свое лицо.

— Иди туда.

— Сиди в тени.

— Поидем под это дерево.

(Старика уводят, но и Могол с Джамшидом
оцениваются с толпой.)

Б о а й т (выходя на мост)

Люди города Самарра!
Вот перед вами Кара-Бабек.
Но не пугайтесь. Сегодня с утра
Мы, заперевши в корале его,
Когти его содрали с него.

Г о л о с
— Содрали?
— Когти?
— Но к чему?

Не много ль я того ему,
Что он повешен на кресте?
— Вот так он действует, Афшин...
Вот так он действует везде!
— Вы сами звери!
— Грех на вас!
— Да будет проклят этот князь!

Б о а й т
Люди города Самарра!

Г о л о с а
— Гнэна ты!
— Разбойник!
— Джин!

Б о а й т
Люди города Самарра!
Вас охищает торжество!
Взявши когти и копы его,
По его образу мастера
Чучело набивают сейчас.
Чучело это в вечерний час
(Такое увидите только во сне)
По кафельной площади «Абудилиф»
Продет на африканском слове.

Т о л п а
— Ойе!
— Не надо!
— Не хотим!
— Вы издеваетесь над ним,
Над этим бедным!
— Давай слона!
— Давай!
— Не нужно нам слона!
— Давай!
— Не надо!
— Не хотим!

(В толпе перебралка.)
— На лысину твою слона,
Стервятник ты!
— Могильный гриф!
— Снимайте бедного с креста!
— Арабы, эй! Займем места
На площади «Абудилиф»...
— Ё «Абудилиф!»
— Ё «Абудилиф!»...
— Ё «Абудилиф!»
— Ё «Абудилиф!»...

(Часть толпы хлынула на площадь. В это время Боайт, пронзенный чьей-то стрелой, падает. Джафар врывается в толпу, размахивая арапником.)

Д ж а ф а р
Кто застрелил его?

А ф ш и н (свирепея)
Джафар!
Карай любого! Вон того!
Вот этого! Карай его!
Арапником карай!

Т о л п а (дразня Афшина)
— Кар-кар!
— Арканом и в сарай, Али!
Т о л п а
— Кар-кар!
— Что делаешь, сакал?
— Воронья кость!
— Позор земли!
— Шакал, шакал, шакал, шакал!

(Джафар и стража, нанося удары по толпе и людя зачинщиков арканом, вытесняют народ с площади.)

Б у х а р и
— Афшин-ага!
А ф ш и н
— Шу, что еще?

Б у х а р и
Боайта рана глубока:
Пробито левое плечо.
Но глубже то, Афшин-ага,
Что это спущена была
Азербайджанская стрела.

А ф ш и н
Как ты узнал ее?
Б у х а р и
Она
До синевы закалена,
А на перо пошел тростник.

А ф ш и н
Азербайджанская... Шу, что ж?
Когда передо мною сник
Азербайджанский шейх и вождь,
Когда, как мертвый махаон,
На этот крест наколот он,
Кого бояться мне, мой друг?
Чабанов? Жеребят таких?
Для каждой пары пяток их
Найдется у меня бамбу! —
Но где цирюльник? Брандобрей!
Аллаха нынче я добрей —
Потешь же мастерством меня
(Тебя я златом воспою):
Вплети-ка в боролу мою
Три волоса его коня,
Потом, косицу заплетя,
Ты за ухо ее конец
Заложись.

Ц и р ю л ь н и к
О, якши, наш отец!

А ф ш и н (к Бабеку)

Ну как, Бабек, мое дитя?
Как ты находишь Самарру?
По праву ли она дль нет?
В ней что ни дом, то минарет,
Что ни лужайка, то мечеть...
Пронгрызающим игру
В ней так опрадно умереть.

(Бабек молчит.)

Молчишь? Тебе же до потех?
В плену, конечно, не житье...
По где твой юмор? Где твой смех?
Где остроумие твоё?

Б а б е к (глухо)

Мой смех, араб, такая броня,
Которую ножичком не сквырнешь.
Когда обдирали ногти с меня
Разве, араб, не смеялся я?

А ф ш и н

Смеялся, да... Но отчего ж
Ты так уныл, вися дугой?
Ты не пашел ответа друг
На эти минареты, друг,—
Ведь это ж слабость, дорогой.

Б а б е к (тяжело дыша и улыбаясь)
О собеседник! Алах-виарды!
Что в минарете хорошего есть?
Берется колодец, где нет воды,
И выворачивается ввысь.
Такие бы и у нас нашлись,
Если смотреть не вверх, а вниз.

А ф ш и н (вскочив)

Чудо! Страшный ты человек!
Истинно: смех всегда при тебе.
Однако вот что скажи, Бабек:
Ты, который увидеть смог
В черной пропасти сквозь дымок
У араба один волосок,
Как же ты, мой опал, Бабек,
У чинара тигриной тропы
В бабын тенета попал, Бабек?
Разве это достойный конец!

Б а б е к

Если б я умер, не повидав
Тени чинара того, наконец,
Был бы, дженаб-э-эли, ты прав.

А ф ш и н (иронически)

Штак, ты доволен?

Б а б е к (превозмогая боль)

Доволен, Афшин...

А ф ш и н

Страшный ты человек, Бабек.
Барлик я у твоих вершин...

Ты и без кожи, как на меду —
Унизить тебя никак не могу.

(Бабек не отвечает.)

Прожлять! Засыпает он!
Аль-Бухари! Давай флакон,
Который, как сказали мне,
На время воскрешает дух.
Желаю я, чтобы мой друг
Себя увидел на слоне.

Б у х а р и

По как, однако, он силен!
Он сам, собака, точно слон —
Не охнет даже!

А ф ш и н

Ничего!

Я вырву из души его
Не только вздох, не только стон —
А вой! Особенный! Со дна!
Есть новость у меня одна...
Ему понравится она.

Б у х а р и

О, если б так! Я как в бреду,
Едва лишь вспомню про Барду...
Пантера! Полуночный тать!
Я дал бы вырвать свой язык
За то, чтоб только увидеть
Слезу из глаз твоих косых.

(Бабек приподнимает голову.)

А ф ш и н

Ну, вот и очнулся наш друг Бабек.
Доброе утро! Как спалось?
А кстати, ага: без моих опек
Ты бы, пожалуй, умер уже!
Но помогает юмор уже:
Черные дымы в твоей душе.

Б а б е к

Пет... Я счастлив...

А ф ш и н

Но почему?

Б а б е к

Весь пастушеский Азербайджан
Завидует концу моему.

А ф ш и н

Завидует? Этой твоей красоте?
Но кто согласится, друг мой Бабек,
Вместо тебя повисеть на кресте?

Б а б е к (с трудом)

Когда я скачу... на дыбом... коне...
При ком даже ветер... только... стерво...
Все пастухи... завидуют... мне...
А кто согласится сесть на него?

А ф ш и н

Ну, и упрям ты. Как твоя мать.
А кетати, должен тебе передать:
Мама-джан твоя, Баромид,
В горло себе воткнула нож.
Даже труп её неомыт —
Так и валяется в сакле.

Б а б е к (спокойно)

Врешь.

А ф ш и н

Но как докажу я тебе, Бабек?

Б а б е к

Врешь ты все, длинноухий ишак:
Если б убила себя апа-джан,
Для страшного дела такого, араб,
Но осквернила б она кинжал.
Кто его купит после того,
Как с трупа старухи взяли б его?
Э, араб! Это надо знать:
Не портит вещей моя вещая мать.

А ф ш и н

Верю, ага. Остер твой глаз,
Но ум твой даже и глаза острей!
Все расскажу я тебе сейчас:
Точность твою я хотел испытать...
Прочность всех твоих дел испытать...
Вот как убила себя твоя мать:
Она перерезала горло серпом!

Б а б е к

Врешь. Без ручки был он у нас.

А ф ш и н

Но с ней одна мелочь случилась потом.
Без ручки был этот серп, ага,
И это наверно сердило ее.
За самую сталь держала рука,
Мизинец же вылез на острие.
Но так как ей было мизинца жаль,
То, в горло свое погружая сталь,
Она мизинец приподняла!
Очень опрятной она была.
Эй, Бабек!
Без памяти он...
Погай-ка слова тот флакон,
Аль-Бухари! Он мать узнал...

Д ж а ф а р

Однако ловко он сказал
Про тот кинжал...

Б у х а р и

Но где же вой?

Истошный? Волчий? Горловой?
Кровавой полный густоты?
Тот самый вой, который ты
Нам обещал? Его пока
Не слышу я, Афшин-ага.

А ф ш и н (раздраженно)

Еще услышишь, Бухари!
Сейчас зажгутся фонари
На площади «Абудлиф»...
И медленно, как страшный сон,
Появится под башней слон,
Подобный шахматной туре...
И если бедный малый жив,
То он увидит на одре
Свой же похороны, свой
Чадящий факел пробовой,
Свою же собственную тень,
Плывущую в пустую сень
Небытия. Держу пари,
Услышишь ты не только стон,—
Визжать, как куцые, будет он!
Ты визг услышишь, Бухари!

Д ж а ф а р

Очнулся он, Афшин-ага.

А ф ш и н

Да-да... Прекрасно...

Д ж а ф а р

Но боюсь:
Ему до смерти полшага.

А ф ш и н

Цирюльник, эй! Траву-ярпуз!
А ты, Джафар, устрой над ним
Прохладный ветер опахал.
Аллах алиф! Аллах керим!
Трубу слона я услышал...
Арабы идут... Возшла луна...
Пора бы выводить слона.

Б у х а р и

Слона вывозите!

Г о л о с с м е ч е т и

Слона!

Г о л о с в о т д а л е н и и

Слона...

А ф ш и н

Ну, Кара-Тигр! Пред смертью своей
Увидишь чудо: собственный труп!
Зрелище, правда, не для детей,
Но все-таки громко ты не кричи,—
Вместо тебя пусть орет джарчи .
Джафар!

Д ж а ф а р

Я здесь.

А ф ш и н

Осмотри заслоп.

(Звук трубы.)

А ф ш и н

Слышите? Выступает слон!
(Все замедляет в напряжении. Звон глуга,
бой тамбуринов, хрип труб все ближе, ближе...
Вот уже выбегают толпа мальчишек. Джафар

стоит за линией стражи, отделяющей Афшиши и Бабека от площади. А ль - Б у х а р и по лестничке вошел на плоскую крышу сакли.)

М а л ь ч и ш к и

— Чучело, чучело! Ай-ай-ай!

— Куда уезжаешь, чучело?

— В рай!

— А где твой рай?

— Бараний сарай!

Б у х а р и

Джафар!

Д ж а ф а р

Я тут.

Б у х а р и

Смотри сюда:

Трубач не тот... Вожака не тот...

Д ж а ф а р

Не может быть!

Б у х а р и

Слона ведет

Совсем седая борода...

Д ж а ф а р

Не понимаю ничего.

Афшиш!

Б у х а р и

Оставь... Не тронь его:

Ведь знаешь княжескую пруть?

Возможно, сам он горяча

В последний миг велел сменить

И вожака и трубача.

(На освещенную луной площадь выступает слон, на шее которого сухощкий силуэт, закутанный в окровавленный бурнус. Вокруг слона — воины. Среди них Д ж а м ш и д, М о г о л, Сулейман и др. Поводырем слона М у с а.)

А ф ш и ш

Ну, Черный Тигр! Что слышишь ты?

Ты слышишь вой похоронных труб!..

Эй, Кара-Тигр! Что видишь ты?

Ты видишь чучело! Собственный труп!

(Вдруг чучело срывает с себя бурнус, это старуха Баромид.)

Б а р о м и д

Врешь ты! Мать он увидел свою!

(Афшиш издает душераздирающий крик.)

Б а б е к

Мать моя...

Б а р о м и д

Жив еще Азербайджан!

А ф ш и ш

Убейте ее! Хотя бы в бою!

Джафар! Бухари!

(Афшиш со стражей бросается к слону, вокруг которого завязывается бой, как вокруг крепости. Крики, визг сабель, стоны и рев слона сливаются в дикую музыку. Баромид из маленького лука стреляет по арабам.)

Б а б е к

О, апа-джан!

Да будет меткой твоя стрела...

А где Джамишд? Наступал бы с крыла!

Тут надо слева бить по врагу...

Ах, какой он пеловкий, Джамишд!

Слева! Я... я сейчас... помогу...

(С невероятной силой, напрягая мышцы. Бабек ломает крыло креста. Веревки ослабевают, он освобождает правую руку и высоко заносит над головой выломанное им древко.)

Одна рука — но вождя рука...

(Азербайджан — уррага!)

Ш а р о д

Уррага!

(Бой. Арабы отступают. Баромид спустилась со слона и, бросившись к Бабеку, обняла его колени. Но Бабек со сладостной улыбкой поник на своих веревках. На этот раз он мертв.)

К о н е ц

Седьмой крест

Роман¹

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Генрих Кюблер был в ту же ночь доставлен в Вестгофен для очной ставки. Сначала он словно оцепенел и молча дал увести себя из квартиры Элли. Но по пути его вдруг охватило бешенство; он стал наносить вокруг себя удары, словно человек, подвергшийся нападению разбойников.

Он тотчас был укрошен страшными побоями и, почти лишившись сознания, закованный в ручные кандалы, отупевший, неспособный подыскать хоть какое-нибудь объяснение для случившегося с ним, перекатывался во время езды, словно мешок, по коленям и рукам своих стражей. Когда его привезли в лагерь и штурмовикам был по-ан сигнал приготовиться к приему и они увидели, насколько арестованный избит, то им стало ясно, что приказ комиссара — до допроса к арестованным не прикасаться — на этого человека уже не распространяется, ибо относится только к тем, кого доставляют невредимыми. На миг воцарилась глубокая тишина, затем вдруг поднялось то особое глухое, насекомобразное жужжание, которое всегда этому предшествует, затем раздался звонкий вопль одного человека, шум и топот, затем, быть может, снова настала тишина, почему «быть может» — потому, что никто никогда еще не был простым свидетелем при этом, никто никогда еще не мог точно описать этого без несомкнутого неистового прохота собственного сердца.

Генрих Кюблер был избит до неузнаваемости, его унесли без сознания. Фаренберг

гу доложими: доставлен четвертый беглец — Георг Гейслер.

С тех пор, как два дня тому назад на него обрушилось несчастье, комендант Фаренберг спал не больше, чем любой из беглецов. И его волосы начали седесть. И на лице его появились морщины. Когда он думал о том, что для него в данном случае поставлено на карту, когда представлял себе, что для него потеряно, он скрючивался и стонал.

Между окнами висел портрет фюрера, который, как воображал себе Фаренберг, предвзначил его для власти. Неограниченной или почти неограниченной. Быть господином над людьми, располагать их душой и телом, иметь власть над жизнью и смертью; меньше — не стоит. Над взрослыми, сильными мужчинами, которых ставишь перед собой и можешь сломить — сразу или постепенно, — и их тела, только что выпрямленные, опускаются на четвереньки, и эти люди, только что гордые и вызывающие, бледнеют и заикаются от смертельного страха. Многих прикончили совсем, из многих сделали предателей, многих отпустили, но с согбенной выей, с подорванной волей. Он наслаждался ощущением своей власти. Правда, иной раз кое-что портит удовольствие... При некоторых допросах, например, как в истории с этим Георгом Гейслером: нечто неопределимое, ускользающее, нечто в самом человеке — неосязасное, неуязвимое, неуничтожимое. При допросах Гейслера всегда оставались еще его взгляд и улыбка, какой-то отблеск на роже, хоть и дупишь по ней все снова и снова. С точностью, почти присущей представлениям безумных, увидел он, как улыбку на лице Георга Гейслера медленно тасят и засыпают несколько лопат земли.

¹ Окончание 1-й книги. См. «Октябрь» № 7—8 за 1941 г.

Вошел Циллиг.— Господин комендант! — он задыхался, настолько велика была его растерянность.— Что?— Не настоящего при- тащили.— Он оцепенел, так как Фаренберг сделал угрожающее движение. Правда, Циллиг не шевельнулся бы и тогда, если бы Фаренберг ударил его. Ведь, как никак, Фаренберг до сих пор ни разу не упрекнул его. Но и без упреков неопределенное ощущение вины наполняло по самое горло огромное, мощное тело Циллига. Он задыхался.— Тот, кого они захватили вчера вечером во Франк- фурте, в квартире фрау Гейслер,— не наш Гейслер. Произошла ошибка.— Ошибка? — повторил Фаренберг.— Да, ошибка, ошибка,— повторил и Циллиг, словно оба утешали себя этим словом.— Какой-то прохвост, с которым развлекалась эта баба. Я рассмотрел его. Хотя ему морду и своротили до конца его дней, все же и моего сынка узнал бы.— Ошибка...— сказал Фаренберг. Он словно что- то обдумывал. Циллиг, недвижный, наблюдал за ним из-под тяжелых век. У Фаренберга начался обычный припадок ярости. Он заревел: — Что это здесь, к чертовой матери, за освещение? Носом вас, что ли, в него ты- кать надо? Неужели нет никого, кто бы мог винтить лампу тут наверху? Монтера у нас нет? Нет? А на дворе! Который час? Что это за туман? Господи, чуть не каждое утро одно и то же! — Осень, господин комендант.— Осень? Эти гнусные деревья там немедленно обкарпать! Спилите-ка вершины, живо, живо!

Спустя пять минут в комендантском ба- раке и за его пределами закипело какое-то подобие работы. Несколько заключенных под надзором штурмовиков шилили вершины пла- танов, росших вдоль барака номер 3. Один из заключенных, по профессии электротех- ник, под надзором переносил несколько ламп с одного места на другое. На дворе слышался треск обрубаемых веток и визг пилы, а он лежал в бараке на животе и возился с вы- ключателями. Один раз он поднял глаза и перехватил взгляд Фаренберга. «Такого взгля- да,— рассказывал он спустя два года,— я в жизни моей не видывал. Мне казалось, этот морзавец сейчас на мне плясать начнет, так что позволочник треснет. Но он только ле- гонько дал мне под зад и сказал: «живо, жи- во, живо». Затем мои лампы были испробо- ваны, они горели,— и их выключили, так как стало светло: у платанов-то ведь были спилены верхушки — и вообще наступил день».

Тем временем Генрих Кюблер, все еще не приходивший в сознание, был передан за- ботам лагерного врача. Хотя даже комиссары Фишер и Оберкамп были уверены в том, что

утверждение Циллига — правда и этот чело- век — ни в коем случае не Георг Гейслер, нашлись все же и такие, которые, после осмотра парня, изувеченного до неузнаваемо- сти, с сомнением пожимали плечами. Обер- камп не переставал отрывисто и пронзительно пошвыстывать — скорее шипение, а не свист; так он давал исход своим чувствам, когда про- клятый уже было недостаточпо. Фишер ждал, зажав телефонную трубку между плечом и ухом, пока Оберкамп отшпиит. В их кабинете все еще была ночь, ставни были закрыты, горела обыкновенная настольная лампа и переносная лампа в 1 000 свечей, иногда при- менявшаяся при допросах. Фишеру захоте- лось вдруг ударить светом этой лампы в лицо своего начальника, чтобы тот, наконец, пе- рестал шипеть. Но тут последовал вызов из Вормса, и шипение прекратилось само собой. Фишер крикнул: — Они поймали Валлау! — Оберкамп потянулся за телефонной трубкой, стал что-то быстро записывать.— Да, все четверо,— сказал он. Затем он сказал: — Квартиру опечатать.— Затем: — Доставить сюда.— Затем прочел Фишеру: — Итак: когда позавчера в соответствующих городах были проверены соответствующие серии, то, по- мимо родственников Валлау, сюда был вклю- чен еще целый ряд других лиц. Все эти лица были вчера еще раз допрошены. Среди тех пяти, которые были взяты из третьей серии, вызвал подозрение некий Бахман. Трамвай- ный кондуктор, в тридцать третьем пробыв два месяца в лагере, отпущен на свободу для слежки за его знакомствами — благода- ря этой слежке мы, помните, в прошлом го- лу, в деле Впланда, попали на след конспи- ративного адреса Арлсберга — с тех пор по- литической деятельностью не занимался; при первом и втором допросе все отрицал, к нему была применена... угроза, и вчера он, нако- пец, стал податливее. Выяснилось, что жена Валлау приготовила на их даче под Вормсом одежду, какую и для какой цели, ему, яко- бы, неизвестно. Под надзором отпущен домой для дальнейшей слежки. Валлау задержан в двадцать три часа двадцать минут на этом участке, отказывается до сих пор от дачи показаний; Бахман до сих пор из своего дома не выходил, в шесть на работу не явился; возникает подозрение о самоубийстве, сведе- ний от семьи еще не поступало.— Стоп! — сказал Оберкамп.

Он побежал к Фишеру: — Сообщение для печати и радио как раз послет к утрен- ней передаче.— Оберкамп два дня боролся за опубликование этого материала. Ему возражали, что немедленное оглашение всего материала, чтобы привлечь публику к ока- занию содействия при поимке белгцов и

возбудить против них негодование нации, было бы целесообразным лишь в том случае, или бы речь шла о двух — самое большее, трех беглецах: число позволительное, такой побег всегда возможен. Но оповещение о поимке стольких людей может и не способствовать понижке, ибо семь, шесть, даже пять беглецов — это непозволительно много и дает не только основания для предположения, что их еще больше, но и для всевозможных догадок, подозрений, сомнений, слухов. Теперь все это устраивалось, так как с поимкой Вальду допустимое число было достигнуто.

— Ты слышал, Фриц? — спросила девушка, не здороваясь, едва мальчик показавшись в воротах. Под особым солнцем, на особой траве белила она, должно быть, платок, которым повязала голову.

— Что слышал? — спросил мальчик.

— Да только что, — сказала девушка, — по радио.

Мальчик сказал:

— Радио! У меня дела по горло. Пауля с опом в виноградник проводи, мать молоко сдавать проводи, сам вместо нее в хлев поспей — и все до половины восьмого. Да пропадай она пропадом, эта дребезжалка.

— Да, но сегодня, — сказала девушка, — ведь насчет Вестгофена передавали. Насчет трех беглецов, которые зарубили штурмовика Интерлинга лопатой. Они в Вормсе кого-то обрабили и разбежались в трех направлениях.

Мальчик сказал спокойно:

— Да. Чудно. Вчера они в «Барпе» рассказывали — Ломейер из лагеря и Матес, — что этому, которого хватили по голове лопатой, подрезало, всего только веко наискось опаралано, просто пластырем залепили. Трое, ты говоришь... — Жалко, — прервала его девушка, — что они как раз твоего до сих пор не поймали. — Ну, моей куртки у него уже давно нет, — сказал Фриц Гельвиг, — нет мой не так глуп. Мой уже, наверное, не ходит где в одном и том же. Мой, наверно, догадался, что его платье описано. Может быть, он куртку уже загнал, висит она теперь в чем-нибудь чужом шкафу или в чужой мастерской. Он ее, может быть, в Рейх зашвырнул, набил камней в карманы.

Девушка удивленно посмотрела на него. — Сначала мне ее здорово жалко было... теперь прошло... — добавил он.

Только сейчас подошел он к ней, чтобы навестать улущенное. Он схватил ее за плечи, легонько потряс, легонько поцеловал. Перед тем, как уйти, он на миг прижал ее к себе. Он думал: «Тот ведь знает, что никогда ему живым не выйти, если они поймут

его». При этом он из всех беглецов имел в виду только одного, с которым был чем-то связан. Сегодня ночью он видел во сне, будто идет мимо Альдингерова сада. За заббором, среди плодовых деревьев, он увидел пугало — старая черная шляпа, несколько палок и на них — его бархатная куртка. Этот сон, казавшийся ему теперь даже смешным, ночью смертельно напугал его. И сейчас он вдруг расстал руки. От годовного платка девушки исходил легкий свежий запах, присущий только что отбеленной ткани. Он слышал его впервые, и в его мир словно вошло что-то, от чего составные части этого мира выступили отчетливее, грубее и нежные.

Когда он десять минут спустя, в школе, наткнулся на садовника, тот начал опять.

— Ничего нового? — Насчет чего? — Насчет куртки. Теперь о ней уже говорят по радио. — О куртке? — спросил Фриц Гельвиг испуганно, так как о куртке его девушка ему ничего не сказала. — Его видели в последний раз именно в куртке, — начал садовник... — Теперь она, верно, уже пропотела подмышками. — Ах, оставь меня, пожалуйста, в покое, — закричал мальчик.

Когда Франц вышел в кухню Марпетов, чтобы наспех выпить кофе, перед тем как укатить на велосипеде, он увидел, что у марпетова кухонного очага сидит пастух Эрнст.

— Слышал, Франц? — сказал пастух. — Что? — Тот из наших мест, который тоже участвовал... Кто? В чем участвовал? — спросил Франц. — Если не слушаешь радио, — сказал Эрнст, — не будешь на высоте событий. — Он обернулся к семье, сидевшей вокруг большого кухонного стола уже за вторым кофе, — позади было несколько часов работы, сортировка яблок: два оптовика были вызваны мазаэтра на базар во Франкфурте. — А что вы сделаете, если этот тип вдруг окажется у вас в сарае?

— Запру сарай, — сказал зять, — покачу на велосипеде к телефону, приведу полицию... — Для этого тебе не нужна полиция, — сказал тесть, — нас хватит, чтобы его прищучить, чтобы его доставить в Гехт. Верно, Эрнст? Да меня ведь здесь завтра уже не будет, — сказал он. — Я буду уже у Мессеров. — Он может сидеть и у Мессеров в сарае, — сказал зять. Франц все это слушал, стоя в дверях и словно окаменев. — Он, колючко, может везде сидеть, — сказал Эрнст, — в каждом дупле, в каждом старом сарае. Но там, куда я загляну, он наверняка сидеть не будет. — Почему? — Потому что я лучше туда

совсем не загляну,— сказал Эрст,— не желаю я видеть такие вещи.— Молчанье. Все поглядывают на Эрста, у которого большой выеденный бутерброд торчит вокруг рта, как загородка.— Ты можешь себе это позволить, Эрст,— говорит фрау Марнет,— оттого, что у тебя нет своего хозяйства и вообще ничего своего. Если этого беднягу завтра все-таки спаяют и он скажет, где просидел прошлую ночь, так за это можно в каталажку попасть.— В каталажку? — сказал старик Марнет, молчаливый мужичок, который почему-то изрядно высох, хотя жену, при той же жизни и на тех же харчах, разнесло горой.— В концлагерь попадешь и никогда не выйдешь. Для всей семьи беда будет.

— Я так не могу к этому подходить,— сказал Эрст. Своим необычайно длинным, гибким языком он аккуратно облизал губы, дети с удивлением смотрели на него.— У меня в Шнейденгейме от матери только кое-какая мебелька осталась да моя юберегательная книжечка. Семьи-то у меня пока ведь нет, одни овцы. В этом отношении я — как фюрер: ни жены, ни детей. У меня есть только моя Пелли. Но у фюрера тоже была раньше экономка. Я читал, он сам был на ее похорошах.

Тут Августа сказала:— Одно только могу тебе сказать, Эрст: марнетовой Софии я на тебя глаза раскрыла. Как ты можешь ей так врать, будто ты обручился с Марихен из Богценбаха? Ты же в позапрошлом воскресенье сделал предложение Элле.— Эрст сказал:— Такое предложение не имеет решительно никакого касательства до моих чувств к Марихен.— Прямо многоженство какое-то,— сказала Августа.— Не многоженство,— сказал Эрст,— просто у меня такой характер.— У него это от отца,— заявила фрау Марнет:— когда его отец был убит на войне, так все его невесты с эрстовой матерью вместе ревели.— Эрст спросил:— А вы тоже ревели, фрау Марнет? — Фрау Марнет покосилась на своего сухонького мужичка. Она ответила:— Одну слезинку-то я уж пролила.

Франц слушал, затаив дыхание, словно он ожидал, что слова людей в марнетовой кухне сами собой должны задержаться там, где подсказывало им его сердце. Однако — ничего подобного: слова и мысли людей весело разбежались по всевозможным направлениям. Франц рванул свой велосипед из сарая. На этот раз он и не заметил, как спустился в Гехст. Жужжание колес вокруг него и визг на узких улицах казались чем-то далеким.— Ты его не знал? — спросил один в раздевалке,— ведь ты же раньше там жил? — Определенно нет,— сказал Франц.— Эта фамилия мне ничего не говорит.— А ты посмотри хо-

рошенько,— сказал другой, сунув ему под нос газету. Франц опустил взгляд на лица трех мужчин. Если для него была, как удар, встреча с Георгом — ведь это была все-таки встреча, ибо Георг с объявления о бежавшем был, несмотря на перемену, все же Георгом из его воспоминаний,— то оба чужих лица на приказе об аресте справа и слева от Георга также поразили Франца и пристыдили за то, что он думает только об одном.— Нет,— сказал он,— снимок мне ничего не говорит. Господи боже, сколько людей мимо тебя проходит.— Газетный листок побывал в десятке рук.— Нет, не знаем,— раздавались голоса,— господи боже, трое сразу,— может, и еще больше...— Почему они удрали? — Спрашивая еще почему! Лопатой часового стукнули.— Теперь им крышка.— Отчего? Ведь они же на воле.— А надолго? — Не хотел бы я быть в их шкуре.— А этот совсем старый, взгляни-ка.— Этот мне все-таки кажется знакомым.— Им, верно, все равно была бы крышка, терять было нечего... Чай-то голос спокойный, может быть несколько сдвинутый, так как говоривший не то нагнулся над своим стаканом, не то затрясывал ремешок на башмаке,— заметил:— А будет война, что тогда с лагерями сделают? — Людей, торопливо и судорожно одевающихся, охватил холод. И тот же голос отвечал себе, тем же тоном:— То, чего требует внутренняя безопасность.

Кто, собственно, это сказал? Лица не видели, человек как раз в это время нагнулся. Голос же был знаком. Что, собственно, он сказал? Ничего запрещенного. Наступило короткое молчанье, и не было ни одного, кто бы при втором гудке сирены не вздрогнул. Когда они проходили через двор, Франц услышал за своей спиной вопрос:— А что, и Альберт все еще сидит? — и кто-то, ответил:— Да.

Биндер, старик-крестьянин, бывший на приеме у Левенштейна, только что хотел прикрикнуть на жену, чтобы она выключила радио. С тех пор как он вчера вернулся из Майнца, он катался по своему клеенчатому дивану с еще более свирепыми болями — так ему, по крайней мере, казалось. Вдруг он прислушался, разинув рот. О жизни и смерти, которые в нем дрались, забыл он. Он засрал на жизнь, чтобы поскорее помогла ему надеть сюртук и башмаки. Он велел запрячь телегу. Хотел ли он отомстить врачу, который оказался бессильным перед его болезнью, или пациенту, который вчера, перевязав руку, спокойно ушел своей дорогой, тогда как и ему,— это ведь сейчас выяснилось,— надлежало умереть? Или старик про-что надеялся через это теснее слиться со всем живым?

Тем временем Георг вылез из сарая раньше, чем ему могла грозить опасность быть кем-нибудь открытым. Он чувствовал себя таким измученным, что, казалось, был не в силах и шага сделать. Но взлет нового дня, более мощный, чем все ужасы ночи, увлекает с собой каждого, кто его дождался. Хлестала по ногам мокрая зелень дикой спаржи, дул ветер, такой легкий, что только чуть рассеял туман. Георг, хотя и не видел сквозь туман, все же почувствовал новый день, который шыл над ним и надо всем. Вскоре мелкие ягоды дикой спаржи ярко зардели в лучах низкого солнца. Георг решил сначала, что пылавшее пятно на глистом берегу и есть солнце, но, подойдя ближе, увидел, что это костер, горевший на косе. Медленно, но неудержимо туман исчезал. Георг увидел на косе несколько плоских зданий, лишенный деревьев, окруженный стаей лодок мыс и открытую воду. Перед ним посреди поля, возле юрты, которая вела от шоссе к берегу, стоял дом; из него-то ночью, вероятно, и вышла влюбленная парочка. Вдруг с полуострова донесся такой взрыв барабанной дробей, что у него зубы застучали. Так как прятаться было поздно, то он, выпрямившись, шагнул дальше, готовый ко всему. Но кругом царил спокойствие. В крестьянском доме ничто не шелохнулось, только с косы донеслись мальчишеские голоса, которые показались ему, только потому, что они не были голосами мужчин, звучными и ангельски прозрачными. Раздалось хлопанье весел, оно приближалось к берегу; костер на косе потух.

Эти люди, от встречи с которыми он уже не мог уклониться, оказались двумя десятками мальчуганов, которые с дикими криками, словно индейцы, врываются на охотничью территорию враждебного племени, выпрыгнули из лодок, выгрузили на берег рюкзаки, кухонную посуду, бакл, палатку и флаги. Скоро они успокоились, и этот живой клубок быстро разделился на две группы, как заметил Георг, — по приказу одного из мальчуганов, сухопарого светлого блондина, который решительным, но еще совсем детским голосом так и сыпал необычайно благоразумными указаниями. Георг сел на песок и смотрел с таким видом, словно не сам он перерос детство, а оно было только что у него похищено. — Пошевеливайтесь, — приказал сухопарый мальчуган остальным, которые тем временем выстраивались для переклички. Сухопарый только что заметил Георга. Часть мальчишек занялась отыскиванием плоских камешков; уже было слышно, как они считают их подскоком над водой. Другие уселись в по-

луметре от Георга на траве вокруг маленького кудлатого мальчугана; он что-то вырезывал, держа предмет на коленях, и увлечен был своим занятием до самозабвения. Некоторые мальчишки приняты особые позы и стали говорить так, как говорят дети, когда чувствуют, что за ними наблюдает взрослый, чем-то их привлекающий.

Смуглый мальчуган вскочил, пробежал мимо Георга и с озабоченным видом замаяхнулся, подбросил предмет, который перед тем вырезал, высоко в воздух. Предмет упал перед ним на землю, как и все, что подвержено закону тяготения, — но это, казалось, чрезвычайно огорчило мальчишка. Он поднял свое произведение, посмотрел на него, нахмурившись, уселся снова и снова начал строгать. Любопытство его товарищей перешло в насмешку, Георг же сказал улыбаясь, так как он за всем этим наблюдал: — Ты хочешь сделать бумеранг? — Мальчишка в упор посмотрел на него решительным спокойным взором, который Георгу очень понравился. — Я не могу тебе помочь, у меня рука ушиблена, — сказал он, — но я, может быть, смогу тебе объяснить!.. — Его лицо потемнело. «Разве же мальчишки вчера выследили Нельдера в Бухенуа? Неужели и этот вот, с его прекрасным спокойным взором, неужели и он барабанил в ворота?»

Мальчишки окружали Георга. Ничего для этого не сделав, Георг оказался среди них. Ему не пришлось даже, как крысолову, играть на флейте. Мальчуганы уже чуяли своим здоровым чутьем, что с этим человеком произошло что-то необычайное, какое-то приключение или несчастье, или что у него особая судьба. Все это было им, правда неясно, сны только придвинулись к Георгу, болтали, коснулись на его забинтованную руку.

В это время перед Оберкампом в Вестгофене уже лежало донесение о том, что хотя и не сам Георг Гейслер, но его последняя телесная оболочка — коричневая вельветовая куртка с застежкой-молнией — захвачена государством. Лодочник, выменяв куртку накануне вечером, отправился к торговцу старым платьем, чтобы продать ее и напиться на вырученные деньги. Его невеста вязала ему немало пульверов, и обмен был для него нежданной поживой. Однако торговец старым платьем, услышав по радио о приметах беглецов и получив строжайшее предостережение, так как уже не раз скупал запрещенный товар и в его лавке даже производили обыск, — задержал его.

Сначала лодочник ныл, что приходится отдавать такую великодушную вещь полиции. Он успокоился, когда ему обещали вознагра-

дуть за убытки. Себя ему было нетрудно обещать, ведь у него имелся чуть не десяток свидетелей обмена. У свидетелей же сложилось такое впечатление, что обменявшийся вместе с кем-то еще направился в сторону Петерсау. При допросе скоро выплыло и имя спутника: Щуренок.

Щуренка можно было раздобыть немедленно. Оберкэмп отдал необходимые распоряжения. Ему чудилось, что на эти еще совершенно запутанные события пролился новый луч света. Среди поступивших донесений особенно выделялось показание некоего Биндера из Вайзенгау. Последний сообщил, что прошлым утром на приеме у врача Левенштейна он заметил подозрительного человека, похожего на портрет в объявлении о бежавшем, и что в то же утро он повстречал этого человека с свежей повязкой на руке, направлявшегося к Рейну. Всех этих людей следовало немедленно вызвать. По их показаниям можно было установить картину бегства Гейслера до вчерашнего полдня, из нее же можно было заключить и о его дальнейшем пути.

Мальчуганы окружили Георга тесным кольцом так, что кудлатый, вырезавший бумеранг, теперь оказался в стороне. Вдруг все оглянулись: от острова плыла одна единственная лодка. Из нее вышел человек с рюкзаком и рослый мальчишка—черты его продолговатого ясного лица, как скоро стало видно, были правильные и смелые и уже не совсем мальчишеские.— Дай сюда,—сейчас же обратился этот мальчишка к кудлатому, выступил вперед и залустил бумеранг особым ловким движением, так что бумеранг завертелся волчком вокруг самого себя. Тем временем из крестьянского дома вернулась вторая группа мальчишков. Учитель сухо похвалил мальчишка, который распорядился всем так быстро и аккуратно. Затем все снова выстроились, началась переключка. Тронулись в путь. Поднялся и Георг.— Славные у вас мальчуганы, господин учитель,— сказал Георг.— Хейль Гитлер,— подхватил учитель. У него было смуглое, очень мощное лицо, которое, однако, вследствие постоянных усилий сдерживать молодежь, казалось суховатым.— Да, класс хороший.— И, хотя Георг больше ничего не сказал, он добавил:— самая основа была хороша. Я извлек из него, что было в моих силах. К счастью, я на паек перешел с ними в следующий класс.— Очевидно, в жизни этого человека играл какую-то роль тот факт, что ему оставили тот же состав учеников. Георгу даже не приходилось особенно напрягаться, чтобы беседовать с этим человеком. Ночь оказалась вдруг далеко поза-

ди. Так непринужденно течет обычная жизнь, что ее поток уносит с собой каждого, кт только в него вступает.— А далеко еще д рыбалки? — Меньше двадцати минут,— сказал учитель,— мы ведь все туда идем. «Он должен прихватить меня на тот берег»,— решил Георг. «Он прихватит меня». — Вперед вперед,— сказал учитель мальчуганам. Он замечал притягательной силы незнакомого, потому что уже сам подчинился ей. Рослый парнишка, приехавший с ним в лодке, все еще шел рядом. Учитель положил руку на его плечо. Но Георг, если бы ему разрешили из всех этих мальчишков выбрать себе спутника,— выбрал бы отнюдь не красивого подростка, шагавшего рядом с учителем, и не мудрого сухаря, а маленького с бумерангом. Ясный взгляд этого мальчугана переклаивался на Георга и словно говорил о том, что мальчишка видит больше, чем остальные дети. Георг почувствовал легкий озноб. Он беседовал с учителем совершенно непринужденно.— Вы разве ночевали под открытым небом? — Да,— сказал учитель,— у нас там в долине есть пристанище. Но ради тренировки мы ночевали возле дома. Вчера, с помощью планов, мы уяснили себе, каким образом мы сможем сегодня зыпать вон те холм, а потом, все глубже отступая в историю...— понимаете,— как бы это осуществило войско рыцарей, как это осуществили бы римляне...— Хочется опять к вам в класс поступить,— сказал Георг,— вы хороший учитель.— Когда что любишь, так хорошо и делать будешь,— сказал учитель.

Они спустились к воде по склону мыса. Рядом с ними свободно текла река. Теперь было видно, что долина, все заслонявшая своими кустарниками и группами деревьев, это только узенький треугольничек среди бесчисленных выступов берега и других долин. Георг подумал: «Если я попаду на ту сторону, я смогу сегодня же быть у Лени».

— Вы участвовали в войне? — спросил учитель.— Георг понял, что этот человек, который вероятно одних лет с ним, считает его гораздо старше себя. Он сказал:— Да.— Вы могли бы кое-что рассказать моим мальчуганам. Я пользуюсь каждой возможностью.— Ну, я разочаровал бы вас,— сказал Георг,— я плохой рассказчик.— О войне я знаю от отца,— сказал учитель,— но он никогда о ней не рассказывал подробно.— Нужно надеяться, что ваши мальчишки останутся целы и невредимы.— Учитель сказал:— Надеюсь, что невредимы,— он подчеркнул последнее слово,— то-есть, я хочу сказать, что они благополучно пройдут через испытание. Не то, что они останутся невредимы, избежав его.— У Георга билось сердце, так как он увидел по-

ред собой двери и ступени рыбалки. И все же привычка интересоваться людьми была в нем так сильна, что он ответил: — Вы вкладываете всего себя в работу, это тоже испытание.— Я не об этом сейчас говорю,— сказал учитель.— Его слова были сказаны также с расчетом на мальчика, который шел, выпрямившись, рядом с ним.— Я говорю о последнем испытании, о борьбе за жизнь и смерть. Через это надо пройти. Как это мы заговорили на такую тему?..— Он еще раз посмотрел на неведомого спутника. Будь дорога длиннее, он охотно поделился бы своими мыслями с этим человеком. Сколько признаний слышит в пути молчаливый! — Вот мы и пришли. Скажите, вам не трудно было бы прихватить с собой нескольких мальчиков? Не трудно, совсем не трудно,— сказал Георг, у которого сердце билось чуть не в горле.— Мой коллега обещал мне взять часть мальчиков к себе в класс, а мы с остальными еще побродим по песку; я дождусь, пока вы не отведете.— «Может быть, маленький «Бумеранг» пойдет со мной»,— подумал Георг. Но когда мальчики в третий раз были выстроены и пересчитаны, маленький «Бумеранг» оказался, к сожалению, в группе учителя.

Щуренок доказал в Вестгофене, что он умеет описывать точно и остроумно. Праздношатающийся такого сорта обычно превосходно умеют наблюдать. До действия они никогда не доходят, наблюдения остаются в их голове, как перестраченное сокровище. Щуренок обстоятельно описал комиссарам, как его вчерашний спутник смертельно испугался, когда они дошли до выступа Петересау.— Перевязка у него была свежая,— сказал он. «Марля снега белее, у него нехватало по меньшей мере пяти зубов. Верно, так: трех сверху и двух внизу, потому что дыра наверху была еще пошире, чем внизу. А с одной стороны,— Щуренок сунул себе в рот собственный согнутый указательный палец,— был вот такой разрыв или, как это сказать, словно кто-то хотел дотянуть ему пасть до левого уха».

Наконец, Щуренка отпустили с благодарностью. Оставалось только опознать куртку. Тогда можно было бы по всем железнодорожным станциям и мостам, по всем полицейским постам и пунктам, по всем рыбалкам и гостиницам, словом по всей стране, передать по радио новые приметы.

— Фриц, Фриц,— раздавалось теперь по всей школе Даррэ,— твоя куртка нашлась!— Когда Фриц это услышал, у него все в глазах заverteлось. Он выбежал из школы. За сараем кончали чинить дорогу. Фриц заглянул в оранжерею. С созревших бегоний садовник Гюлтшер сам собирал семена, чтобы тут же их рассортировать.— Моя куртка нашлась.— Не оборачиваясь, садовник сказал:—

Ну, значит, они уже совсем пагоняют его. Ну, что ж, радуйся.

— Чему? Нивесть чья, пропотевшая, изгаженная, задрызганная куртка!— А ты погляди на нее: может, и нет.

— Шет,— закричали мальчуганы, окружавшие Георга. В тихом воздухе уже было слышно пыхтение мотора. След от лодки, плывшей поперек реки, немного более светлый, чем остальная вода, тянулся почти столько же времени, сколько нужно было лодке, чтобы доплыть до берега. Лучи утреннего солнца зажигали то шарф на шее у лодочника, то птицу на лету, то белую стену на берегу, то верхушку колокольни далеко между холмами, словно именно эти предметы заслуживали того, чтобы быть запечатленными глубоко и лавеки. И мальчуганы все затихли, ибо там, где тишине дают войти, она проникает глубже, чем свист и барабанный бой. Георг же видел часового возле рыбалки на том берегу. Все ли еще он стоит там? Не стоит ли он там из-за него? Мальчуганы окружили его, увлекли вниз по ступеням, сгрудившись вокруг него в лодке. Георг поднял голову. Он увидел далеко позади Таунус, где он раньше частенько бывал, где он бывал и во время сбора яблок с кем-то,— кто же это был? Франц? Теперь опять должны быть яблоки. Видишь, уже осень. Есть ли на свете что-нибудь прекраснее? И небо уже не мглистое, а безоблачное, сероголубое. Вдруг мальчуганы прервали свою болтовню, стали тоже глядеть туда, куда этот человек смотрел таким странным взглядом, но решительно ничего не увидели. Жена лодочника стала собирать деньги за проезд. Георг разменял свои пятьдесят пфеннигов, у него осталось только сорок пять. Они уже миновали середину реки. Часовой недвижно смотрел на приближавшуюся лодку. Георг опустил руку в воду, не сводя глаз с часового. Тогда все мальчуганы тоже опустили. Ах, все это — наваждение, но если тебя поймут, доставят и будут пытаться, ты пожалеешь о том, что мог покончить с жизнью так просто.

От школы Даррэ автомобилем до Вестгофена нет и пяти минут. Фриц представлял себе, что Вестгофен — это что-то адское. Но он увидел только бараки, несколько платанов с отрубленными верхними, тихое солнце осеннего утра.— Вы Фриц Гельбиг? — Хейль Гитлер! — Ваша куртка нашлась. Вон она лежит.— Фриц покосился на стол. Там лежала она, его куртка, коричневая и новенькая, вовсе не загаженная и окровавленная, как он боялся. Только на шве одного из ру-

кавов темнело какое-то пятно. Он вопро-
сительно посмотрел на комиссара. Тот, улыбаясь,
кивнул ему. Фриц подошел к столу, пощупал
рукав. Затем опустил руку. — Это же ваша
куртка, — сказал Фишер. — Что? Наденьте
ее, — сказал он улыбаясь, так как Фриц все
еще колебался. — Действуйте, — сказал он
громче. — Или, может быть, это не она? —
Фриц опустил глаза. Он сказал еле слыш-
но: — Нет. — Нет? — сказал Фишер. Фриц
решительно покачал головой, несмотря на
всеобщую растерянность, вызванную его сло-
вами. — Хорошенько рассмотрите ее, — сказал
Фишер, — разве это не ваша куртка? Ты на-
ходишь какую-нибудь разницу? — Фриц при-
нялся объяснять, сначала опустив глаза и за-
каясь, затем все обстоятельнее, почему это
не его куртка. У его куртки была застежка-
молния на кармане, на нем была пуговица.
Вот здесь вот у него была дырочка от каран-
даша, а тут подкладка целая. И чем больше
он говорил, тем больше вспоминалось ему
различий, так как, чем добросовестнее он их
описывал, тем спокойнее у него становилось
на душе. В конце концов его грубо прервали
и отослали прочь. Когда он пришел к себе в
школу, он заявил: — И совсем не она оказа-
лась. — Все удивлялись и смеялись над ним.

А Георг давно уже вылез из лодки и, окру-
женный своими мальчуганами, прошел мимо
часового. Простившись со всеми, он зашагал
далее по асфальтовому шоссе, которое ведет
из Эльвлия в Висбаден.

Оберкамп пошвытывал, не переставая, до
тех пор, пока у Фишера, сидевшего за сто-
лом, не задрожали руки. Этот сорванец с вос-
торгом схватил бы свою куртку, насчет кото-
рой он столько ныл. Еще счастье, что он ока-
зался честным и не взял куртки. Так как эта
куртка оказалась не той, которая была укра-
дена, то и меняльщик куртки был не тем,
кого они искали. И врача Левенштейна схва-
тили зря. Даже если верно, что человек, ко-
торому он вчера наложил повязку, и был
меняльщиком куртки.

Оберкамп мог бы еще свистеть долгие часы,
если бы через весь лагерь не прошел как бы
внезапный толчок. Кто-то бежал бегом:

— Валлау везут.

Впоследствии кто-то так описывал это
утро: «На нас, заключенных, поимка Валлау
произвела, примерно, такое же впечатление,
как падение Барселоны или въезд Франко в
Мадрид или подобное же событие, из которого
как будто следует, что вся власть на земле
принадлежит врагу. Побег семерых имел для
остальных заключенных жесточайшие послед-

ствия. И все-таки мы перепоисли я лишние
миши и одеял, и увеличение принудительных
работ, и бесконечные допросы с побоями и
угрозами — спокойно, даже порой раз насмеш-
ливо. Наши чувства, которых мы не могли
скрыть, еще больше раздражали мучителей.
Нам чудилось, будто это мы выслали беглецов
вперед разведчиками. Хотя мы ничего о их
плане не знали, казалось, что это нам уда-
лось что-то замечательное. Многим из нас
враг представлялся всемогущим. Самые силь-
ные люди могут иной раз ошибиться, ничего
при этом не теряя, и ошибки делают их еще
более человечными; но всемогущество или то,
что себя вылает за него, не смеет ошибаться:
или оно всемогущество или ничто. Если же
удается нанести хотя бы малейший урон ка-
залось бы всемогущему врагу, значит, все
может удасться. Это чувство сменил испуг и
скоро — отчаяние, когда стали привозить
беглецов одного за другим, захватывая их
сравнительно очень быстро и, как нам каза-
лось, с издевательской легкостью. В течение
первых двух дней и ночей мы все спраши-
вали себя: неужели они поймают Валлау?
Мы его едва знали. Он пробыл среди нас
всего несколько часов, когда был сюда приве-
зен, затем его сейчас же отвели на допрос.
Два или три раза мы видели, как его уводили
после этих допросов: он шел, слегка поша-
тываясь, прижав одну руку к животу, другой
он делал в нашу сторону едва уловимое дви-
жение, словно желая сказать, что все это
решающего значения не имеет и чтобы мы
утешились. И вот теперь, когда этот самый
Валлау был пойман и возвращен в лагерь,
мы были готовы во всем отчаяться. Теперь
мы все погибли. Теперь они и Валлау убьют,
как поубивали всех. В первые же месяцы
господства Гитлера убийцы прикончили сотни
наших вождей во всех частях страны. Часть
они казнили открыто, часть замучили в лаге-
рях. Все поколение было истреблено. И мы
представляли себе тот момент, когда это истребление достигнет таких размеров, что мы
в одно грозное утро тоже умрем, уже не оста-
вив смелых... То, чего почти не знала исто-
рия, самое страшное, что может постигнуть
народ, должно было теперь случиться: «ничья
земля» должна была лечь между двумя поко-
лениями, и через нее опыт прошлого уже не
мог перейти. Когда один сражается и падает,
знамя берет другой и тоже сражается и па-
дает, и тогда стоящий рядом берет это зна-
мя... Это естественный ход событий, ибо да-
ром ничего не дается. Но что делать, когда
уже некому подхватить знамя? Из земли вы-
рывали с корнем все лучшее, что на ней
возросло, и детям внушали, что это — сорная
трава».

В это утро Меттенгеймер вышел на службу так же точно, как и всегда. Он в душе решил, что бы там ни было, думать только о работе, которая ему предстояла. Ни вчерашний допрос, ни его дочь Элли, ни тень в котелке, следовавшая за ним по пятам, — сегодня тоже — ни в малейшей степени не должны мешать ему заниматься своим честным ремеслом.

Поглощенный желанием не опоздать после вчерашнего прогула, он ничего не успел ухом ни услышать, ни прочесть и поэтому не заметил тех взглядов, которыми при его появлении обменялись штукатуры. В молчаливой спешке, которую он прерывал время от времени, только чтобы буркнуть приказание, все они помогали ему так охотно, как никогда, но он совершенно этого не замечал. Правда, люди видели в его упрямом усердии отнюдь не следствие возвышенных размышлений о значении их ремесла, а естественное достоинство старого человека, семью которого постигло несчастье. Его лучший рабочий, Шульц, который ему как раз помогал, вдруг сказал, предварительно поклонившись на строгое лицо старика: — Это ведь со всяким может случиться, Меттенгеймер. — Что? — сказал Меттенгеймер. И несколько напыщенно, но задушевно, как говорят люди обычно, когда для выражения своего сочувствия еще не найдены настоящие слова, а лишь самые банальные, Шульц добавил: — Это может нынче случиться в каждой немецкой семье. — Что может случиться в каждой немецкой семье? — спросил Меттенгеймер. Шульц пашел, что это слишком, и рассердился. Десятка полтора рабочих были заняты в эту минуту внутренней отделкой здания. Шульц принадлежал к числу тех рабочих фирмы, которые в течение многих лет являлись ее основными кадрами. А когда есть такие кадры, сызряд каждого перестает, в конце концов, быть тайной. Всем было известно, что у Меттенгеймера есть несколько хороших дочек, что самая красивая, против воли старика, неудачно вышла замуж. Плохо было в те времена клеветать обоим со стариком Меттенгеймером. Что разведенный зять попал затем в концлагерь — тоже было известно. И радио, и газета сегодня утром напомнили о многом, чему суровый вид обобщика являлся как бы подтверждением. Уже перед ним, Шульцем, Меттенгеймеру, кажется, незачем было притворяться. Шульцу и в голову не пришло, что Меттенгеймер еще ничего не знает.

Когда наступил обеденный перерыв, несколько рабочих спустились вниз, к дворни-

чке, чтобы подопреть себе пищу. Они пригласили и Меттенгеймера, но в меру настойчиво. Меттенгеймер не обратил внимания на их тон. Он принял приглашение, так как второпях забыл хлеб, а идти в ресторан не хотелось. Сюда, наверх, тень не придет; здесь безопасно, в этой пище на входной лестнице, которую себе избрал для обеда дружный кружок молодых и старых штукатуров. Они дразнили младшего ученика и немалю погоняли мальчугана то к дворничихе за солью, то в столовую за пивом.

— Дайте же мальчонке, наконец, поесть, — сказал Меттенгеймер.

Среди рабочих был яростный пацан, Штмберт. Все считали его шпиком и осведомителем. Это угнетало их, однако гораздо меньше, чем можно было предполагать. Они просто были при нем осторожны и избегали его, даже те, кто, в большей или меньшей степени, разделял его взгляды. Тем не менее, все эти люди, столпившиеся на входной лестнице, наверно, бросились бы на Штмберта и основательно его измолотили, если бы они увидели выражение его нездорового, тупого лица, с каким он наблюдал за Меттенгеймером. Но все они смотрели только на Меттенгеймера, даже перестали есть и пить. Меттенгеймер взял случайно валявшуюся газету, он устоялся на одно определенное место, поблудил. Все почувяли, что он только теперь узнал, в чем дело. Все затаили дыхание. Медленно поднял Меттенгеймер голову, из-за газетного листа показалось его лицо. В глазах появилось такое выражение, словно он свергнут в ад. Бдва он взглянул на них, как они уже обругали его, штукатуры и обобщики. Тут же сидел и крошечный мальчонка; он, наконец, принялся за еду, однако сейчас же бросил. Непетовый Штмберт нагло улыбался. Но на лицах всех остальных лежало выражение печали и почтительности. Меттенгеймер перевел дыхание. Он не был свергнут в ад. Он был все еще человеком среди людей.

В тот же обеденный перерыв Франц стоял в своей столовой и слушал разговоры. «Я сегодня вечером собралюсь во Франкфурт в кино «Олимпия». — А какая там картина? — «Королева Христина». — Мне моя Бэпхен милей вашей Греты, — сказал третий. Первый сказал: — Большая разница: самому лизаться или смотреть. — Как это вам еще удовольствие доставляет, — сказал третий. — Я признаю все это только дома. — Главное при такой спешке — это билет раздобыть». Франц слушал, с виду сонный, по сердцу его, казалось, готово было разорваться. Опять чуилось ему — все заглохло. Ведь сегодня утром была одна такая минутка, как брешь. Он вздрог-

жуг. Это кино «Олимпия» завело его на одну мысль, которая мучила его все утро. Он мог благополучно добраться до Эллы, только пройдя через квартиру ее родителей. «Пойти самому? Разве вход не стережет рой шпионов? А письма? Поеду-ка я туда после смены,—решил он,—куплю два билета, может быть, мне и удастся то, что я задумал. А если и не удастся, так ничего от этого не будет».

Георг продолжал шагать по Висбаденскому шоссе. Он наметил себе цель — следующий поворот. От этой цели ничего особенного ждать не приходилось. Все равно, какую-нибудь цель надо же себе ставить каждые десять минут. Мимо него проходило довольно много автомашин. Грузовики с товарами, военные автомобили, разобранный самолет, частные машины из Баяна, Кельна, Висбадена, машина «Опель», новая модель, которой он еще не знал. Какую ему остановить? Вот эту? Или ни одной? Он шагал дальше, глотал пыль. Иностранная машина, у руля один единственный человек, еще довольно молодой. Георг поднял руку. Владелец машины тотчас затормозил. Он за несколько секунд перед этим уже заметил идущего Георга. Под влиянием скуки и одиночества, которые способны внушить нам, что нас с первого взгляда повлекло именно к этому человеку, путешественнику представилось, что он даже ждал от Георга этого жеста. Он снял наваленные рядом с ним пледы, плащи и вещи. Он сказал: — Куда? — Оба бросили друг на друга короткий, пристальный взгляд. Иностранец был рослый, худой, бледноватый, и волосы у него были бесцветные. В его спокойных голубых глазах с бесцветными ресницами не было никакого сколько-нибудь определенного выражения, ни серьезного, ни веселого. Георг сказал: — Мне в Гехст. — Выговорив это, он испугался. — Ах, — сказал иностранец, — я в Висбаден, по все равно, все равно... Вам холодно? — Он снова остановил машину. Он набросил на плечи Георга один из своих клетчатых пледов. Георг крепко закутался. Они улыбнулись друг другу. Иностранец дал машине ход.

В течение десяти минут они поднимались по довольно крутому склону. Георг закрыл глаза, таким опьяняющим был запах леса. Достигнув опушки наверху, машина выехала на просеку. Иностранец обернулся, начался ахи и охи, он предложил Георгу полюбоваться видом. Георг повернул голову, однако глаз не открыл. Смотреть туда, на все эти воды, на поля и леса, — этого он бы сейчас не вынес. Они проехали часть просеки и свер-

нули. Утренний свет падал в буковый лес золотыми хлопьями. Время от времени эти хлопья света шелестели, так как все-таки был листопад. Георг словно оцепенел. Он был очень слаб.

Они ехали в глубь страны, сначала вдоль леса. Иностранец сказал: — Ваша страна очень красива. — Да, страна, — сказал Георг. — Что? Много леса. Дороги хорошие. Народ тоже. Очень чисто, очень порядок. — Георг молчал. Время от времени иностранец поглядывал на него, так как по обычаю иностранцев принимал этого человека за народ. Георг больше не смотрел на иностранца, только на его руки, и сильные, бесцветные руки будили в нем смутное чувство отвращения.

Сердце Георга стучало все громче. Вот уже несколько минут, как они свернули с опушки над долиной и ехали среди лесной тишины. В его голове завелась одна мысль, зачаток мысли, которую он сам еще никак не мог схватить. По его сердцу, словно более прозрачное, чем разум, взволнованно билось. — Хорошее солнце, — сказал незнакомец. Он ехал со скоростью всего лишь пятидесяти километров. «Если я это сделаю, то чем? Кто бы ни был этот тип, он не картонный. И руки у него тоже не картонные, он будет защищаться». — Георг медленно-медленно опустил одно плечо. Его пальцы уже касались запасной ручки, лежавшей рядом с правым башмаком. «Дать ему этим по голове и вышвырнуть из машины. Он долго тут пролежит. Такая уж, значит, его судьба, что он меня встретил. Уж такое время. Одна жизнь стоит другой. Пока его найдут, я давным-давно перелечу по ту сторону границы на этих чудесных, чудесных сашках». Он отдернул руку, отодвинул правой ногой ручку. — Как называется здесь вино? — спросил незнакомец. — Гохгеймер. — «По волгуяся же так ужасно, — уговаривал Георг свое сердце. — Ничего этого я не сделаю. Хорошо, если уж ты так хочешь, я сейчас здесь сойду».

Там, где дорога выходила из виноградников на шоссе, стоял верстовой камень: не больше шести километров.

Хотя Генриха Кюблера все еще невозможно было допрашивать, однако после того, как его перевязали и посадили, его можно было опознать. Все свидетели, которых ради этого задержали, проходили мимо, уставившись на него. Он, в свою очередь, уставлялся на всех, хотя не признал бы их, даже если бы находился в полном сознании: Шляпенка, крестьянин Биндер, врач Левенштейн, лодочник Щуренок, ряд людей, никогда бы не пере-

секших его жизненный путь, будь это только вопрос судьбы. Шляпенка сказал веселым тоном: «Может, он, а может, и не он». То же сказал и Шуренок, хотя отлично знал, что это не «он». Биндер заявил почти мрачно: «Не он, только похож на него». Показание Левенштейна оказалось решающим: «У него рука не повреждена». Действительно, рука — это была единственная часть тела Кюблера, оставшаяся целой и невредимой.

Затем все свидетели, кроме Левенштейна, были отправлены за счет государства туда, где их взяли. Шляпенка попросил посадить его возле укучной фабрики, Биндер, которому, от боли, все казалось затуманенным, поехал домой в Вайзепау, все на тот же клеенчатый диван, на котором ему предстояло умереть, Шуренок и лодочник слезли около рыбалки под Майнцом, где вчера состоялся обмен.

4

Вскоре после этого было отдано распоряжение отпустить Элли на свободу, взяв ее и ее квартиру под надзор. Может быть, настоящий Гейслер все же попытается установить с ней связь. Кюблера, в том состоянии, в каком он сейчас находился, нельзя было отпустить.

В камере на Элли сначала напало оцепенение. Когда наступил вечер, когда можно было вытянуться на койке, это оцепенение прошло, и она попыталась отыскать во всем том, что с ней случилось, какой-то смысл. Генрих, она знала это, перядочный мальчик, сын почтенных родителей, он никогда не морочил ей голову. Не изобрел ли он чего-нибудь вроде Георга? Верно, он иногда ругался насчет налогов, насчет всех этих собраний и ликований, но ругался не меньше и не больше, чем ругаются все. Ведь ругался же отец, когда ему что-нибудь не нравилось, что надо было бы отменить, и ее шурин — охранник — тоже ругался, ему-то все очень нравилось, но надо было еще довести это до совершенства. Может быть, Генрих слушал у кого-нибудь запрещенную передачу, может быть, кто-нибудь дал ему почитать запрещенную книгу... Но Генрих не увлекался ни радио, ни книгами. Он всегда заявлял, что человек, занимающий место в общественной жизни, должен быть вдвое осторожнее, причем разумел, говоря о себе, скорняжную мастерскую своего отца, в которой имел паи.

Несколько лет назад Георг покинул Элли, оставив ей не только ребенка, который пока благополучно подрастал, не только несколько воспоминаний, которые частью еще жили, частью зарубцовались, но также и несколько

отрывочных смутных представлений обо всем том, что для него, Георга, тогда составляло жизнь.

В противоположность большинству людей, Элли, в первую ночь после своего ареста, заснула скоро. Она была измучена, как дитя, на долю которого выпало больше переживаний, чем оно в силах вынести. И на другой день ее сердце тоскливо слалось, лишь когда она вспоминала об отце. Она еще не пришла в себя, все было слишком непонятно, но она находилась в странном состоянии — не то ждала чего-то, не то вспоминала. Страха не было. Ее ребенку в семье отца вполне хорошо. В основе этих соображений лежало ожидание всего, что угодно.

Когда ее, уже под вечер, вывели из камеры, она была готова и полна того мужества, которое было, может быть, только скрытой печалью.

Из показаний отца и хозяйки все постепенно выяснилось. Приказ об ее освобождении был уже дан, так как на свободе она, в случае, если бы беглец все же искал с ней встречи, оказалась бы гораздо полезнее и наверняка не стала бы прятать мужа, от которого желала отделаться, чтобы выйти за другого. Затем ее подвергли краткому допросу. Элли отвечала на все вопросы, касавшиеся прошлого и ее отношений с прежним мужем, скупо и перешительно, не из благо-разумия, но вследствие своего характера и еще потому, что об этом периоде их супружеской жизни у нее осталось мало воспоминаний. Вначале к ним действительно приходили друзья, но все они звали друг друга по именам. Вскоре эти посещения, которые ее не интересовали, прекратились. Гейслер проводил вечера вне дома. На вопрос, где она познакомилась с Георгом Гейслером, она ответила: «на улице». О Франце она просто не вспомнила.

Элли объявили, что теперь она может идти домой, но при вторичном аресте ей грозит опасность никогда больше не увидеться с ребенком или с родителями, если она будет так неразумна, что предпримет что-нибудь в отношении беглеца без ведома полиции или утаит что-нибудь.

При этом известии Элли раскрыла рот; она поднесла руки к ушам. Когда она сейчас же, вслед за этим, очутилась на залитой солнцем улице, ей показалось, что она долгие годы не была в своем городе.

Хозяйка, фрау Мерклер, встретила ее молча. В комнате Элли царил невообразимый беспорядок. На полу валялись мотки шерсти, детское платье и подушки; к тому же крепко пахло гвоздиками, принесенными ей Генрихом, они стояли совершенно свежие в стакане.

Элли села на свою кровать. Вошла хозяйка. С раздраженным лицом, без всякого предисловия, она объявила Элли, чтобы та первого ноября освободила комнату. Элли ничего не ответила. Она только внимательно посмотрела на эту женщину, которая была к ней всегда так добра. Впрочем, отказ хозяйки был плодом долгих размышлений, горьких самоупреков, мучительных опасений за единственного сына, которого фрау Мерклер содержала, и, наконец, ну что поделаешь...

Тем временем близился вечер. Георг, приля в Гехет, с нетерпением ждал конца смены, когда улицы и переулки наполнялись людьми. И вот он стоял, стиснутый толпой, в одном из первых битком набитых трамваев, отошедших из Гехета.

Нерешительная стояла хозяйка, фрау Мерклер, в комнате Элли, словно ожидая, что ей сами собой придут на ум нужные слова, успокаивающие и добрые, которые она скажет молодой женщине, всегда вызывавшей в ней симпатию, — однако не слишком уж добрые, обязавшие бы ее следовать заповедям доброты.

— Милая фрау Элли, — сказала она наконец. — Уж вы не сердитесь на меня, такова жизнь. Рабы вы знали, каково у меня на душе... — Элли и тут ничего не ответила. Раздался звонок. Обе женщины так испугались, что бессмысленно уставились друг на друга.

Обе ожидали, что вот-вот раздадутся крики, шум, что взломает дверь. Однако звонок прозвучал лишь во второй раз, тошненько и прилично. Фрау Мерклер пошла отпирать. И сейчас же облегченно крикнула из передней: — Это только ваш папаша, фрау Элли.

Меттенгеймер даже побледнел от радости, увидев ее перед собой и невредимой. Он взял ее руки в свои, стал пожимать и гладить. — Что же нам теперь делать? — сказал он, — что же нам теперь делать? — Да ничего, — сказала дочь, — ничего мы сделать не можем. — Ну, а если он придет? — Кто? — Этот человек, твой прежний муж?

— Он к нам наверняка не придет, — сказала Элли печально и спокойно, — он и не вспомнит про нас. — Радость, охватившая ее при виде отца, — значит, она все-таки не одна на свете, — утешала, так как отец, оказывается, растерялся еще больше, чем она. — Все-таки, — сказал Меттенгеймер. — В беде человеку все приходит в голову. — Элли покачала головой. — А если он все-таки придет, Элли, если он явится ко мне, в мою квартиру, так как ты ведь потом жила у меня? За моей квартирой же следят, и за твоей тоже. Если я, скажем, стою у окна нашей жилой комнаты и вижу — он идет,

Элли, что тогда? Просто впустить его, прямо в западню, или подать ему знак? — Элли посмотрела на отца, он казался ей не в себе. — Нет, я знаю, — сказала она печально, — он больше никогда не придет. — Обойщик молчал; в его лице и отчетливо и откровенно отражались все тревоги его советни. Элли смотрела на него с удивленным и нежностью. — Господи боже мой, — обойщик произнес эти три слова, как горячую молитву, — сделай, чтобы он не пришел! Если он придет, то мы пропали, и так и этак. — Почему пропали и так и этак? — Ну, как ты не понимаешь! Представь себе, он придет, я подаю ему знак, предупреждаю? Что тогда случится со мной, с мамой? Представь себе другое, он придет. Я вижу, что он идет, но не подаю никакого знака. Ведь он же мне не сын, он чужой, хуже всякого чужого. Так я не подаю ему знака. Его схватывают.

Элли сказала: — Не беспокойся, милый папа, он же совсем не придет.

— Ну, а если он к тебе придет, Элли? Если он как-нибудь узнает твой теперешний адрес?

Элли хотела возразить и сказать то, что ей стало ясно лишь при его вопросе: придется, видно, Георгу помочь, будь, что будет, но, не желая огорчать отца, она только повторила: — Он не придет.

Меттенгеймер задумался.

«Пусть беда, пусть этот человек мнует его дверь. Пусть бы ему поскорее удался его побег. Пусть бы его раньше, до прихода сюда, поймали... Нет, этого он не пожелает и врагу. Но почему именно он поставлен перед такими вопросами, которые ему не по плечу? Все это, в сущности, случилось, из-за влюбленности глупой девочки». Он встал. Дойдя до двери, он еще раз сбернулся.

— Тут вот письмо тебе...

Это письмо было незаметно перед тем подсунуто под его кухонную дверь. Элли посмотрела на конверт: «Для Элли». Она вскрыла его, когда отец ушел. Только билет в кино, вложенный в белый лист почтовой бумаги. «Может быть, от Эльзы?» Подруга иногда доставала билеты на дешевые места. Этот зеленый билетик словно с неба слетел. Без него она, может быть, так и просидела бы до ночи на краю постели. «А это можно? — спрашивала она себя. — Когда человек попал в такую ужасную беду, можно ходить в кино? Может быть, так не делают? Глупости, для того кино и существует. Теперь тем более»...

— Вот ваши два холотных шинцеля со вчерашнего вечера остались. — сказала хозяйка. «Теперь тем более, — решила Элли, — эти шинцели жестки, как полошвы, но они

же не отравлены». Фрау Мерклер растерянно смотрела, как эта хрупкая и печальная молодая женщина, сидя у кухонного стола, поедает один за другим холодные шницели. «Теперь тем более», — сказала себе Элли. Она прошла в свою комнату, сбросила с себя все, что на ней было надето, тщательно вымылась с головы до ног, надела самое лучшее белье и платье и так причесала волосы щеткой, что они стали блестящими и пушистыми. Этой хорошеющей кудрявой Элли, глянувшей на нее из зеркала печальными карими глазами, жизнь стала казаться чуть-чуть легче. «Если они в самом деле за мной следят, как уверяет мой отец, — решила она, — ладно же, они по мне ничего не увидят».

— Все это сплетни, — сказал дома Меттенгеймер расстроенной жене. — Элли сидит у себя в комнате, она совершенно здорова. — Отчего ты не привел ее?

Небольшая часть семьи Меттенгеймера, еще жившая у старика, садилась ужинать. Отец и мать, младшая сестра Элли — та самая тупоносенькая Лизбет, которую Меттенгеймер не считал годной для роли борца за дело веры, такая же кроткая и красивая, как все ее сестры, сын Элли, вуж, в клеветчатом фартучке, слегка подавленный всеобщим молчанием, царившим за столом, почему и размахивал своей большой ложкой в парю, подышавшемся над его мисочкой.

Меттенгеймер ел медленно, опустив глаза в тарелку, чтобы избежать расспросов жены. Он благодарил бога за то, что его жена недостаточно имеет разума в голове, чтобы понять всю сложность навешенного над ними несчастья.

Георг находился действительно лишь в полчаса пути от них. Он вышел из трамвая. Затем поехал в Нидеррат. Чем больше он приближался к своей цели, тем сильнее в нем росло ощущение, что его ждут, что вот сейчас ему стелят постель, собирают ужин; сейчас его девушка прислушивается к шагам на лестнице. Когда он затем поднялся наверх, его ожидание было таким напряженным, что походило на отчаяние: словно его сердце противилось идти напрасно по той дороге, которой он столько раз ходил во сне.

По нескольким тихим улицам с палисадниками он пробежал, словно по воспоминаниям. Сознание действительности совершенно угасло в нем, а вместе с этим и сознание опасности. Разве вдоль протуаров и тогда не шуршали листья? — спрашивал он себя, не чувствуя, что сам гонит ногами перед собой листву. «Тихим и пасмурным был тогда вечер», — вспоминал он, не замечая, что и этот день уже идет к концу. Как протеви-

лось его сердце тому, чтобы он вошел в юм! Это было уже не биение — нет, судорожное трепетание; он высунулся из окна на лестнице, сады и дворы многих домов прилегали друг к другу; карнизы стен, мостовая, балконы — все было усыпано листьями, неустанно падающими с мощного каштана. В некоторых окнах уже был свет. Этот вид настолько успокоил его сердце, что он уже был в силах подняться выше. На двери еще висела прежняя дощечка с фамилией сестры Лени, под ней — новая, маленькая, с незнакомой фамилией. Звонить или стучать? Разве это не ребячество? Звонить или стучать? Он тихонько постучал. — Войдите, — отозвалась молодая женщина в полосатом фартуке с рукавами. Она только чуть приоткрыла дверь.

— Что, фрейлейн Лени дома? — спросил Георг, не так тихо, как хотел, ибо его голос срывался. Женщина уставилась на него, в ее здоровом лице, в ее круглых голубых глазах, похожих на стекляшки, появилось выражение растерянности. Она хотела закрыть дверь, но он воцунул ногу в щель.

— Фрейлейн Лени дома?

— Нет здесь такой, — сказала женщина хрипло, — катитесь отсюда, сию минуту.

— Лени, — сказал он спокойно и твердо, словно хотел заклясть Лени, чтобы она ради него сбросила с себя личину этой деревянной вульгарной женщины в фартуке, в которую была заколдована, однако заклятие не удалось.

Эта особа плянула на него с тем бесстыдным страхом, с каким заколдованные существа плятея на тех, кто не изменил себе. Он быстро распахнул дверь, толкнул женщину в прихожую, захлопнул дверь за собой. Женщина, пятясь, отступила в открытую дверь вухли. В руке она держала сапожную щетку.

— Да, послушай же, Лени, Лени, ведь это я. Разве ты меня не узнаешь?

— Нет, — сказала женщина.

— Отчего же ты так испугалась?

— Если вы сию минуту не выйдете из квартиры, — вдруг заявила женщина очень решительно и шагло, — вам не поздоровится. Мой муж должен вернуться с минуты на минуту.

— Это ему? — спросил Георг.

На скамеечке стояла пара начищенных до блеска высоких сапог. Рядом с ними — женские полуботинки. Открытая баночка мази, несколько тряпок.

Лени сказала: — Ну да. — Она загорючилась кухонным столом. Она крикнула: — Я считаю до трех. Если вы не уберетесь, то...

Он засмеялся.— То что?.. Он стянул носок с забинтованной руки, черный изношенный носок, который он подобрал где-то по дороге и надел как перчатку, чтобы скрыть повязку. Она смотрела на него, разинув рот. Он обошел стол. Она заслушила лицо локтем. Он схватил ее одной рукой за волосы, другой рванул вниз ее локоть, сказал с таким выражением, словно обращался к жабе, о которой все же известно, что она когда-то была человеком:

— Перестань, Лени, посмотри же на меня. Ведь я — Георг.

Ее глаза округлились. Он не выпускал ее, причем старался вырвать у нее из рук сапожную шпелку, несмотря на боль в собственной руке.

Она сказала умоляющим тоном:— Я же не знаю тебя.

Он выпустил ее. Он отступил на шаг. Он сказал:— Хорошо, тогда выдай мне мои деньги и платье.

Она помолчала, затем заявила, опять очень самоуверенно, с новой наглостью:— Мы ничего не даем незнакомым.

Он уставился на нее, но иначе, чем прежде. Боль в руке исчезла, а вместе с ней и сознание, что все это происходит именно с ним. Он только смутно ощущал, что из руки снова пошла кровь.

На кухонном столе, на скатерти в синюю клетку, стояло два прибора. На деревянных кольцах для салфеток были неумело вырезаны маленькие свастички — детская спринья. Ломтики колбасы, редиска и сыр были нарядно украшены петрушкой, рядом стояло несколько открытых коробочек, какие продаются в реформированных магазинах, — пряники и миндаль. Он взял кусок хлеба и сунул в карман. Глаза-стекляшки следили за ним.

Уже держась за дверную ручку, он еще раз обернулся.

— Ты не хочешь наложить мне новую повязку? — Она дважды очень серьезно покачала головой.

Спускаясь по лестнице, он остановился у того же окна. Он оперся локтем о подоконник и натянул носок на руку. «Она мужу ничего не скажет, она будет бояться. Она не имеет права знать меня». Уже почти все окна были освещены. «Все эти листья падают с одного каштана», — подумал он. Словно сама осень воплотилась в этом дереве, достаточно мощном, чтобы покрыть листвою целый город.

Волоча ноги, он медленно брел вдоль улицы. Он попытался себе представить, что вот Лени идет ему навстречу своими большими крылатыми шагами. Тут только ему стало ясно, что никогда уже не сможет он

пойти к Лени, даже никогда не сможет грезить о том, что идет к Лени. Эти презы были вырваны с корнем. Он сел на скамью и рассеянно стал жевать кусок хлеба. Так как было свежо и наступали сумерки, то сидеть здесь было слишком подозрительно, он сейчас же встал и поспешил дальше, денег на трамвай у него больше не было. Буда итти теперь, на ночь глядя?

5

Оберкамп запер за собою дверь, чтобы перед допросом Валлау побыть одному. Он привел в порядок свои записки, просмотрел данные, сгруппировал, подчеркнул, связал между собой заметки с помощью особой системы линий. Он славился своими допросами: Оберкамп из трупа вытянет нужные показания, говорил про него Фишер.

Оберкамп услышал за дверью резкий шаркающий шорох, обычный при отлании чести. Вошел Фишер, запер за собою дверь. По его лицу было видно, что его что-то и сердит и смешит. Он тотчас сел рядом с Оберкампом. Жестом напомнил ему Оберкамп о часовом перед дверью и о приоткрытом окне.

— Опять что-нибудь? — Фишер стал рассказывать шепотом:— Эта история с побегом бросилась Фаренбергу в голову. Он обязательно на ней с ума сойдет, уже сошел. Вылетит он отсюда наверняка. Нужно будет в этом смысле поднажать. Послушайте только, что опять произошло. Мы же не можем тут выстроить особую стальную камеру, специально для этих трех пойманных беглецов. Но мы с ним условились, что он к этой тройке не прикаснется, пока мы всех не переловим. Тогда пусть из них хоть колбасу делает. Так он все-таки еще раз велел их привести. Ведь там, перед его бараком, эти деревья. То есть, эти обрубки, они уж теперь не деревья. Он велел сегодня утром спилить вершины. И вот он приказал поставить этих троих возле деревьев, вот так... — Фишер раскинул руки, — а стволы утыкать гвоздями и вообще привести в такой вид, чтобы люди не могли прислониться. И созвал всех заключенных, и держал речь — вы бы слышали, Оберкамп! Он дал клятву, что все семь деревьев будут заняты еще до начала следующей недели. И знаете, что он мне сказал? «Вы видите, я слово держу, ни одного удара». И сколько же он заставит их так простоять?

— Из-за этого-то шум и поднялся. Разве они будут годны для допроса через час, через полтора? Ну, хорошо: он каждый день будет показывать их в таком виде лагерю. Но эта штука окажется для него последней в Вестгофене. Он, кажется, воображает, что

если вернет всех семерых, то сможет здесь остаться?

— Я этого Валлау, — сказал Фишер, — сорвал себе с третьего дерева. — Он вдруг поднялся и распахнул окно. — Они уже ведут его. Извините меня, Оберкамп, если я вам дам один совет. — А именно? — Хотите принести себе из столовой сырой бифштекс. — Зачем? — Потому что вы скорее выжмете из этого бифштекса показания, чем из человека, которого вам сейчас приведут.

Фишер был прав. Оберкамп понял это сейчас же, взглянув на стоявшего перед ним человека. Он мог бы спокойно порвать записки на своем столе. Эта крепость была неприступна. Низенький, измученный человечек, некрасивое маленькое лицо, растущие на лбу треугольником темные волосы, густые брови, между ними морщина, рассекающая лоб. Воспаленные и от этого суженные глаза, нос широкый, картошкой, нижняя губа вся прокусана.

Оберкамп всматривается в это лицо — арену предстоящих действий. В эту вот крепость ему предстоит проникнуть. Если она, как утверждают, непроницаема ни для страха, ни для угроз, то ведь есть же другие способы овладеть крепостью, изголодавшейся, подрытой изнеможением. Оберкампу эти способы известны все. Он умеет пользоваться ими. Валлау, со своей стороны, тоже знает, что человеку, сидящему перед ним, известны все эти способы. Сначала он будет нащупывать слабые места, он начнет с простейших вопросов. Он спросил тебя, в каком году ты родился, и вот ты уже выдал те звезды, под которыми родился...

Оберкамп рассматривает лицо этого человека, как рассматривают участок земли. О своем первом ощущении при входе Валлау он уже забыл. Он вернулся к своему основному положению: неприступных крепостей нет. Он переводит глаза с Валлау на одну из своих записок. Затем ставит карандашом точку после одного слова, снова смотрит на Валлау. Он вежливо спрашивает: — Вас зовут Эрнст Валлау?

Валлау отвечает:

— Я больше ничего не буду показывать. А Оберкамп на это: — Значит, ваша фамилия Валлау? Обращаю ваше внимание на то, что буду все равно принимать ваше молчание за подтверждение. Вы родились в Маннгейме восьмого октября тысяча восемьсот девяносто четвертого года.

Валлау молчит. Он произнес свои последние слова. Если поднести зеркало к его мертвым устам — его дыхание не замутит стекла.

Оберкамп не спускает глаз с Валлау. Он почти так же неподвижен, как и заключен-

ный. На один топ бледнее стала бледность этого лица, немного чернее морщина, рассекающая лоб. Прямо перед собой устремлен взгляд этого человека, прямо сквозь предметы этого мира, ставшего вдруг стеклянным и прозрачным. Сквозь Оберкампа, сквозь дощатую стену и часовых, стоящих снаружи, сквозь все — прямо на суть, которая уже не прозрачна и сопротивляется взгляду умирающего. Фишер, который также неподвижно присутствует при допросе, поворачивает голову вслед за взглядом Валлау. Но он не видит ничего, кроме сочного упругого мира, который непрозрачен и лишен сути.

— Вашего отца звали Франц Валлау. Вашу мать — Элизабет Валлау, рожденная Эндерс.

Вместо ответа от прокусанных губ идет молчание. «Жил некогда человек, — думает заключенный, — которого звали Эрнст Валлау. Этот человек умер. Вы только что были свидетелями его последних слов. У него были родители, они носили ту же фамилию. Теперь можно было бы рядом с могильным камнем отца поставить могильный камень сына. Если это верно, что они могут из трунов выжать показания, то я мертвец всех их мертвцов».

— Ваша мать проживает в Маннгейме, Мариентгэссхен, восемь, у вашей сестры, Маргареты Вельф, рожденной Валлау. Нет, стайте, проживала. Она сегодня утром доставлена в богадельню. После ареста ее дочери и зятя по подозрению в содействии побегу квартиры на Мариентгэссхен опечатали.

«Когда я еще был жив, у меня были мать и сестра. Потом у меня был друг, женившийся на сестре. Пока человек жив, у него есть всевозможные отношения, привязанности. Но теперь я умер. И какие бы страшные вещи ни происходили со всеми этими людьми в этом странном мире после моей смерти, теперь мне все должно быть безразлично».

— У вас есть жена, Гильда Валлау, рожденная Бергер. От этого брака родилось двое детей, Карл и Ганс. Я еще раз обращаю ваше внимание на то, что я ваше молчание безусловно рассматриваю как ваше «да». — Фишер протягивает руку и отодвигает экран от лампы в тысячу свечей, она освещает лицо Валлау. Это лицо остается таким же, как и в тусклых вечерних сумерках. Даже лампе в тысячу свечей не удалось обнаружить следов страдания или страха, или надежды в этом не меняющемся лице умершего. Фишер снова задвигает лампу экраном.

«Когда я еще был жив, у меня была жена. У нас были дети. Мы воспитывали их в нашей общей вере. Для мужа и жены

было большой радостью, что их взгляды при-
вились. Как быстро шагали маленькше ножки
в первой демонстрации! А в детских личи-
ках — какая гордость и страх, что кулачки
не удержат тяжелых знамен! Когда я еще
был жив, в первые годы прихода Гитлера к
власти, когда я делал все то, ради чего я
родился, я мог совершенно спокойно открыть
моим мальчикам мои потаеннейшие уголки, в
такое времена, когда другие сыновья доно-
сили учителям на своих родителей. Теперь
я мертв.

Пусть уж мать одна как-нибудь проби-
вается с сиротами.

— Ваша жена арестована вчера одновре-
менно с вашей сестрой за содействие побе-
гу; ваши сыновья помещены в Оберридорф-
скую закрытую школу, где их воспитают в
духе национал-социалистического государства.

«Когда еще был жив этот человек, о сы-
новьях которого идет речь, он, по своему
разумению, заботился о своей семье. Теперь
скоро выяснится, какая цена моей заботе.
Взрослые не выдерживали, не то что два
несмысленныша. Ведь ложь так сочна, а прав-
да так суха. Сильные мужчины отрекались
от того, что было смыслом их жизни. Бах-
ман предал меня. А два мальчика — и это
бывает — могут ни на волос не отступить.
Во всяком случае, мое отцовство кончено,
что бы ни случилось».

— Вы участвовали в мировой войне стро-
евым.

«Когда я еще был жив, я ушел на войну.
Я был призыв ранаев, на Сомме, в Румы-
нии и в Карпатах. Мои фаны зажили, и я,
в конце концов, вернулся домой здоровым.
Если я сейчас и мертв, то я пал не во вре-
мя мировой войны».

— Вы вступили в Союз Спартаковцев в
первый же месяц его основания.

«Этот человек, когда он еще был жив, в
октябре тысяча девятьсот восемнадцатого
года присоединился к Союзу Спартаковцев.
Но какое это теперь имеет значение? Они
могли бы с таким же успехом вызвать на до-
прос Карла Либкнехта. Он отвечал бы им не
больше, чем я. Пусть мертвые хоронят мерт-
вецов».

— А теперь скажите-ка мне, Валлау, вы
продолжаете исповедывать свои прежние
идеи?

«Об этом пужно было меня вчера спра-
шивать. Сегодня я уже не могу отвечать.
Вчера я должен был бы крикнуть «да»,
сегодня я уже имею право молчать. Сегодня
другие отвечают за меня: поэты моего наро-
да, суд переживших меня...»

Вокруг него воздух холодеет, Фишера

знобит. Ему хочется дать знать Оберкампу,
чтобы тот превратил бесполезный допрос.

— Значит, вы, Валлау, обдумывали план
побега, с тех пор как были включены в осо-
бый рабочий отряд?

«Мне, в моей жизни, часто приходилось
бежать от моих врагов. Иной раз побег уда-
вался, иной раз — нет. Один раз, например,
дело кончилось плохо. Тогда я решил бе-
жать из Вестгофена. Теперь же побег мне
удался. Я ускользнул от них. Напрасно вы-
нюхивают псы мои следы, которые затеря-
лись в бесконечности».

— И тогда вы сообщили о своем плане
в первую очередь своему другу Георгу Гейс-
леру?

«Когда я был еще живым человеком в той
жизни, которой я жил, я встретился под ко-
нец с молодым парнем, его звали Георг.
Я привязался к нему. Мы делили с ним
горе и радость. Он был гораздо моложе меня.
Все в этом юноше было мне дорого. Все, что
мне в жизни было дорого, я нашел вновь в
этом Георге. Теперь он имеет ко мне не
больше отношения, чем имеет живой к мерт-
вому. Пусть он иногда вспоминает обо мне,
когда у него будет на это время. Я знаю,
жизнь битком набита».

— Вы познакомились с Гейслером толь-
ко в лагере!

Ни звука. Из уст этого человека течет
ледяной поток молчания. Даже часовые, под-
слушивающие за дверями, растерянно пожи-
мают плечами. Разве это допрос? Разве их
трое там внутри?

Лицо у этого человека уже не бледное, оно
светлое. Оберкамп вдруг отворачивается, он
ставит точку карандашом, причем кончик об-
ламывается.

— Вините себя за последствия, Валлау.

«Какие могут быть последствия для мерт-
веца, которого из одной могилы перекадыва-
ют в другую?»

Валлау уводят. В комнате остается его
молчание и не хочет отступить. Фишер сидит
неподвижно на своем стуле, словно заключен-
ный еще тут, и продолжает смотреть на то
место, где тот стоял. Оберкамп точит свой
карандаш.

Тем временем Георг дошел до Конного
рынка. Он спешил и спешил все дальше,
хотя у него буквально земля под ногами
горела.

Ше успел он хорошенько додумать все за
и против, как уже углубился в один из
переулков, идущих от главной улицы. Здесь
он никогда раньше не бывал. Он почти вне-
запно решил воспользоваться предложенном
Беллони.

Когда он уже вошел в квартиру, указанную Беллони, к нему вернулась обычная подозрительность — какой странный запах! Никогда, нигде не слышал он такого запаха. Старая пергаментного цвета женщина с волосами, черными, как сажа, молча и внимательно разглядывала его. «Может быть, это бабушка Беллони», — недоумевал Георг. Но сходством с Беллони она была обязана не родству, а общности профессии.

— Меня прислал Беллони, — сказал Георг. Фрау Марелли кивнула. Она, видимо, не находила в этом ничего особенного.

— Подождите здесь минутку, — сказала она. По всей комнате были разбросаны одежды всех покров и цветов; от запаха, еще более сильного, чем в передней, у Георга чуть не закружилась голова. Фрау Марелли освободила для него стул. Она вышла в соседнюю комнату. Георг осмотрелся. Его взгляд переходил с юбки, блиставшей черными пластинками, на венок из искусственных цветов, с венка на белый плащ с капюшоном и заячьими ушами, на маленький лиловый шелковый веер. Он был слишком измучен, чтобы сделать на основании всего этого какие-либо выводы. Затем он взглянул на свою обтянутую носком руку. Рядом зашептались. Георг вздрогнул. Он ждал, что сейчас его схватят, сейчас звякнут ручные кандалы. Он встал. Фрау Марелли вернулась, через обе руки было перекинута платка и белье. Она сказала: — Ну, переодевайтесь. — Он сказал, смущенный: — У меня нет сорочки.

— Вот сорочка, — отвечала женщина. — Что это у вас с рукой? — вдруг спросила она. — Ах, поэтому вы и не выступаете? — Георг сказал:

— Нет, я не хочу ее развязывать. Дайте мне какую-нибудь тряпку.

Фрау Марелли принесла носовой платок. Она оглядела Георга с головы до ног. — Да, Беллони дал правильно ваш размер. У него глазомер портного. У вас настоящий друг. Отличный человек. — Да. — Вы были вместе ангажированы? Да. Только бы Беллони выдержал. Он в последний раз произвел на меня неважное впечатление. А вы, что же с вами приключилось? — покачивая головой смотрела она на его изможденное тело, но ее любопытство было любопытством матери, нашедшей кучу сыновей, так что у нее, почти на все случаи жизни (касались ли они тела или души), было готово лекарство. Она помогла Георгу переодеться. Что бы ни таилось в ее непрозрачных глазах, похожих на черные пластинки, недоверие Георга исчезло.

— Бог лишил меня детей, — сказала фрау Марелли, — тем больше я думаю о вас, когда

вожусь с вашим платьем. И вам я скажу, будьте осторожны, иначе вы не выдержите. Ведь вы оба такие хорошие друзья. Хотите взглянуть на себя в зеркало? — Она повела его в соседнюю комнату, где стояли ее кровать и швейная машинка. И здесь были повсюду раскиданы странные одежды. Она раскрывала створки большого тройного, почти роскошного зеркала. Георг увидел себя сбоку, спереди и сзади, он был в котелке и в желтоватом пальто. Его сердце, которое столько часов вело себя вполне благоразумно, вдруг бешено забилося.

— Теперь вы можете показаться на людях. Когда человек плохо одет, ему ничего не получить. Где один песик надела, — говорит у нас, — наделают и остальные. А теперь я заверну вам еще ваше старое барахло. — Он вернулся следом за ней в первую комнату. — Я тут счет написала, — сказала фрау Марелли, — хотя Беллони это признал бы излишним. Но люблю я эти счета. Вот посмотрите хотя бы на этот капюшон, почти три часа работы. Но судите сами, могу ли я у человека, которому и шужет-то костюм зайца на один вечер, отобрать четверть его жалованья? От Беллони я, видите ли, получила за вас двадцать марок. Я совсем не хотела брать этой работы, костюмы для улицы я чищу только в исключительных случаях. Помоему, двенадцать марок — не слишком дорого. Вот, значит, восемь. Кланяйтесь Беллони, когда опять с ним встретитесь. — Спасибо вам, — сказал Георг. На лестнице у него еще раз мелькнуло подозрение, что за входной дверью следят. Он был уже почти внизу, когда старуха крикнула ему вдогонку, что он забыл свой сверточек с одеждой. — Господин, господин, — закричала она. Но он не обернулся на ее зов и выскочила на улицу, которая была тиха и пуста.

— Шныче Франц, видно, совсем не тредет, — говорили наверху у Маркетов: — поделите-ка его оладью между детьми. — Франц далеко не тот, каким был, — сказала Августа. — с тех пор, как он стал работать в Гехсте. Он больше пальцем не шевельнет для нас.

В то время как его оладья, с соблюдением наиболее точной человеческой меры, была разделена на две части, Франц вошел в кино «Олимпия», когда свет уже погас. Публика заворчала, так как он, невпопад пробираясь на свое место, заслонил от них часть недельного обзора.

Франц еще издали увидел, что место рядом с его местом занято. Затем он поймал взглядом лицо Элли, бледное и застывшее, с ши-

роко раскрытыми глазами. И когда он сам устремил взгляд на недельный обзор, он прижал локти к телу, ибо рука, лежавшая на общей ручке кресла, была рукою Элли.

Отчего нельзя вычеркнуть протекшие годы, сжать своей рукою ее руку? Он скользнул взглядом вдоль ее локтя, вдоль плеча, вдоль шеи. Почему не мог он погладить ее густые темные волосы? У них был такой вид, словно они в этом нуждались. В ее ухе рдела алая точка. Разве ей за это время ничего другого не подарили? Он нахмурился. Ни одного лишнего слова, ни одной лишней мысли. Разговор в антракте с хорошенькой соседкой, случайно очутившейся рядом с ним, не имел в себе ничего предосудительного, если даже за Элли и в кино следят.

«Пойду куплю жареного миндаля»,— решил он, когда вспыхнул свет. Выбирался из своего ряда, он прошел мимо Элли. Она взглянула на него— он был совсем близко от нее— и не узнала. «Значит, Эльза все-таки не пришла,— размышляла Элли,— интересно: от нее билет, или не от нее. Может быть, эта старушка рядом— ее мать? Во всяком случае, какое счастье— сидеть здесь в кино». Она посмотрела на Франца, когда он возвращался. Лицо ее изменилось, озаренное вспыхнувшей воспоминаний. Мелькнули смутные обрывки прошлого, о которых она сама не знала— радостные они, или печальные.— Элли.— сказал Франц. Она изумленно взглянула на него. Еще не вполне узнав его, она уже почувствовала, что в этой встрече есть что-то утешительное. Еще не успев сообразить, какого склада этот человек, она уже поняла, что не совсем одинока.— Ну, как ты поживаешь?— спросил ее Франц. Ее лицо омрачилось, она даже забыла ответить ему. Он сказал:— Да, я знаю, все знаю. Не смотри на меня, Элли, слушай внимательно, что я скажу. Берн миндаль и грызги. Я был вчера возле твоего дома— теперь посмотри на меня и засмейся...

Она вела себя очень умело.

— Ешь, ешь,— сказал он. Франц заговорил вполголоса, торопливо. Ей оставалось только отвечать да и нет.— Припомни его друзей. Ты, может быть, знаешь некоторых, которых я не знаю. Вспомни, с кем он был здесь знаком. Может быть, он все-таки придет в город. Смотри на меня и смейся. Мы потом не можем остаться вместе, приходи завтра рано утром на большой крытый рынок, я там помогаю тетке. Закажи яблок, я могу доставать яблоки, мы сможем поговорить. Ты понимаешь все это?

— Да.— Взгляни на меня.— В ее молодых глазах было, пожалуй, даже слишком много доверия, но спокойного. Еще кое-что

могло бы быть в них, подумал Франц. Она деланно засмеялась. Когда опять стало темно, она еще раз поспешно взглянула на него, повернув к нему свое настоящее, серьезное лицо. Может быть, она сама теперь охотно взяла бы его руку, правда, только оттого, что ей было жутко.

6

Георг чувствовал себя менее связанным, меньше самим собой в этом желтоватом пальто. «За многое должен я просить у тебя прощения, Беллони». Что же будет дальше? Скоро улицы опустеют, из всех кафе и кино люди уйдут домой. Ему предстояла ночь: бездна, в которой он ожидал найти пристанище. Он шел... Его, этот франтоватый скелет, гнало ветром словно перо. Он хотел послать Лени завтра к одному старому другу, к Боланду. Теперь приходилось идти самому. Много выхода не было. Счастье еще, что у него есть хоть эта одежда. Он стал обдумывать кратчайший путь, которым можно было дойти.

Он дошел до своей цели около половины одиннадцатого. Парадное еще было отперто, так как две соседки, не спеша, обстоятельно прощались. Освещенное окно на третьем этаже было окном Боланда. Пока, значит, все в порядке. Дверь еще не заперта, люди еще не спят. Он не сомневался, что именно к Боланду и надо идти. Это была лучшая из всех возможностей. Самая лучшая, так что нечего еще раз и обдумывать. «К нему именно и надо»,— повторил Георг уже на лестнице. Его сердце билось спокойно, может быть, оттого, что больше не отзывалось на бесполезные предостережения, может быть, оттого, что на этот раз действительно не от чего было и предостерегать.

Он узнал жену Боланда. Она была не молодая и не старая, не красивая и не безобразная. Однажды, вспомнилось Георгу, во время стачки, она, несмотря на собственных детей, взяла чужого ребенка. Ребенка, у которого не было родителей,— отец сидел в тюрьме.— вечером привели на собрание в закусокную. И Боланд взял его за руку и отвел к себе, чтобы спросить жену, и возвратился без ребенка. Вечер продолжался, какое-то обсуждение какого-то выступления. Тем временем ребенок получил родителей, братьев и сестер, свой ужин.

— Мужа нет здесь,— сказала жена Боланда,— но вы можете пройти в пивную.— Она была немного удивлена, однако без подозрительности.— Можно мне здесь подождать его?— Это, к сожалению, невозможно,— сказала она, не раздражаясь, но решив-

тельно, — уже поздно, а у меня большой в квартале.

«Надо поймать его», — решил Георг. Он спустился ниже и сел было на ступеньки лестницы. «Если дверь запрут, — размышлял он, — то еще до возвращения Боланд кто-нибудь может войти. Тогда меня задержат, начнут расспрашивать, что я здесь делаю. Да и Боланд может вернуться, и не один. Может быть, мне удастся перехватить его на улице. Жена его не узнала меня, сегодня утром учитель принял меня за старика». Георг проскользнул между все еще прощавшимися соседками и выскочил на улицу.

Георг заглянул в закусочную.

Может быть, это та же самая закусочная, в которую тогда привели ребенка? Сидевшая там компания собиралась расходиться. Люди были чуть-чуть навеселе и так на улице хохотали, что на них зашкали из окон. Почти сплошь штурмовики в обычной одежде, среди них был и Боланд. Он тоже хохотал, однако, по своему обыкновению, сдержанно, беззвучно и добродушно. Внешне он не изменился. Он отделился от остальных и с двумя штурмовиками направился к дому. Все трое уже не хохотали, а только ухмылялись. Они жили вместе в том же доме, один из них отпер дверь, — так как она была, конечно, заперта, — остальные последовали за ним.

Георг знал, что общество, в котором находился Боланд, еще ничего не означает. Он знал, что рубашки его спутников тоже ничего не означают. В лагере он много кое-чего слышал и понял. Он знал, что жизнь людей изменилась, изменился их внешний облик, их поведение, формы их борьбы. Он знал это, как знал это и Боланд, если только остался прежним. Все это Георг отлично знал, но не чувствовал.

Чувства Георга были те же, что и за последние годы, те же, что были у людей в Вестгофене. Ему сейчас было некогда выслушивать объяснения рассудка, почему для спутников Боланда необходимы эти рубашки, а для Боланда — эти спутники. При виде их он чувствовал лишь то, что чувствовал в Вестгофене. А на лбу у Боланда ведь ничего не написано. Правда, Боланду можно доверять. Но Георг этого не чувствовал. Может быть да, а может быть нет.

«Как же мне поступить?» — размышлял Георг. Кое-что он все же сделал: он ушел с улицы, где жил Боланд.

— Бахманшу в Вормсе пришлось арестовать.

— Почему это? — грубо спросил Оберкамп.

Он был против подобных арестов, которыми только возбуждая любопытство и беспокойство населения, тогда как если полиция открыто будет шадить членов семьи Бахман, это наилучшим образом изолирует их.

— Когда его вытащили из мансарды, жена стала орать, что, мол, это вчера надо было сделать, перед допросом, и что он ее бельевой веревки не стоит, она не успокоилась и тогда, когда мужа увезли. Она всех вокруг с ума свела, кричала, что она ни при чем, и тому подобное. — Что же говорили на это окружающие? — Всякое говорили. Затребовать материалы? — К нам это уже никакого отношения не имеет, — сказал Оберкамп. — Это дело находится в ведении коллег из Вормса. У нас и без них работы по горло.

Однако Георг не мог просто превратиться в пар. «С первой встречной», — решил он.

Но когда она вышла из-за сарая, который стоит прямо посреди Форбахштрассе, позади вокзала, то эта первая встречная оказалась все же хуже, чем он допускал. Он и пальцем бы ее не коснулся. Дрябло висела кожа на ее продолговатом лице. В скудном свете фонарей трудно было решить, растет ли рыжий куст волос из ее черепа или принят к шляпке в виде украшения. Он засмеялся. — Это разве твои волосы? — Мои волосы, да. — Она неуверенно посмотрела на него, и в ее мертвом лице появился отблеск чего-то человеческого.

— Да мне — все едино, — заявил он вслух.

Она еще раз покосилась на него. Затем остановилась на углу Тормаштрассе и стала приводить в порядок лицо и грудь. Это не удалось ей, да и не могло удалиться. Она даже вздохнула. Георг подумал: куда-нибудь мы все-таки пойдем. Он ласково взял ее под руку. Они быстро зашагали по улице. Она первая заметила полицейского на углу Дальменштрассе. Она потянула Георга в подворотню.

— Теперь всё строже, — сказала она.

Они шли под руку, тщательно обходя постовых, прошли несколько улиц. Наконец, они были у цели. Маленькая площадь, не квадратная и не круглая, а и то и другое, как дети рисуют окружность. И площадь, и надвинутые друг на друга шиферные крыши показались Георгу знакомыми. «Ручаюсь, что я тогда жил здесь вместе с Францем».

Поднимаясь по лестнице, они были вынуждены пройти мимо маленькой группы людей, два молодчика и две девушки. Она навязала кучному парню, который был почти на две головы ниже ее, талстук и тянула

кончики вверх. Кудный тянул их вниз, девушка — опять вверх. У второго было бритое лицо, он несомненно косил и очень хорошо был одет. Вторая девушка, в длинном черном платье, поразительно хороша, бледное личико, скруженное облаком вихляющего бледного золота. Однако замеска была теперь для Георга невозможна, она вызвала бы невозможную путаницу. Да и не все ли равно? Да и эта невиданная красота, вероятно, просто ему примерещилась. Он еще раз обернулся. Все четверо внимательно посмотрели на него. В самом деле, девушка оказалась вовсе не такой красавицей, у нее был заостренный нос. Один из парней крикнул:

— Спокойной ночи, Вэнгхен. — А герцога крикнула в ответ: — Спокойной ночи, «косой». — Когда она отпирала дверь, маленький крикнул: — Не подкачай. — Она крикнула: — Заткнись!

— Это кроватью называется? — сказал Георг.

Она начала страшно браниться: — Шел бы тогда в Английский двор, на Каизерштрассе...

— Помолчи-ка, — сказал Георг, — послушай-ка. Со мной кое-что случилось, что — тебя не касается. Горе у меня. Я с тех пор глаз не сомкнул. Если ты добьешься того, чтобы я заснул, ты кое-что от меня получишь, я кое-что тебе подарю, и у меня есть что подарить. — Она удивленно на него посмотрела. Ее глаза загорелись, словно в мертвую голову вчужди свечку, затем она заявила очень решительно: — Сговорился.

В двор опять загрэхали. Кудный просеудил голову. Обвел комнату глазами, словно он забыл здесь что-то. Она подбежала к двери и стала браниться, но вдруг умолкла, так как он движением бровей вызвал ее из комнаты.

Георг слышал, как все пятеро за дверью шептались наперебой, они старались говорить как можно тише и тем сильнее шипели. Все же он не разобрал ни слова; шипение вдруг смолкло. Он схватился за горло. Или это комната сузилась, и ее четыре стены, потолок и пол сдвинулись? Он решил: «вон отсюда».

Но она уже вернулась. Она сказала:

— Не смотри же на меня таким злобой.

Она взяла его за подбородок. Он отшвырнул ее руку.

Затем, вот чудо, он действительно заснул. спал ли он часом? Минуты?

Сознание Георга медленно возвращается. Вместе с сознанием сейчас вернется и безумная боль в пяти-шести точках тела. Однако чувство свежести и бодрости не исчезало.

Значит, он действительно спал. «Я все ей отдам, — размышлял он, — что у меня есть!» Почему, собственно, он прознулся? Ведь свет был выключен. Только свет фонаря падал со двора в маленькое окно над кроватью. Когда он сел, его гигантская тень на противоположной стене тоже села. Он был один. Он прислушивался и ждал. Ему почудился на лестнице какой-то шорох; слабо поскрипывание под босыми ногами или под лапами кошки. Ему было невыразимо жутко перед лицом его гигантской тени, тянувшейся до потолка. Вдруг тень дрогнула, словно намеревалась ринуться на него. В памяти пронеслось молнией: четыре пары пристальных глаз, смотревших ему вслед, когда он перед тем поднимался вверх. Голова кудного в дверной щели. Шорох на лестнице. Он вскопился на кровать и выпрыгнул через окно во двор. Он упал на груду капустных кочнов, вскочил, побежал дальше... Он свалил с ног кого-то, кто преградил ему дорогу, лишь через секунду он поваял: женщину. Он налетел на кого-то, лицо в лицо — два глаза, выгнувшиеся в его глаза, рот, заревевший ему в рот. Они катались по мостовой, от ужаса выплывших друг в друга. Зыбгагами побежал он затем через площадь в какой-то переулок, оказавшийся вдруг тем самым переулком, в котором он много лет назад спокойно жил. И, словно во сне, узнал он и камни, и клетку с птицей над сапожной мастерской. И вот ту дверь во двор, через которую можно пройти в другие дворы, а отсюда на Болдунггэссхен. Но если калитка заперта, мелькнуло в его голове, все кончено. Калитка была заперта. Но что значит запертая калитка, если от этого только крепче напрягается тело, чуя за спиной погоно? Ведь все здесь было рассчитано на обычную силу. Он пробежал через дворы, остановился, чтобы отдышаться, в каком-то подъезде, прислушался, здесь все еще было тихо. Он отодвинул засов. Он вышел на Болдунггэссхен. Он слышал свистки, но они все еще доносились с Антонплац. Он снова побежал путаной сетью переулков. Было опять как во сне, кое-что осталось прежнее, кое-что стало иным. Вон все еще висит божья мать над воротами, но улица тут же обрывалась, в конце какой-то площадь, которой он совсем не знал. Он пересек незнакомую площадь, погрузился в рой улочек, очутился в другой части города. Запахло землей и садами. Он перелез через невысокую решетку и забился в чащу ограды из кустов. Он сел, стараясь отдышаться. Затем прополз еще кусок и остался лежать, так как силы его вдруг иссякли.

Некогда при этом не были его мысли так ясны. Он лишь теперь пришел в себя. До

сих пор он бежал своим путем под действием какой-то принудительной силы, словно лунатик. И все шло благополучно, ведь он был ведом теми силами, которые оберегают лунатика и только с его пробуждением перестают. Так ему, быть может, удалось бы довести побег до благополучного исхода. Но, к сожалению, он проснулся окончательно. Усиленным вели прежнего состояния не вернуть. Его знобило от страха. Все же он терзал себя в руках, хотя был наедине с собой. «Я буду и сейчас, и всегда держать себя в руках.— мысленно произнес он,— буду до конца вести себя достойно». У него закружилась голова, он схватился за ветви. Они скользнули у него между пальцами, в руке осталось что-то клейкое, он посмотрел что: большой цветок, каких он, помнится, никогда не видел. Так сильно было головокружительное ощущение уходящей из-под ног земли, что он поспешил снова ухватиться за ветви.

Путь, которым он бежал, был точно установлен, объявление о побеге передано повсюду, радио и газеты уже запечатались в сознании всех людей его предметы. Ни в одном городе за ним так не охотились, как здесь.

Пачо было уходить отсюда. За его матерью наверняка следят. За его женой, за Элли, носившей его фамилию, наверняка следят. Следили за его двумя-тремя друзьями, могли следить за его учителями, и братьями, и возлюбленными. Весь город — как сеть. Он уже попал в нее. Он должен выскользнуть. Как он выберется из города? Не лучше ли просто сидеть здесь, пока его не найдут? Он возмущился, словно, кто-то осмелился приписать ему подобное намерение. И если у него оставалось силы на одно единственное движение, приближавшее его к свободе, каким бы оно бессмысленным и бесполезным ни было, он все же хотел это движение сделать.

Совсем рядом, у ближайшего моста, уже начала работать землечерпалка. «Моя мать это теперь тоже наверняка слышит.— пришло ему на ум.— Мой младший братишка тоже слышит».

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

1

Эта почта, которую он провел без сна, еще не кончилась, а бургомистр из Обербухенбаха, Петер Вурц, ныне бургомистр двух слившихся деревень — Обер и Унтербухенбаха, уже встал со своего мучительного ложа, прокрался через двор в хлев и сол там, в самом темном углу, на скамеечку для доения. Он отер с лица пот. С тех пор как вчера радио огласило фамилии

беглецов, все мужчины, женщины и дети в деревне только и старались на него поглядеть. Правда ли, что лицо у него совсем зеленое? Правда ли, что с ним сделалась трясушка? Правда ли, что он вдруг высох?

Вурц, сидя на своей табуретке, ломал руки, так что суставы трещали.— Время доения еще не началось, вымя коров еще не набухло, и коровы стояли совершенно неподвижно. Вурц то и дело вскрикивал, делал усилие, чтобы снова овладеть собой, и снова вскрикивал. Он думал: ведь и сюда он может прокрасться, он и тут может меня подстеречь. Человек, которого он так боялся, был Альдингер, тот старик-крестьянин, которого Георг и его товарищи по лагерю считали не совсем в своем уме.

Старший сын Вурца был некогда с младшей дочкой Альдингера все равно, что помолвлен. Собирались просто несколько лет подождать. Парни были рядом, даже два маленьких виноградника на том берегу Майна, которые потом, когда виноград оказался делом несостоящим, были пущены под другое. В то время бургомистром Унтербухенбаха был Альдингер. Затем одна из его дочерей в тридцатом году влюбилась в какого-то парня, занятого на прокладке Вертгеймовского шоссе. Альдингер не препятствовал им, для него это была выгодная комбинация, у парня был собственный заработок, молодая пара переехала в город. В феврале тридцать третьего зятя появился в деревне — и это никого не удивило: как и многие рабочие маленьких городков, чьи взгляды слишком были известны, он предпочел в первый период арестов и преследований посещаться в деревне у родных. Он снова исчез, когда Вурц, по совету сыновей, сообщил об этом госте полиции. Тем временем Альдингер, перед предстоящим слиянием деревень, собрал вокруг себя группу людей, считавшую, что если Альдингер не сможет остаться бургомистром, то не следует на этой должности оставаться и Вурцу и что возглавлять новую общину должен кто-то третий. Эту группу поддерживал и священник, который жил и проповедывал в Унтербухенбахе, раз уж там были выстроены церковь и дом священника.

Зятя Альдингера действительно размышляли. В течение ряда лет собирал он взносы в свой профсоюз и на маленькую рабочую газетку. Несмотря на все свое предубеждение против чужаков, жителям Бухенбаха в этом человеке чудилось что-то необычное, когда он, во время уборки урожая, помогал Альдингеру за хлеб и колбасы, чтобы прокормить семью, состоявшую из пяти душ. Только с сыновьями Вурца ссорился он в трактире: они уже и тогда заигрывали со штурмо-

виками. Это и навело их на мысль получить отца.

Вурц даже испугался, так быстро подействовал его донос. Альдингера действительно забрали. Ему, Вурцу, оно было важно — устроить Альдингера, пока его самого не утвердят в должности. Ему было бы даже приятно насладиться злостью Альдингера. Однако это не удалось по необъяснимым причинам. Альдингер больше не появлялся. Вурцу первое время трудно было на новой должности. Но сыновья и приятели сыновей утешали его. Новые люди — сам фюрер, как и Вурц, — должны стойко выполнять свои обязанности, несмотря на всю трудность починя и враждебность окружающих.

Если на Бухенбах смотреть с самолета, то нельзя не залюбоваться на него, какое оно лежит там внизу, чистенькое и аккуратное, с его церковной колокольней, с его пашенками и рощицами. Однако если проезжаешь через него, то возникает несколько иное впечатление, особенно если есть время и охота взглядеться попристальнее. Пavedа, все дороги очень чисты и школа заново выкрашена, но почему корова все еще ходит в упряжке, хотя она и стельная, почему пугливо озирается ребенок, напихавший полный передничек травы?

В обеих деревнях вместе взятых найдется всего две лошади. Ни пролетая, ни проезжая, не увидишь, что из двух лошадей одна принадлежит Вурцу, а вторая пять лет назад, после выплаты страховки, попала не совсем чистым путем обратно к владельцу. В этой тихой, чистенькой деревушке царит нужда, горькая нужда.

— Землю Гитлеру не переделать, — говорили вначале в Бухенбахе. — Но Алонз Вурц никогда не одолжит нам своей лошади.

Что больше всего взбаламутило жителей Бухенбаха, так это история с поместьем. Оно всегда было поместьем, а теперь в нем устроили образцово-показательную деревню. Тридцать семей из окрестных деревень были переселены туда. Главным образом те из крестьян, которые знали еще какое-нибудь ремесло и имели много детей. Из Берлингена взяли кузнеца, из Вейлербаха — сапожника. На будущий год опять будут переселять. В каждой деревне люди надеялись на это. Это было... как главный выигрыш в лотерею. Теперь многие считали, что этот Вурц, позволив тогда сыновьям поступить в штурмовики, сделал правильный ход. Если хочешь иметь право жить в этом поместье, если хочешь весь год поддерживать себя хоть слабой надеждой на дом в поместье, надо по крайней мере не показывать Вурцу, через руку которого проходили все бумаги деревенских жите-

лей, своей враждебности. Даже у Альдингеров не следовало появляться особенно часто; вокруг этих людей медленно смыкалось тесное кольцо. Об Альдингере уже и не спрашивали, может быть, он и вправду уже умер. Альдингерова жена ходила в черном, поджимала губы, часто посещала церковь, к чему всегда имела склонность. Ее сыновья никогда не бывали в трактире.

Но вчера утром, когда радио сообщило о побеге, все снова изменилось. Теперь уж никому не хотелось быть в шкуре Вурца. Альдингер ведь человек решительный, уж он раздобудет себе ружье, если действительно проберется в деревню. Вурц все-таки сделал нехорошее дело — ложно свидетельствовал на ближнего. Из-за него теперь вся деревня опеплена. Штурмовики, в числе которых и собственные сыновья Вурца, охраняют деревню. Только все это ни к чему. Альдингер же знает местность, он вдруг выпрыгнет где-нибудь, и Вурц лишится своей должности, да и неудивительно. Сторожи не сторожи — не поможет.

Вурц вздрогнул. Он узнал свою старшую сестру, жену Алонза, по бряканью ее ведра для доения.

— Что ты тут делаешь? — спросила она. — Мать ищет тебя.

Она смотрела ему вслед через дверь хлева, как он крадется по двору, словно он-то и есть беглец. Ее рот скривился. Вурц всегда помыкал ею, с тех пор как она вошла к ним в дом; и теперь она злорадствовала.

2

Если дела Беллони, поскольку они касались Вестгофена, были с его смертью завершены, оставался все же ряд и незавершенных дел, касавшихся других сторон жизни. И эти дела отнюдь не были, как говорят про дела, пропыланными и истлевшими. Глеть начинал сам Беллони, его же дела остались нетленными. Ведь кто-нибудь же ему помог? С кем-нибудь же он говорил? Где эти люди? Значит, они еще есть в городе? Обнюхав пивные, где собирались артисты, шпикеры уже в среду ночью напали на след фрау Марелли, которую в артистическом мире все знали. Эта ночь еще прошла не вся — Вурц, бургомистр Бухенбаха, еще сидел на своей скамеечке для доения. — а она уже поднялась вверх к фрау Марелли. Она не спала, а сидела и нашивала при свете лампы металлические пластинки на юбочку, принадлежавшую женщине, которая выступала в среду вечером в театре им. Шумана и хотела уехать ранним поездом на свой четверговый ангажемент. Появленной полицией, заявившей, что фрау Марелли дол-

жна поехать с агентами на допрос, связанный с делом большой срочности, старуха была ошеломлена, но только оттого, что обещала танцовщице к семи часам отделать юбку. Мундир штурмовика или охранника так же мало тревожил ее, как и поблескивание имен-ных жетонов тайной полиции; оттого, ли, что она относилась к разряду людей, не знавших за собой пылкой вины, оттого ли, что ее профессия научила ее знать цену всем этим внешним побрякушкам и переодеваниям.

Вместе с юбкой она завернула пакетик металлических пластинок и принадлежностей для шитья. Она написала записку, привязала сверточек к паружной ручке двери, затем спокойно последовала за обоими агентами гестапо, ни о чем не спрашивая, так как ее мысли были заняты юбкой, висевшей на дверной ручке, и удивилась лишь тогда, когда они подъехали к больнице.

— Вы знаете этого человека? — спросил один из двух комиссаров.

Он откинул с лица платок. Правильное, почти красивое лицо Беллони изменилось лишь слегка—можно было бы сказать, затуманилось. Комиссары ждали обычного в таких случаях взрыва искреннего или напускного отчаяния, которое живые считают обязательным перед лицом умерших, но у женщины вырвалось только легкое «О!», словно она хотела сказать: «Как жалко!»

— Значит, вы узнаете его? — сказал комиссар. — Разумеется, — сказала женщина, — это маленький Беллони.

— Когда вы в последний раз говорили с этим человеком?

— Вчера... нет, третьего дня рано утром, — сказала женщина. — Я еще удивилась, что он пришел так рано. Мне еще пришлось кое-что зашить ему на его сюртуке, он был проездом...

Она невольно поинтересовалась глазами сюртук. Комиссары наблюдали за ней, причем кивками передали друг другу свое впечатление, что она говорит правду, хотя абсолютно положиться на это, конечно, нельзя. Комиссары спокойно ждали, пока ее речь вытечет капля по капле. Капли все еще падали.

— Это случилось во время репетиции? Разве они и здесь еще репетировали? Разве он тут выступал? Они ведь хотели с двенадцатичасовым ехать в Кельн? Я еще спросила его: милый мальш, а ты в хорошей форме? Как же это случилось?

— Фрау Марелли! — воскликнул комиссар с той устрашающей и неестественной серьезностью, с какой чиновники уголовного розыска делают подобные сообщения, так как им важно впечатление, а не содержание: — Беллони погиб отнюдь не во время своего

выступления, с ним случилось несчастье при побеге.

— При побеге? При каком же?

— При побеге из лагеря Вестгофен, фрау Марелли.

— Как? Когда? Он же был два года назад в лагере. Разве его не выпускали давным-давно на свободу?

— Он все еще был в лагере, он бежал. Вы хотите убедить нас, что не знали этого?

— Нет, — сказала она просто, по таким тоном, что оба комиссара окончательно убедились в ее полном неведении обо всем происшедшем.

— Да, во время побега. Он вчера солгал вам...

— Ах, бедняга, — сказала женщина.

— Бедняга?

— А что ж он, по-вашему, богатый был?

— Хватит болтовни, — сказал комиссар.

Женщина нахмурилась.

— Садитесь-ка лучше. Подождите, мы прикажем подать вам кофе, вы ведь еще ничего не ели.

— Это неважно, — отозвалась женщина спокойно и с достоинством. — Я могу подождать и до дома.

Комиссар сказал:

— Пожалуйста, расскажите нам теперь со всеми подробностями, как вас посетил Беллони, когда он пришел? Что ему от вас было нужно? Каждое слово, которое он сказал вам. Пойдите! Беллони мертв. Но это не защищает вас от тяжелого, от самого тяжелого подозрения. Все зависит от вас самих.

— Сын мой, — сказала женщина, — вы, вероятно, ошибаетесь относительно моего возраста. Мои волосы крапленые. Мне шестьдесят пять лет. Я всю жизнь работала, не разгибая спины, хотя многие, не знающие нашего ремесла, имеют неверное представление о нашей работе. И сейчас еще мне приходится работать не разгибая спины. Чем же вы мне грозите?

— Тюрьмой, — отвечал комиссар сухо.

Фрау Марелли вытаращила глаза, как сова.

— Так как у вашего друга, которому вы помогли бежать, немало трюхов на совести. Если бы он сам не сломал себе шеи, тогда может быть, и... — он рассек воздух ладонью. Фрау Марелли вздрогнула. Однако потом оказалось, что она вздрогнула от пришедшей ей в голову мысли. С таким выражением, словно из-за всего этого вздора позабыли о главном, вернулась она к постели Беллони и натянула ему на лицо простыню. Было видно, что эту услугу она оказывает не впервые.

Но затем у нее ослабели ноги. Она села и спокойно сказала:

— Пусть все-таки принесут кофе.

Но комиссаров охватило нетерпение, каждая минута была дорога. Они встали по сторонам стула и скрестили гладко сработанные и пригнанные друг к другу вопросы:

— Когда точно он явился? Как он был одет? Зачем он пришел? Чего он хотел? Чем заплатил? У вас сохранился банкнотный билет, с которого вы сдали ему сдачу?

Да, он даже у нее тут, в сумочке. Они записали номер, сравнили истраченные деньги с суммой, найденной при покойном. Многого не доставало. Разве Беллони перед своей прогулкой по крышам еще что-нибудь покупал?

— Нет, — сказала женщина. — Он оставил у меня эти деньги. Он был одному человеку должен.

— А вы их уже отдали? — Неужели вы думаете, что я деньги умершего прикарманю? — спросила фрау Марелли.

— За ними приходили?

Приходили, — повторила фрау Марелли, не вполне уверенным тоном, так как ей уже стало ясно, что она сказала немного больше того, что хотела.

Комиссары остановились.

— Спасибо, фрау Марелли. Мы сейчас в автомобиле отвезем вас домой. Кстати ознакомимся немного с вашей квартирой.

Оберкамн не знал, свистеть ему или шипеть, когда из Вестгофена пришло донесение, что в квартире фрау Марелли найден пухлер, который этот беглец Георг Гейслер выменял на куртку лодочника. Гейслер мог бы уже быть возвращен обратно, если бы они не положились на показания ученика садовода, глупого мальчишки. Собственной куртки не узнать! Неужели это возможно? Пил тут что-то есть? Что? Гейслер, значит, все-таки пошел в свой город? Оставался открытым вопрос о том, продолжает ли он там скрываться, или, переодевшись в другое платье, может быть, снабженный деньгами, он уже давно смылся? Охрана была усилена. Все дороги, которые вели из города, перекрестили вокзалы, мосты, переправы охранялись так зорко, словно началась война. В напечатанных снова объявлениях о побеге сумма за поимку беглеца была повышена до 5 000 марок.

— Это деревцо прямо для Гейслера выросло, — сказал Фаренберг. — Поперечную перекладину понижее. Постарайтесь наклониться. — Внутренний голос подсказывает мне, что в конце недели деревцо даст беглецу возможность отойти от перенесенных испытаний.

— Ваш внутренний голос? — спросил Оберкамн.

Он посмотрел на Фаренберга тем профессиональным взглядом, каким смотрел на других людей: «Да, почти готов».

Во время войны Фаренберг женился очень молодым, по необходимости. Его пожилая жена и две почти взрослых дочери жили вместе с его родителями в том доме на рыночной площади, в подвальном этаже которого помещалась контора по прокладке труб. Старший брат, прокладчик, погиб на войне. Предполагалось, что он, Фаренберг, будет изучать горнопромышленность.

Война, тревожное время помешала ему тогда восполнить усердием то, па что ему не хватало ума. Вместо того, чтобы заниматься вместе с отцом прокладкой труб, он предпочел обновлять Германию, захватывать вместе со своими штурмовиками маленькие городки и, прежде всего, свой родной городок, в котором раньше считался никудышником; обстреливать рабочие кварталы, пороть юношей и, наконец, вопреки всем мрачным пророчествам отца и соседей, явиться в отпуск в аксельбантах, с деньгами в кармане, обеспеченным властью.

Из всех призраков, посещавших Фаренберга за последние три ночи, самым жутким был: двойник самого Фаренберга в голубой блузе прокладчика, продувающий засоренную канализационную трубу. Последнее допесение о найденном пухлере показалось ему ответом на все его ночные молитвы, знаком помощи в беде и обещанием, что он не будет подвергнут самому страшному наказанию — лишению власти.

«Прежде всего надо досыта поесться, — сказал себе Георг, — иначе я и двух шагов не сделаю».

Улицы окраин были еще пусты. За театром уже начиналась жизнь, словно день наступал из центра города. Когда Георг вошел в закусокную, услышал запах кофе и супов, увидел под стеклом витрины хлеб и тарелки с кушаньями, он забыл от голода и жажды и страх и надежду. Он разменял у кассирши марку из денег Беллони. С какой мучительной медлительностью повертывался автомат и бутерброд приближался к отверстию! Как трудно ждать, чтобы чашка под тоненькой ниточкой кофе, наконец, наполнилась.

В закусокной было довольно много народу. Два молодых парня в фуражках газового обшества отнесли свои чашки и тарелки на один стол, к которому были приделаны их сумки с инструментами. Они ели и болтали, затем вдруг один умолк на полуслове, уставился куда-то перед собой. Он не заметил, что его друг с удивлением смотрит на него

и затем оборачивается, следуя за его взглядом.

Тем временем Георг насытился. Он вышел из закуской, не глядя ни направо, ни налево. При этом он слегка задел того самого ларня, который при виде его вздрогнул. — Ты узнал его? — спросил товарищ. — Фриц, — сказал первый. — ты же его тоже знаешь. Знал его раньше.

Товарищ посмотрел на него неуверенно.

— Это же безусловно Георг, — продолжал первый громко, совершенно вне себя. — Да, Гейслер, да, беглец. — Тогда другой сказал с полуулыбкой, покосившись:

— Ты ведь мог на этом заработать.

— Мог бы! А ты мог бы?

Вдруг они посмотрели друг другу в глаза тем страшным взглядом, которым смотрят глухонемые люди или очень умные животные. словом, все те создания, чей разум на всю жизнь заперт в тюрьму.

Затем в глазах одного из них что-то вспыхнуло, оно развязало ему язык.

— Нет, — сказал он, — и я бы этого не сделал. — Они собрали свои инструменты. Раньше они были добрыми друзьями, затем наступили годы, когда ни о чем серьезном нельзя было говорить друг с другом, из страха выпать себя, если друг изменился.

Теперь выяснилось, что оба они остались прежними. И они вышли из буфета друзьями.

3

Марнетты очень удивились, когда Франц рано утром предложил до смены отвезти корзину с яблоками, кузину и тетку на рынок. Это было что-то новое в его обычаях. Когда они сошли вниз, оказалось, что Франц уже занялся укладкой. — Ты успеешь еще спокойно выпить кофе, — сказала Августа, смягченная. Когда они на грохочущей телеге съезжали с горы, в небе еще сияли месяц и звезды.

В своем чулане, где так и остался запах яблок, хотя яблоки были уже вчера ушакваны, Франц всю ночь ломал себе голову: «Будь я на месте Георга, если он действительно здесь, к кому мог бы я обратиться?» И, подобно тому как политика, на основе всех своих актов, карточек, всех своих протоколов, всех своих сведений о прежней жизни беглеца набрасывала на город все более частую сеть, так же плел и Франц свою сеть, становившуюся с часу на час все чаще, так как в его памяти возникали все те люди, о которых ему было известно, что с ними был когда-то связан Георг. Правда, ему нужны были другого рода знания, чтобы всех их поднять в своей памяти. Наверно, среди них

были такие, которые фигурировали и в материалах полиции. «Только бы он не пошел к Брандту, — думал Франц, — тот, кажется, работал здесь четыре года назад. Только не к Шумахеру. Он может даже на него донести... По тогда к кому же? К толстой кассирше, с которой Георг сидел когда-то на скамейке, порвав с Элли? К учителю Дегрейфу, которого он шной раз посетил? Разве к маленькому Редеру, к которому он был привязан? Редер был товарищем Георга по школе, по футболу. К одному из его собственных братьев? Неудачные парни. Да и кроме того, за ними, наверно, следят».

Марнетты не торговали постоянно на уличном рынке в Гехсте. Только весной привозили они первые овощи и осенью — лучшие сорта яблок на большой крытый рынок в Франкфурте. Они были достаточно состоятельны, чтобы не таскать к оптовому каждую мелочь. Их правилом было — сначала обеспечить собственную семью. Если в какой-нибудь год нехватало наличных денег, один из сыновей мог подработать на фабрике.

Здоровенная Августа помогла Францу разгрузить яблоки. Фрау Марнет аккуратно разложила товар. Держа в одной руке ножичек, а в другой разрезанное для пробы яблоко, она стала ждать обещанного оптовика.

«Если Элли действительно придет, — думал Франц, — то ей пора уже быть». Он давно замечал то там, то здесь плечо, шляпу или вообще кусочек той, которая могла оказаться Элли. Наконец, он увидел ее лицо, худое и бледное от усталости, или ему почудилось, что увидел. Оно тотчас же исчезло за перемной из корзины. Он боялся, что ошибся, но вот, словно кто-то решил выпознать желание его сердца, она приблизилась, правда, с некоторой неуверенностью.

Элли поздоровалась с ним движением бровей. Он удивился, как хорошо она усвоила его наставления, с каким искусством начала разыгрывать покупательницу яблок. Слово не зная, что Франц принадлежит к семье Марнетов, упорно повертывалась она к нему спиной. Медленно разжевывала ломтик яблока. Торговалась из-за горки яблок, оставшейся у фрау Марнет от оптовика. Подобно всем удавшимся обманам, эта инциентированная покупка удалась ей именно потому, что Элли оказалась в ней действительно заинтересованной. Пробный кусочек яблока она нашла очень вкусным и сама не хотела, чтобы покупка оказалась для нее невыгодной. Зная она также, каким неотступным было над ней наблюдение, искуснее она не сумела бы притвориться.

Вместо молодого человека с усамп, которого Элли, может быть, уже заметила, появилась толстая особа, с виду сиделка или

учительница рукоделия. Однако усатый еще не оставил своего дела, он все еще принадлежал к группе наблюдателей. Он наблюдал из кондитерской. Правда, идя сюда, Элли все время оглядывалась, не следят ли за ней, как предпологал отец, как предполагал Франц. Она думала, что ее преследователь должен непременно идти за ней и что это должен быть мужчина. Но она никого не заметила, кроме вот этой, круглой, как шар, добродушной женщины, которая тоже скоро исчезла, так как на условленном месте ее сменил новый агент. Однако пока все шло гладко, на Франца еще никто не обратил внимания. Элли очень спокойно толковала о покушке, и этот разговор служил ей прикрытием. С Францем она вообще не разговаривала. Единственные слова, произнесенные Францем, были обращены к фрау Маргет:— Корзинки можно пока поставить у Берендсов, я после смены привезу их, мне все равно придется сюда вернуться.— Августа тут же смекнула, в чем дело, но что покупательница именно и есть та девушка, из-за которой Франц дважды хотел приехать в город, это ей и на ум не пришло. Правда, ее мнение об Элли уже было составлено: топа, как спаржа, шляпа грибом, спаржа в кудряшках. Если она по будням в такой блузке разгуливает, какую же блузу она надевает в воскресенье? Когда Элли ушла, она сказала Францу:— Ну, этой на юбку много материала не надо, и то выгодно.

Франц сдержал свои чувства и ответил:

— Не у всякой может быть такой зад, как у Софи Мангольд.

Когда в трамвае Георг заглянул в газету, на четвертое утро после своего побега, шла та неделя октября, во время которой Испания сражалась за Теруэль и японцы вторглись в Китай,— он не был этим особенно удивлен: значит, так обстояли дела. Это были заголовки, говорившие о старых историях, некогда потрясших его сердце. Но сейчас для него существовало только мгновение. Когда он перевернул страницу, его взгляд упал на три фото. Они были мучительно знакомы. Фюллерграббе, Альдингер и он сам. Он сложил газету в совсем маленький пакетик. Сунул в карман. Торопливо взглянул направо и налево. Старик, стоявший рядом с ним, посмотрел на него, как почудилось Георгу, очень пристально. Вдруг Георг выскочил из трамвая.

«Я лучше не буду садиться в трамвай,— сказал он себе.— в трамвае ты заперт. Я выйду из города пешком». Георг торопливо прошел мимо заставы. Внезапно схватился за сердце, там что-то хрустнуло, но он уже снова шагнул дальше. Он пробежал мимо му-

зея, миновал маленький рынок. Миновал Эшенгеймергассе, прошел мимо Франкфуртер Цейтунг. Он добежал до Эшенгеймеровской башни, перешел на ту сторону улицы. Теперь он бежал быстрее, так как ощущение угрозы, пронизавшее его, все усиливалось. Он уже не чувствовал страха, он был спокойнее, так как враг становился зрим. В его сознании жила одна единственная мысль: «За мной следят». И, словно его кожа стала чувствительней оттого, что голова стала тупее, он ощущал затылком два глаза, которые с той стороны улицы, под башней, неотступно за ним следят. Вместо того чтобы идти вдоль рельсов, он забежал в какой-то сквер. Вдруг он остановился: что-то заставило его обернуться. От группы людей на остановке перед башней отделился человек, перешел к Георгу. Георг смотрит на него, выпучив глаза. Этот человек был Фюллерграббе — пятый из семи беглецов. Он выглядел, словно манекен из магазина готового платья. Что желтое пальто Беллонн в сравнении с этим! Как? Фюллерграббе поклялся же никогда не возвращаться в город. Чорт его знает, почему он изменил своему обещанию. Он всегда оставлял себе какую-нибудь лазейку. Они все еще словно не могли оторваться друг от друга, стояли лицом к лицу, прижав к телу локти. Наконец, Георг, сказал:

— Давай войдем сюда.

Он сел на залитую солнцем скамью, среди зелени. Фюллерграббе возил по песку носком своего башмака. И башмаки у него были такие же шкарные, как и костюм. «Как быстро он себе все это раздобыл»,— подумал Георг.

Фюллерграббе сказал:

— А ты знаешь, куда я как раз собирался? — Ну!

— На Майнцерландштрассе!

— Зачем? — спросил Георг.

Он запахнул пальто, чтобы не прикоснуться к пальто Фюллерграббе. «Да и Фюллерграббе ли это еще?» — пронеслось в его сознании. Фюллерграббе также запахнул свое пальто. Фюллерграббе сказал:

— Ты разве забыл, что находится на Майнцерландштрассе?

Георг сказал устало:

— Ну, что там может находиться!

— Гестапо,— сказал Фюллерграббе. Георг молчал. Он ждал, когда это странное приведение рассеется.

Фюллерграббе начал:

— Георг, знаешь ты, что происходит в Вестгофене? Знаешь ты, что они уже почти всех переловили, кроме тебя, меня и Альдингера?

Перед ними, на песке, в ярком солнце, их две тени сливались. Георг сказал:

— Откуда ты это можешь знать? — Он еще дальше отодвинулся от него, так что получились две аккуратно очерченные, отдельные тени.

— Ты, может быть, ил в одну газету не заглядывал?

— Нет, вот...

— На, взгляни, — сказал Фюльгравбе.

— Кого же они разыскивают?

— Тебя, меня и дедушку. Его-то уже, наверное, удар хватил, и он валяется где-нибудь в канаве. Он-то уж наверное не смог долго выдержать. Остаемся мы двое. — Он быстро ткнулся головой в плечо Георга. Георг закрыл глаза. — Если бы был еще кто-нибудь, они бы и его приметы описали. Нет, нет, остальных они поймали. Они поймали Валлау, Шельцера и этого, как его, Беллони. А крик Бейтлера я сам слышал.

Георг хотел сказать: «Я тоже». Его рот открылся, но он не издал ни звука. То, что сказал Фюльгравбе, правда, безумие и правда.

Он крикнул: — Нет!

— Нет... — сказал Фюльгравбе.

— Это неправда, — сказал Георг. — Это невозможно, они не могут поймать Валлау, он не из тех, кого можно поймать. — Фюльгравбе засмеялся.

— А как же он очутился в Вестгофене? Милый, милый Георг. Мы все с ума посходили, а Валлау был самый сумасшедший. — Он добавил: — А теперь с меня хватит. — Георг сказал:

— Чего хватит?

— Да этого сумасшествия. Что касается меня, то я нецелился. Я явлюсь.

— Куда явись?

— Я явлюсь, — повторил Фюльгравбе упрямо. — На Майнцербанштрассе. Я сдаюсь, это самое разумное. Я хочу сохранить свою голову, больше и пяти минут я не могу выдержать этой пляски безумных, а в конце концов, меня все-таки спалюют. Ты ничего возразить не можешь. — Он говорил совершенно спокойно, — все спокойнее. Он называл слово за словом, трезво и монотонно. — Это единственный выход. Через границу тебе не перейти, это невозможно, весь мир против тебя. Еще чудо, что мы оба на свободе. Вот мы добровольно с этим чудом и покончим, прежде чем нас поймалют. Теперь — конец чуду. Теперь — покойной ночи! Ты можешь себе представить, что Фаренберг делает с пойманными! Вспомни Циллвага, вспомни Бунзена, вспомни площадку для тапцев.

Георг испытывал ужас, бороться с кото-

рым он был уже беспешен, его силы были заранее парализованы. Фюльгравбе тщательно выбрит, его жидкие волосы причесаны, и от них пахло парикмахерской. «Точно ли это Фюльгравбе?» Но тот продолжал:

— Значит, ты все-таки помнишь? Помнишь, что они сделали с Кербером, о котором прошел слух, что он хочет бежать? А он и не собирался. Мы — бежали. — Георг начал дрожать. Фюльгравбе посмотрел на него, затем продолжал: — Поверь мне, Георг, я сейчас же туда пойду. Это наверняка самое лучшее. И ты пойдешь со мной. Я как раз направлялся туда. Сам бог свел нас друг с другом.

Его голос сорвался. Он дважды кивнул головой.

— Наверняка, — сказал он еще раз. Он еще раз кивнул головой. Георг вдруг содрогнулся:

— Ты же сумасшедший, — сказал он.

— Ну посмотрим, кто из нас обоих сумасшедший. Да, кто сумасшедший! — сказал Фюльгравбе и с той особой рассудительностью, из-за которой его считали в лагере вполне спокойным, вполне разумным человеком, так как он никогда не повышал голоса, продолжал: — Собери-ка остатки своего разума, паренек, оглянись-ка вокруг себя, быстренько, очень неприятно они с тобой покончат, если ты не пойдешь со мной, дружок, наверняка! Идем!

— Нет, ты совсем сумасшедший, — сказал Георг. — Да они за животы схватятся, если ты явись. Ты что думаешь?

— Будут смеяться? Пускай смеются. Но пусть меня оставят жить. Оглянись кругом, дружок. Ведь ничего другого тебе не остается. Если тебя сегодня не спалюют, так спалюют завтра, и ни одной собаке до тебя дела нет. Паренек, паренек! В этом мире кой-что стало по-другому. Ни одной собаке мы не нужны теперь. Решайся, пойдешь со мной. Это самое-самое-самое хитрое. Это единственное, что нас спасет. Идем, Георг.

— Ты совсем сумасшедший.

До сих пор они сидели одни на скамейке. Теперь к ним подседа женщина, в чепце пяташки. Спокойным привычным движением покачивала она детскую коляску. Огромная коляска, набитая подушками, и кружевами, и бледноглубокими балтами, а в ней — крошечное спящее дитя, дтевилно, спящее еще недостаточно крепко. Она поставила колясочку так, чтобы в нее не падало солнце. Вынула штитье. Она бросила быстрый взгляд на обоих мужчин. Она была, что называется, не молодая и не старая, не красивая и

не безобразная. Фюльгграббе ответил на ее взгляд не только глазами, но и крикой улыбки, какой-то жуткой судорогой всего лица. Георг это видел, его затосило.

— Пойдем, — сказал Фюльгграббе. Он встал. Георг схватил его за руку. Фюльгграббе вырвался. Его движение было более резким, чем то движение, которым Георг удержал его, так что он залел Георга рукой по лицу. Фюльгграббе наклонился над Георгом и сказал:

— Кто не хочет слушать советов, Георг, тот пеняй на себя. Прощай, Георг.

— Нет, подожди еще, — сказал Георг. — Фюльгграббе, действительно, еще раз опустился на скамью. Георг сказал шопотом, покосившись на женщину: — Не делай этого, не делай такого безумия. Самому лезть в западню. Ведь тебя же сразу прикончат. Ведь они еще никогда никого не пожалели. Ведь на них ничем нельзя произвести впечатления. Одумайся, Фюльгграббе.

Близко придвинувшись к Георгу, Фюльгграббе сказал совсем другим, печальным голосом:

— Милый, милый, Георг, пойдем. Ты же всегда был хорошим товарищем, пойдем со мной. Это же невыносимо страшно идти туда одному!

Георг посмотрел ему в рот, откуда выходили эти слова, в рот с редкими зубами, которые, вследствие слишком больших промежутков, казались чересчур крупными, зубья скелета. «Его дни, наверно, сочтены, вероятно, даже часы. Он ведь уже сумасшедший», — думал Георг. Он желал от всего сердца, чтобы Фюльгграббе поскорее ушел и оставил его одного и в здравом уме. Вероятно, Фюльгграббе в тот же миг подумал то же самое про Георга. Ошеломленный, он взглянул на Георга, словно только сейчас поняв, с кем, собственно, он имеет дело. Затем встал и поспешил прочь. Он исчез за устами так быстро, что у Георга возникло ощущение, словно эта встреча ему только прикинулась.

Тогда его потряс приступ страха, такого глубокого и бурного, как в первые часы побега. Этот страх всколыхнул его тело и душу несколькими быстрыми толчками. Приступ, продолжавшийся три минуты, по их тех, от которых волосы седеют. Тогда он был в одежде арестанта, и выпл сирены, теперь было хуже. Смерть была так же близка, но не за спиной, а повсюду. От нее нельзя было ускользнуть, он ощущал это всем телом, словно сама смерть была чем-то явным, как на старинных картинах, каким-то существом, которое прячется за

клубами с астрами или за детской коляской и может выйти откуда и коснуться его.

Вдруг приступ прошел. Георг отер со лба пот, словно после одержанной победы. Да оно так и было, хотя сам он не понимал, что произошло внутри него. «Что это со мной было? Что это мне рассказывали? Неужели это правда, Валлау, что ты в их руках? Что они делают с тобой?»

«Спокойствие, Георг. Ты думаешь, тебя в другом месте пощадят? Если бы ты был в Испании, думаешь ты — там щадят? Думаешь — повиснуть на колючей проволоке или получить пулю в живот лучше? И этот город, который сегодня боится принять тебя, если на него с тебя посыплются грабати, он тоже перестанет бояться... Но, Валлау, я одинок. В Испании люди так не одиноки и даже... в Вестгофене. Я так одинок, как никто и нигде.

Спокойствие, Георг. У тебя много друзей... Сейчас они несколько разбросаны, но это ничего».

Позади большой клумбы с астрами, над газонами, над зелеными и коричневыми кустарниками, может быть, на площадке для игр или в чем-то саду, катались взад и вперед качели. Вдруг Георг решил: «Я должен опять начать все сначала. Все снова продумать. Во-первых, нужно ли мне действительно выбраться из города. Какой в этом толк? Как я, вообще, двинусь дальше? Переходить границу без помощи, да меня тысячу раз поймают. Деньги у меня скоро все выйдут. А пробиваться, как до сих пор, без денег, от случая к случаю, для этого я слишком ослаб. Здесь в городе я знаю людей. Ну, хорошо, моя девушка меня не приняла. Что это доказывает? Есть другие люди. Моя семья, мать, братья? Невозможно, за всеми слежка. Элли, ведь она меня посетила тогда? Невозможно, за ней наверняка следят. Вернер, который был со мной в лагере? Также следят. Священник Зейц, который, как говорят, помог Вернеру, когда тот вышел. — невозможно, почти наверное следят. Кто же из друзей еще может быть здесь?»

До ареста в его жизни были люди, на которых можно было положиться, как на каменную гору.

Среди них был Франц... «Но Франц далеко отсюда, — размышлял Георг. — В другом городе». Все же он задержался мыслью на нем. Расточительные минуты, которых ему было оставлено так немного. И все-таки есть утешением говорить себе, что где-то есть человек, который сейчас оказался бы ему полезен. Если такой человек есть, то его теперешнее одиночество только случайность.

Да, Франц именно тот, к кому надо было бы пойти. Ну, а остальные? Он взвешивал их одного за другим. Это взвешивание было изумительно простым, ошеломляюще быстро производил он отбор, словно та опасность, в которой он сейчас находился, служила особым химическим веществом, беспощадно выявлявшим тайную суть того материала, из которого сделан человек. Через его сознание прошли несколько десятков людей, ничего не подозревавших; они занимались в это время своим ремеслом или тыкали вижкой в тарелку. Ничего не подозревавших, а какие странные весы они были в этот миг положены. Страшный суд, без трубного гласа, в ясное осеннее утро. Георг отобрал четверых.

Он был твердо уверен, что у каждого из этих четырех мог бы быть убежище. «Но как к ним добраться?» Ему представилось, что в ту же минуту перед их дверями очутились часовые. «Я сам не должен идти туда, — сказал он себе. — Другой должен пойти за меня. Другой, которого никто не может заподозрить, что он со мной связан, и все же человек, который все для меня сделает». Он снова начал перебирать свои воспоминания. Он снова почувствовал себя одиноким, словно не рожден родителями, не вырос с братьями, словно никогда не играл с другими мальчиками, никогда не боролся вместе с товарищами. Бесчисленные лица — молодые и старые — пронеслись в его сознании. Вдруг он заметил одно лицо, все осыпанное веспушками, не старое и не молодое: либо Паульхен Редер на школьной скамье действительно казался взрослым мужчиной, а в день своей свадьбы — подростком, идущим к первому причастию. Когда им обоим было двенадцать лет, они сыграли свой первый футбольный матч. Они были неразлучны до тех пор, пока другие мысли, другие дружбы, другой строй жизни не определили судьбу Георга. Весь год, что он прожил с Францем, он не мог отделаться от смутного чувства вины перед маленьким Редером. Он никак не мог объяснить Францу, почему ему стыдно, оттого что он понимает какие-то мысли, которых Редер никогда не поймет. Он снова был готов стать прежним и отказаться от всего, что он знал, чтобы быть на уровне своего маленького школьного друга. Смутный клубок воспоминаний, из которого затем родилась одна ясная мысль: «Я хочу быть в четыре в Боненгейме, я хочу быть у Редеров».

4

В этот вечер племянники Элли вывешивались из окна, чтобы видеть, как привезут

в подарок яблоки. Это были дети того штурмовика, которым его тесть, старик Меттенгеймер, хвастал во время допроса. Элли знала, что Франц придет только тогда, когда все семейство разойдется по соответствующим местам: зять — в штурмовой отряд, дети — в детский сад, сестра — это, впрочем, не наверно — на свой женский вечер.

Эта сестра была на несколько лет старше Элли, с более высокой грудью, более резкими чертами лица, в которых, однако, не было, как у Элли, оттенка грусти, скорее веселость. Ее муж — Отто Рейнерс — был днем банковским чиновником, вечером — штурмовиком, а ночью — поскольку он бывал дома — сочетанием того и другого.

В темных снях Элли при своем приходе не заметила, что столь похоже на ее лицо — лицо фрау Рейнерс ошеломлено и расстроено. Она пробормотала: — Как это ты сюда попала, Элли? — Элли сообщила ей по телефону о яблоках. Узнав об этом, Рейнерс приказал отправить яблоки обратно, пусть Элли платит за них чем хочет. Затем было запрещено впускать Элли в дом. Когда жена спросила его, — «что он, рехнулся?» — он взял ее за руку и объяснил, что ей не остается ничего другого, как выбирать между Элли и собственной семьей.

Из всех дочерей Меттенгеймера фрау Рейнерс сделала самую лучшую партию. Разумной она была и разумной осталась. То, что Рейнерс из стального немца стал страстным приверженцем нового строя, пожителем евреев и антицерковником, она приняла, как особенности его характера, с которыми приходится мириться. Она ходила на женские вечера и вечера противовоздушной обороны, хотя очень там скучала. Но ей казалось, что ее к этому обязывает брак, под которым она разумела совместную жизнь с Рейнерсом и детьми; все это вполне можно было регулировать, уравновешивать и сочетать. Она была достаточно благоразумна, чтобы скрыть свою радость по поводу того, что Рейнерс не возражал против причастия первого ребенка и исполнения семьей религиозных обязанностей по большим праздникам. Видимо, что-то тут вызывало у него беспокойство. Видимо, тут он хотел себя слегка перестраховать.

Когда она увидела теперь Элли, окруженную детьми, которые сталили с нее шляпу, трогали ее сережки, тянули ее за руки, то ей стало ясно, что за последние дни произошло и какую ответственность на нее налагает приказание мужа. «Выбирать между Элли и моими детьми — какой вздор! А почему должна я, вообще, выбирать? И разве возможен такой выбор?» Она вдруг прикрик-

нула на детей, чтобы они оставили Элли в мокое и уходили прочь.

Когда дети ушли, она спросила Элли, сколько стоят яблоки.

Она отсчитала деньги и положила на стол. Когда Элли воспротивилась, она зажала ей деньги в руку, оставила зажгую руку Элли в своих руках, начала осторожно ее уговаривать: — Ты же понимаешь, — закончила она, — мы можем встречаться у родителей. Сегодня о нем еще объявляли по радио. Милая Элли, и почему ты тогда не вышла за моего деверя! Он был влюблен в тебя без памяти. Ты, конечно, не виновата. Но ты же знаешь Рейнера? И ты знаешь, что тебе может угрожать?

В другое время при таком заявлении у Элли просто сердце остановилось бы, теперь она подумала: «Только бы она меня не вышвырнула, пока не придет Франц с яблоками». Она сказала спокойно: — А что же мне может угрожать? — Рейнер сказал, что возможен новый арест, ты об этом подумала? — Да, — сказала Элли. — П ты можешь быть так спокойна, спокойно разгуливать, покупать яблоки? — А ты думаешь, они меня не арестуют, если я не буду покупать яблоки? «Элли всегда ходила кабая-то полусонная, — размышляла сестра, — с опущенными глазами под длинными ресницами, как за занавесками». Старшая сказала: — Тебе незачем дожидаться яблок. — Но тут Элли возразила очень поспешно и энергично: — Нет, я яблоки заказала и не желаю, чтобы нас надули. Не позволяй своему Рейнеру морочить тебе голову. За эти несколько минут я не заражу вашей квартиры. Да я ее все равно уже заразила.

— Знаешь что? — сказала сестра после короткого размышления, — вот тебе ключ от чулана. Поднимись наверх и сотри пыль с полка. Переставь банки для варенья на шкаф. Ключ потом сунешь под циновку. — Она повеселела, так как все же нашла способ удалить Элли из квартиры, не выгоняя ее. Она привлекла сестру к себе и хотела поцеловать, что делала обычно только в ее день рождения. Элли отворотила лицо так, что поцелуй пришелся в волосы.

Когда дверь за ней захлопнулась, сестра подошла к окну. На этой тихой маленькой улице они жили уже пятнадцать лет. Но даже ее трезвому взору сегодня вечером эти знакомые обыкновенные дома казались домами, на которые смотрят из проносящегося поезда. Даже и в ее холодном сердце возникло сомнение, хотя и приняло форму привычных хозяйственных расчетов: «Какая цена всему этому?»

Тем временем Элли отперла мансарду,

чтобы выпустить застоявшийся воздух. На этикетках банок с вареньем сестра аккуратно написала название сортов, число и год. Бедная сестра! Элли испытывала к ней странную, необъяснимую жалость, хотя старшая сестра была, казалось, счастливее ее. Она села на сундук и стала ждать, сложив руки на коленях, с опущенными ресницами, с опущенной головой, так же как она сидела вчера на своей койке в тюрьме, так же как она завтра будет сидеть неизвестно где.

Поднимаясь по лестнице, Франц трещал своими корзинами. «Это же все-таки друг, — сказала себе Элли, — и не все случайность». Они взяли за корзины, их руки встретились. Элли бросила на Франца быстрый боковой взгляд. Он был молчалив, он прислушивался. Хорошо, что им удалось под каким-то предлогом подняться сюда наверх. Вероятно, Герман будет не очень доволен, узнав об их встрече, даже если все и обойдется благополучно. Франц сказал: — Ты что-нибудь придумала? Как ты считаешь, он здесь в городе? — Да, — сказала Элли, — я думаю. — Почему ты в этом уверена? Ведь в конце концов этот город далеко от лагеря. Здесь его каждый знает. — Да, но и он знает многих. — Может быть, у него здесь есть какая-нибудь девушка, на которую он надеется... — Она слегка нахмурилась. — Три года назад, почти перед самым арестом я видела его издали, в Нидерраде. Он меня не видел. Он шел с девушкой, не просто под руку, а вот так — рука с рукой. Ну вот, может быть, у него есть девушка. — Может быть, но отчего ты так уверена? — Да наверняка у него здесь есть кто-нибудь — девушка или друг, и гестапо в этом уверено. Оттого, что они все еще за мной следят, а главное... — Что главное? —

Я это чувствую, — сказала Элли. — Я чувствую это: тут и тут. — Франц покачал головой. — Милая Элли, за твоё чувство тебе даже гестапо ничего не даст.

Они уселись на сундук. На один миг Франц охватил Элли взглядом с головы до ног, на один миг, который он вырвал из того бесконечно скудного времени, какое ему принадлежало, из того ужасающе скудного времени, какое отведено для жизни. Элли опустила глаза. Франц взял ее за руку. Он сказал: — Милая Элли, милее всего было бы мне уложить тебя сейчас в одну из этих яблочных корзин, снести по лесенке, поставить на мою тележку и увезти. Право же, это было бы мне милее всего, но этого нельзя. Поверь мне, Элли, я все эти годы желал тебя снова увидеть, но пока мы больше не можем встречаться. — Элли

подумала: «Сколько людей говорят мне, что они меня очень любят, но больше со мной встречаться не могут». Франц сказал: — Ты подумала о том, что они тебя могут опять арестовать, как они делают частенько с женами беглецов? — Да, — сказала она. — Ты боишься? — Нет, какой смысл? — сказала Элли. «Почему именно она не боится?» — подумал Франц. В нем родилось легкое подозрение, что ей все еще приятно быть чем-то связанной с Георгом. Он спросил шепотом: — А кто был тот человек, которого они вечером у тебя арестовали? — Ах, это был мой знакомый, — отвечала Элли. Она вдруг заметила, что почти совсем позабыла Генриха. Она подумала: «Надеюсь, бедняга опять у своих родителей!» Поскольку она знала его, он, после такого неудачного приключения, никогда больше к ней не вернется. Не из такого материала он сделан.

Оба, все еще держась за руки, смотрели перед собой. Прогнв такой печали еще не придуmano лекарства: печаль сжимала ей горло.

Затем Франц сказал совсем изменившимся, сухим тоном: — Значит, Элли, ты припомнила, кто из его прежних знакомых еще здесь в городе и может принять его?

Она назвала несколько фамилий. Среди них было два-три друга, которых Франц знал раньше. Навероятно, чтобы Георг, если его рассудок еще не помутился, прямо так к ним и побегал. Затем два-три совсем незнакомых имени, обеспокоившие его, затем друг детства, маленький Редер, о котором и сам Франц подумал, затем учитель, который давно уже стал пенсионером и здесь не живет.

Франц решил: «Есть две возможности, или Георг совсем спятил и ни о чем вообще не думает, тогда все наши начинания бесполезны, тогда ничего нельзя сделать, или он еще в силах мыслить. Тогда он должен мыслить так же, как и я. Кроме того, Герман должен знать, с кем Георг встречался перед самым арестом. Но я не могу прямо от Элли идти сейчас к Герману. Опять я потеряю несколько часов».

Он забыл о сидевшей рядом с ним женщине. Он быстро сунул одну пустую корзину в другую. Элли заплакала за яблоки, он дал сдачу. При этом ему пришло в голову: «Если они нас спросят, мы скажем, что ты дала мне 50 пфеннигов на чай». Он был почти готов к тому, что его при выходе из дома задержат.

Когда напряжение прошло, когда Франц вышел из дома, когда его скрипучая тележка уехала с этой улицы, только тогда ему

вспомнилось, что он с Элли даже не простился. Тогда ему вспомнилось, что он не обсудил с ней возможностей потом опять встретиться.

У Марнетов он рассчитался, не забыл и про чаевые. — Это принадлежит тебе, — сказала фрау Марнет, которая мнила себя очень великодушной. Когда он, перекусив, ушел к себе в чулан, Августа сказала: — Сегодня он получил отставку, это видно. — Ее муж сказал: — Он еще вернется к Софи.

В этот вечер Герман уже в третий раз спрашивал свою Эльзу, не просил ли Франц что-нибудь ему передать. Эльза рассказала в третий раз, что Франц позавчера заходил и спрашивал его, по больше не был. «В чем тут дело? — размышлял Герман, — сначала он на этом побеге точно помешался, только о нем и говорил, а теперь вдруг исчез. Не затеял бы он чего-либо на свой страх и риск. А может быть, с ним что-нибудь случилось?»

В кухне Эльза напевала себе под нос тихим, чуть хриплым голосом, так что порой казалось — это пчелка жужжит над шпировником. Ее жужжание успокаивало каждый вечер в его душе те упреки, которые он делал себе за то, что женился на ребенке, ничего не зная ни о нем, ни о чем вообще. Но сегодня вечером Герман говорил себе, что без этого ребенка ему трудно было бы выносить такую жизнь, как его, с ее обособленностью и тревогами. Герман уже знал, что Валлау снова арестован. Он с трудом оторвался от картины лежащего на земле окровавленного тела, которое разрушают пингами и побоями за то, что в шем жлвет нечто нерушимое. Оторвался он от мыслей и о себе, от шевелью возникавших представлений собственного, подверженного разрушению тела, в котором, как он надеялся, также обитало нечто нерушимое. Он обратился к непойманым беглецам. Прежде всего — к этому Георгу Гейслеру, оттого, что Гейслер был родом из этих мест, оттого, что он всегда может здесь где-нибудь спрятаться. То, что Франц рассказывал ему про Георга, было, по мнению Германа, слишком переплетено с какими-то туманными ощущениями. И Герман на основе всего, что он знал о Гейслере, — лично он его никогда не видел, — уже нарисовал себе определенный образ: человек, который не щадит себя, который может все поставить на карту, чтобы выиграть. «А чего ему недоставало, то, наверное, восполнил в нем его товарищ по заключению Валлау», — размышлял Герман. Валлау он знал поверхностно, но это был

человек, которого сразу видно. Деньги и бумага должны быть готовы. Он вторично одернул свои мысли, оторвал их от человека, за которым гонятся и который может вынырнуть тут или там. Он стал обдумывать, сможет ли добраться завтра же до одного единственного места, где все это на самый крайний случай можно было раздобыть. «Вот что я должен в данном случае сделать, и сделаю», — сказал он себе, и успокоился. В кухне пчелка жужжала «Мельницу». «Без Эльзы», — сказал себе Герман, — я был бы все же менее спокоен. Таким образом и это к лучшему».

Когда Бунзен куда-нибудь входит, то людям начинало казаться, что комната слишком тесна и потолок низок. Тогда на его лице появлялось успокаивающее выражение, словно он хотел сказать, что он здесь только мимоходом. — Я увидел, что у вас еще свет, — сказал он. — У нас у всех нелегкий денек выдался.

— Да, садитесь, — сказал Оберкамп. Он отнюдь не был в восторге от этого гостя. Финер встал со стула, на котором сидел во время допроса, и пересел на скамью к стене. Оба устали, как собаки. Бунзен сказал: — Знаете что, у меня есть тут волка в лавочке. — Он вскопил, распахнул дверь и крикнул в ночь: — Эй, эй! — Послышалось шарканье подметок. Бунзен сказал: — Я обрадовался, что у вас еще свет. Откровенно говоря, я уже не могу всего этого выдерживать.

Оберкамп подумал: «Ну, вот этого еще нехватало! Все эти угрызения совести длятся, самое большее, полтора часа». Он сказал: — Милый друг, в этом мире — уж он так устроен — выбор, сравнительно, невелик. Или мы держим людей известного сорта за колючей проволокой и стараемся — гораздо усерднее, чем до сих пор, — чтобы все они там остались, или за проволокой сидим мы, и они сторожат нас. А так как первое положение разумнее, то, чтобы сохранить его, приходится принимать разнообразные, иногда очень неприятные профилактические меры. — Вы прямо в душе у меня читаете, — отозвался Бунзен. — А что я окончательно не могу выносить — так это дурацкую болтовню нашего старика Фаренберга. — Милый Бунзен, — сказал Оберкамп, — это вы все зря тревожитесь. Теперь он совершенно убежден, что всех переловит с тех пор, как приволокся этот Фюльгграббе.

— Что вы думаете на этот счет, Оберкамп?

— Моя фамилия Оберкамп, а не Аввабум. Я ни к великим, ни к малым прооро-

кам не принадлежу, я здесь несу тяжелую работу.

Он подумал: «Этот прохвост все еще неведет что о себе воображает, только оттого, что в понедельник утром один отдал несколько разумных распоряжений, соответствовавших существующим предписаниям».

Появится поднос с водкой и стаканчиками. Бунзен налил, опрокинул один, затем второй, затем третий. Оберкамп наблюдал за ним с профессиональной точкой зрения. На этого человека водка оказывала своеобразное действие. По-настоящему пьяным он, может быть, никогда не бывал, но уже после третьего стаканчика в его словах и движениях замечалась легкая перемена. Даже кожа на лице как-то отвисала. Он сказал: — При этом я сильно сомневаюсь, чтобы эти четыре молодчика на своих крестах еще что-нибудь чувствовали, а пятый, Беллопи, — тот уже действительно ничего не чувствует, так как висит-то всего его шапка да старый фрак. Только все остальные, когда их ведут смотреть, — когда их выстраивают на площадке для ташцев, — они чувствуют, они могут кое-что испытать, — хочешь не хочешь, а смотри. Но эти четверо — они же знают, что их потом ждет, а говорят, когда знаешь, так все, все равно, и совсем ничего не чувствуешь. Да и им просто стоять неудобно, ведь не колет, это только Фюльгграббе хныкал от разочарования. — Его еще раз сегодня возьмут в оборот? Дайте мне возможность присутствовать! — Нет, дорогой мой. — Отчего же нет? — Служба, мой друг, дело деликатное. — Да, у вас, — сказал Бунзен, его глаза блеснули. — Дайте мне на пять минут этого Фюльгграббе, и я вам скажу, случайно или нет он встретился с Гейслером. — Он, возможно, налетит вам, что с Гейслером условился, если вы дадите ему ногой в живот. Но я вам и после этого скажу, что случайно — отчего? Оттого, что Фюльгграббе достаточно тряпнуть, и показания посыплются, как сливки; оттого, что у меня есть определенное представление о Фюльгграббе и определенное представление о Гейслере. Оттого, что мой Гейслер никогда не будет в городе, среди белого дня, улавливаться с Фюльгграббе. Если он остался сидеть на скамейке, как вам рассказывал Фюльгграббе, значит, он еще кого-то ждал. Его портрет известен каждому дому и кварталу.

— Милый Бунзен, — сказал Оберкамп, — будьте хоть благодарны за то, что столько забот болтается на других людей. — Выше здоровье! — Они чокнулись.

— Не можете ли вы немного поразмять Валлау его мозги? Там должна быть фамилия того, кого дождался его друг. Сделайте же очную ставку между Фюльбграббе и Валлау.

— Милый Бунзен, — ваша идея подобна Марии Стюарт, она прекрасна и несчастлива. Но если вы интересуетесь, — мы допрашивали Валлау, вот протокол допроса,

Он достал со стола пустой листок. Бунзен уставился на него. Он улыбнулся. Его зубы, при смелых и крупных чертах лица, были несколько мелки, — мышинные зубки. — Оставьте-ка мне вашего Валлау до завтрашнего утра.

— Можете захватить этот кусок бумаги, — сказал Оберкамп, — и пусть он выльется на него кровью. — Он сам шалит Бунзену еще. Бунзен совсем не обращал внимания на Фишера. Фишер сидел на своей скамеечке, зажав в руке полный стакан — он никогда не пил — осторожно, чтобы не запачкать брюки. Оберкамп сделал ему знак бровями. Тот встал, спокойно обогнул Бунзена, подошел к столу, снял телефонную трубку. — Ах, извините, — сказал Оберкамп, — служба есть служба.

— А похож на вооруженного архангела, вроде святого Михаила, — сказал Фишер, как только Бунзен вышел. Оберкамп поднял маленький хлыст, лежавший возле стула, осмотрел, держа двумя пальцами, как осматривал тысячи подобных вещей, осторожно, чтобы не стереть отпечатка пальцев. Он сказал: — Ваш святой Михаил забыл свой меч. — Он крикнул часовому за дверью: — Прибрать здесь! Мы кончаем!

5

На третьем этаже слева, на куске картона, тонко и четко, в кружочке, как в гербе, было написано имя Редера. Георг прислонился к стене. Он уставился на это имя, словно у него были глаза и веснушки, коротенькие ручки и ножки, трезвый разум и доброе сердце. Пока он пожимал глазами карточку, он понял также, что веселый, пестрый шум, который он слышал уже внизу, доносится именно из этой квартиры. Он слышал, как катается взад и вперед детская игрушка, детский голос выкрикивал станции. Другой отвечал: — По вагонам! Отправляемся! Жужжала швейная машинка, и все эти звуки покрывало певье женщины: «Любовь свободная, как птичка...» Певье было таким звучным, почти мощным, что Георгу показалось, будто это по радио, но затем, на верхней лоте голос вдруг пресекнулся. Георг вспомнил, что Лизель

Редер, будучи еще девушкой, время от времени подрабатывала в качестве хористки. Пауль иной раз прихватывал его с собой на галерею, чтобы полюбоваться Лизель в рваной юбочке цыганки или в штаншиках пажка. Лизель Редер всегда была тем, что принято называть веселой девушкой. Та бездна, которая его вдруг отделила от Редера, когда он переехал к Францу, тот невольный, но чреватый последствиями отход был осознан им впервые при виде жены Редера, при виде его домашнего очага. Переезд к Францу означал не только — учиться, усвоить себе определенный строй мыслей, участвовать в борьбе, это означало также — иначе вести себя, иначе одеваться, вешать новые картинки на стену, находить красивыми иные вещи. И как Пауль может выдерживать эту Лизбет? Зачем они наставили все это барахло? Зачем копят два года, чтобы купить софу? Георгу становилось скучно у Редеров, и он уходил. А потом ему стало скучно с Францем, и их комната показалась ему голой. В такой путанице чувств и полусознанных мыслей Георг, тогда еще юноша, иногда сразу порывал прележно отношения. Это создало ему славу ненадежного парня. Он-то, правда, считал, что один поступок аннулируется другим, одно чувство погашается противоположным.

Предаваясь этим размышлениям, Георг вместе с тем уже приложил большой палец к кнопке звонка. Даже в Вестгофене не было у него такой тоски по родине... Он снова снял руку со звонка. Имеет ли он право войти сюда, где его примут, ни о чем, может быть, не подозревая? Имеет ли он право одним нажимом на звонок разбросать всю эту семью по свету, навлечь на нее тюрьму, принудительное воспитание детей, смерть?

Теперь в его голове царил убийственная ясность. «Это усталость выповата», — сказал он себе, удивляясь, что попал на эту мысль. Разве сам он полчаса тому назад не был совершенно убежден, что за ним давно следят? Неужели такой человек, как он, может легко отделаться от шпиика?

Он пожал плечами, он сошел на несколько ступеней вниз. В это время кто-то стал подниматься с улицы. Георг отвернулся к стене; он дал встречному, — это был Пауль Редер, — пройти мимо. Он дотронулся до следующего окна на лестнице, оперся о подоконник и стал слушать. Вдруг Редер обернулся и начал снова спускаться, Редер перепнулся через перила и крикнул: — Георг! Георг ничего не ответил и продолжал спускаться. Но Редер в несколько прыжков

допнал его, он крикнул: — Георг! — Он схватил его за руку: — Ты это или не ты?

Георг засмеялся и покачал головой. — Ты уже был у нас? Разве ты меня сейчас не узнал? А я думал: кажется, это Георг? Но как ты изменился. — Он вдруг обиделся: — Три года тебе понадобилось, чтобы снова вспомнить о своем Пауле? Нет уж, теперь пойдешь со мной.

Георг на все это еще не ответил ни слова. Он молча пошел за Редером. Оба остановились перед большим окном на лестнице. Редер окинул Георга взглядом с головы до ног. Каковы бы ни были при этом его мысли, его маленькое лицо было слишком усюсю в веснушками, чтобы выразить что-либо мрачное. Он сказал:

— Какой ты зеленый. Да Георг ли ты еще? — Георг пошевелил пересохшими губами. — Ты ли это? — спросил Редер совершенно серьезно. Георг рассмеялся. — Идем, идем, — сказал Редер. — Я теперь просто удивляюсь, как я тебя узнал на лестнице.

— Я очень долго болел, — сказал Георг спокойно, — рука еще до сих пор не зажила... — Как? Пальцев недостает? — Нет, пальцы, к счастью...

— Где же это случилось? Ты был все время здесь? — Я был водителем в Касселе, — сказал Георг. Он описал очень спокойно, в нескольких словах это место и тамошние условия, так как знал их из рассказов товарищей по заключению. — Вот удивится Лизель, — сказал Редер. Он нажал на кнопку звонка. Георг услышал топенький звон, затем последовала буря — хлопала дверь, кричали дети. И Лизель восклицала: — Нет, сил моих больше нет! — Затем завихрилось облако цветастых платицеф, обоев с картинками, личиков, усыпанных тысячами веснушек и испуганных глазок — затем стало темно и тихо. Первое, что Георг снова услышал, был голос Редера, сердито приказавшего: — Кофе, кофе, слышишь ты, а не помой! — Георг приподнялся на диване. С большим трудом очнувшись от обморока, в котором чувствовал себя в безопасности. — Это все еще со мной бывает, — объяснил он, — но это пустяки. Пусть Лизель не теряет времени и не мелет мне кофе.

Он сунул ноги под кухонный стол. Он уложил забинтованную руку между тарелками на клеенку. Лизель Редер стала толстой женщиной, в шпанышки маля она бы уже не влезла. Теплый, немного тяжелый взгляд ее карих глаз на миг скользнул по лицу Георга. Она заявила: — Хорошо, самое разумное, что ты можешь сделать, — это есть, пить мы будем потом! — Она собрала на стол. Редер усадил трех старших детей

вокруг стола. — Подожди, Георг, я наряду тебе кусочками, или ты можешь прямо вилкой есть, у нас каждый день — как и по воскресеньям — одно блюдо. Хочешь горчицы? Хочешь соли? Хорошо нести и хорошо попить — это укрепляет душу и тело.

Георг спросил: — Какой дель сегодня? — Редеры засмеялись. — Четверг. — А ведь ты отдала мне свои сосиски, Лизбет, — сказал Георг, который всеми силами старался свыкнуться с этим обычным вечером, как свыкаются с величайшей опасностью. Он стал есть здоровой рукой, другие ели тоже, время от времени Лизель или Пауль поглядывали на него, и тут он почувствовал, что они ему дороги и что он им остался дорог.

Вдруг он услышал шаги на лестнице, все выше — он прислушался. — Что ты прислушиваешься? — спросил Пауль. Шаги продолжали подниматься. На клеенке, рядом с его больной рукой, был крут. Кто-то поставил сюда горячую чашку. Георг взял стакан и пажал им, как печатью, на побледневший кружок: «пусть будет, что будет». Пауль, истолковавший это движение по-своему, открыл пивную бутылку и палил ему. Они медленно доели и допили. Пауль сказал: — Ты опять живешь у родителей? — Иногда. — Со своей женой совсем разошелся? — С какой женой? — Редеры засмеялись. — Да с Элли! — Георг пожал плечами. — Совсем разошелся.

Он взял себя в руки. Он огляделся кругом. Сколько удивленных глазок! Он сказал: — А вы за это время много поработали.

— Разве ты не знаешь, что пемский народ должен увеличиться вчетверо? — сказал Пауль, смеясь одними глазами. — Ты не слушаешь, когда фюрер говорит. — Нет, я слушаю, — сказал Георг. — Но он же не говорит, что Пауль Редер из Бокенгейма должен один все это сделать. — Теперь, правда, уже не так трудно иметь детей, — сказала Лизель. — Да никогда и не было трудно... — Ах, Георг, — воскликнула Лизель. — твоя веселость к тебе возвращается. — Нет, право же, нас дома было пятеро, а вас? — Фриц, Эрнст, я и Гейни: четверо. — Ни одна собака о нас не заботилась, — сказала Лизель, — а теперь иначе. — Пауль сказал, смеясь глазами: — Лизель получила через дирекцию пожелание счастья от государства. — Получила! Я получила! Тебя, что ли, поздравлять с великим достижением? — Как будто наци знали, — сказал Пауль, — что все ее три прежних поклонника были отписты ни с чем.

— Не слушай его, — сказала Лизель... Глазки у Пауля поблескивали, он был весел.

— Нет, никогда еще не было таких порядков на свете, — некогда, — сказал Георг. Он подумал: «Такого обмана еще никогда не было». Он сказал: — А ты, Пауль, как ты относишься? Ты доволен? — Поздравляться не могу, — сказал Пауль. — Ну, что ты хочешь... война! — Георг сказал: — Разве это не странное ощущение? — Какое? — То, что ты делаешь шуточки, от которых люди и потом будут умирать? — Пауль сказал: — Ах, каждому своя судьба! Если ты хочешь трепаться на эту тему, вот тебе кофе. — Георг должен почаще приходить к нам. — Георг заявил: — Лучше кофе я не пил за последние три года. — Он погладил руку Лизель. Он подумал: «Прочь, но куда?»

Редер сказал: — У тебя всегда была склонность поразглагольствовать, Джорджик, ну, а теперь ты стал тише. Раньше ты бы мне подробно стал объяснять, какие грехи у меня на совести. — Он засмеялся. — Ты помнишь, Джорж, как ты однажды пришел ко мне, щеки горят, я был тогда как раз безработным, и говоришь: «Ты должен у меня непременно что-нибудь купить — про китайцев». Непременно я, непременно купить книжонку, непременно про китайцев. Не вздумай мне сейчас предлагать про Испанию, — сказал он сердито, хотя Георг молчал. — Только не приставай ко мне с этим. Их и без Пауля Редера ликвидировали. Вот видишь: как они защищались, а все-таки ликвидировали! Дело не в моих капсюлях... Георг молчал. — И всегда ты ко мне с этим запутанными вещами приставаешь, которые очень далеки от меня.

Георг сказал: — Если ты делаешь капсюли для шуль, так это вовсе не далекие вещи.

Тем временем Лизель прибрала со стола, покорила всех детей, затем заявила: — Теперь скажите папе спокойной ночи, Джоржу тоже скажите спокойной ночи. Я буду детей укладывать, а вам для болтовни лампа не нужна. — Георг думал: «Мне ничего другого не остается. Разве у меня есть выбор?» Он сказал, словно мимоходом: — Послушай, Пауль, ничего, если я у вас переночую? — Редер сказал слегка удивленный: — Нет, а что? — Знаешь, у меня дома скандал вышел, пусть невозможно успокоятся. — Можешь остаться у нас, — сказал Редер.

Георг подпер голову рукой. Между пальцами он взглянул на Редера. — Может быть, у Редера было бы серьезное лицо, если бы не слишком веселые веснушки. Пауль сказал: — А ты все еще скандалишь из-за всякого пустяка? Уж сколько у тебя было

историй, а тебе уж тогда говорил: меня оставь в покое, Джорж. Я не выношу бесполезных вещей, лучше есть суп с картошкой. А эти испанцы — все сплошные Джоржи. Я хочу сказать — такие, какой ты раньше был, Джорж. Теперь ты как будто стал тише. — Что же теперь? — переспросил Георг. Он быстро прикрыл глаза, хотя Пауль был уже сражен его пристальным взглядом между пальцами. Он смолк.

Лизель вернулась. — Дождись, Пауль. Не сердись, Джорж, по... — Джорж хочет сегодня здесь переночевать, Лизель, он дома поругался. — Ну уж ты и задра, — сказала Лизель. — Из-за чего поругался-то? — Долго рассказывать, — сказал Георг, — я расскажу тебе завтра утром. — Да, теперь довольно болтать, иначе Пауль не будет завтра бодрым, иначе он завтра скапунится. — Я прекрасно понимаю, — сказал Георг, — что ему ничего не дают даром.

— Лучше спешка, да получить несколько марок лишних, — сказал Пауль. — Лучше свержурочные, чем воздушная тревога. — Георг сказал:

— И поскорей состариться. — Если будет война, все равно скорей состаримся. Все это, Джорж, конечно, не бог весть что, чтобы вечно лот проливать. Я иду, Лизель. — Он огляделся кругом и сказал: — Одно только, Джорж, чем я тебя накрою? — Дай мне мое пальто, Редер. — Какое у тебя чудное пальто, Джорж. — Ты положи на ноги подушку, только не изобрази Лизель ее розы. Вдруг он спросил: — Между нами, из-за чего у вас скандал был, из-за девушки? — Ах, из-за мальшпа, из-за Гейни. Ты знаешь, как он был ко мне всегда привязан! — Я его недавно встретил, вашего Гейни. Ему, наверное, тоже скоро 16—17 будет? Все вы, Гейслеры, очень красивые парни, но как Гейни выравнился! Они его залучили-таки к себе, штурмовики.

— Как? Гейни? — Да ты же все лучше знаешь, чем мы, — сказал Редер; он опять сел за кухонный стол. Когда он увидел теперь перед собою лицо Георга, у него смутно мелькнула та же мысль, что и перед тем на лестнице: «Действительно ли это Георг?» За последний миг лицо Георга совершенно изменилось. Редер не смог бы определить, в чем состояла перемена, так как лицо было совершенно неподвижно. Но в нем была такая же перемена, как в часах, которые идут и вдруг останавливаются. — Раньше был скандал оттого, что Гейни за тебя стоял, а теперь... — А это правда, насчет Гейни? — сказал Георг. — Как же ты всего этого не знаешь? — сказал Редер. — Разве ты не из дому?

Вдруг у маленького Редера сердце забилось. Он воскликнул: — Этого еще не хватало, ты врешь мне! Три года тебя нет, а потом ты приходишь и морочишь мне голову. Таким ты был, таким и остался. Морочишь голову своему Паулю. Как тебе не стыдно! Что ты там натворил? А что-нибудь ты натворил. Нынче дураков нет. И совсем ты не из дому пришел. Где ты был все это время? Тебе, видно, очень приспичило? Прогорел? Что с тобой, собственно? — Не найдется ли у тебя несколько марок для меня? — сказал Георг. — Я должен еще же минуту уйти отсюда, постарайся, чтобы Лизель ничего не заметила. — Да что с тобойстряслось? — У вас нет радио? — Нет, — сказал Пауль. — При голосе моей Лизель, при этом шуме, который у нас все равно бывает... — Обо мне оповещали по радио, — сказал Георг. — Я бежал. — Он посмотрел прямо в глаза Редеру. Редер вдруг побледнел. Так побледнел, что веснушки на его лице, казалось, запылали.

— Откуда ты бежал, Жорж? — Я убежал из Вестгофена. Я, я... — Ты? Из Вестгофена? И ты все время там сидел? Нет, ты, действительно, тип! Но они же тебя убьют, если поймут. — Да, — сказал Георг. — И ты хочешь уйти без шикавих! Да ты же в своем уме. Георг все еще смотрел в лицо Редера, казавшееся ему шебом, усыпанным звездами. Он сказал спокойно: — Милый, милый Пауль, я не могу же этого... Ты со всей твоей семьей... Вы жили так спокойно, и вот я...

— Да, понимаешь ли ты, что ты говоришь?

— А что если они сейчас поднимутся наверх? Может быть, они уже шли по моим пятам.

Редер сказал:

— А тогда все равно поздно. Если они придут, мы должны сказать, что я ничего не знал. Последних фраз мы с тобой не говорили. Понимаешь — они вовсе не были произнесены. А старый знакомый всегда может с шеба свалиться. Откуда мне знать, где тебя все это время носило? — Георг сказал: — Когда мы в последний раз виделись? — Ты был здесь в последний раз в декабре 1932 года, на второй день Рожде-

ства, и ты еще тогда съел все наше печенье. — Георг сказал: — Но ведь они будут тебя спрашивать — спрашивать! Ты не знаешь, какие они изобрели способы. — В его глазах бушевали все те злобные искорки, которых Франц в детстве так боялся.

— Не так страшен чорт, как его малюют. Почему они непременно нападут на нашу квартиру? Они не видели, как ты сюда вошел, иначе они были бы уже тут. Подумай лучше о том, что делать дальше. — Георг сказал: — Я должен вырваться из города, из этой страны! Мне нужно найти моих друзей! — Пауль засмеялся:

— Твоих друзей! Найди сначала те поры, в которые они уползли! — Георг сказал: — Потом, когда будет время, я могу показать тебе несколько нор, в которые они уползли. У нас в Вестгофене есть несколько десятков, которых никто не знает. Мы двое пока в такие поры не заползли: — Эх, Жорж, — сказал Пауль, — я сейчас вспомнил об одном, о Карле Гапе из Эшергейма, который тогда... — Георг, засыпая, сказал: — Брось! Он тоже вспомнил об одном определенном человеке. «Неужели Валлау уже мертв?» Он услышал опять слово «Жорж», единственный слог, преодолевший пространство и протекшее время.

— Жорж! — крикнул маленький Редер. Георг вздрогнул. Пауль испуганно смотрел на него. На миг лицо Георга снова стало чужим. И он спросил чужим голосом: — Да, Пауль? — Пауль сказал: — Я мог бы завтра пойти к этим друзьям. — Георг сказал: — Я хочу еще раз припомнить, кто живет в городе. Ведь прошло больше двух лет. — Ты бы не попал во всю эту кутерьму, — сказал Пауль, — если бы тогда не влюбился в этого Франца. Помнишь? Он-то тебя тогда и просветил... На собрания-то мы все ходили, в демонстрациях мы все участвовали, и псев в нас тоже мной раз кипел и надежда тоже в нашем сердце жила, но твой Франц — он уж особенный...

— Это не Франц, — сказал Георг. — «Оно» было сильнее всего другого... — Что это значит: «сильнее всего другого»? — сказал Пауль, откидывая валик кухонного дивана, чтобы уложить Георга.

К о н е ц 1-й к н и г и

Коричневая свора

Кричат о немецкой чести
И топчут ее сапогом,
Для этих пройдох и бестий
Отчизна и честь нипочем.

Затмили разум народный,
И то, чем гордились мы,—
Немецкий гений свободный
Был брошен в застенки тюрьмы.

Народ ограбили. Больше
Нечего было украсть.
И они порешили: «Польшей
Мы пожьемся властью».

И так как этим убийцам
Никто по рукам не дал,
То вскоре черед бельгийцам,
А там и французам настал.

Пограбили в этих странах,
И в поисках новых путей
Вспомнили, что на Балканах
Есть еще хлеб у людей.

И всюду они бушевали,
Неся войну и разбой,
Грабили и пожирали
Одну страну за другой.

Их не били ни разу,
И жадность им руки жгла,

И вот для господской расы
Европа стала мала.

Разбойничать им отрада,
И до сих пор им везло,
Как будто бы вовсе преграды
Для них найтись не могло.

Но долго ли может продлиться
Владычество палачей?
Была и для них граница,
Но они забыли о ней.

На Советский Союз нападение?
Врагов отразить он готов!
И грянула клятва мненья
Из уст миллионов бойцов.

Страна пред коричневой сворой
Гранитной встала скалой,
Тут гибель найдут они скоро,
И кончится их разбой.

Так бейте их беспощадно,
Чтоб вольно дышал человек,
Чтоб от чумы этой смрадной
Избавился мир навек.

На города и на живые
Не ляжет их гнусная тень.
И тогда настанет счастливый
Немецкой свободы день.

*Перевод с немецкого
В. БУГАЕВСКОГО*

Красноармеец Арсений Шадрин

Очерки

Он не умел и не хотел жить с приглушенным сердцем, без огня, не торопясь. За что бы ни взялся Арсений, он все делал с увлечением, со страстью, в полную меру своих сил и чувств.

Эту черту он усвоил, вероятно, от отца, который в годы гражданской войны не мог усидеть на теплой деревенской печке и ринулся в водоворот борьбы, — два года бился он на фронтах за советскую власть. В жилах Арсения бурлит и неумная кровь далеких предков, закаливших душу свою в неустанной борьбе с суровой природой севера.

Нескончаемы густые вологодские леса возле полноводной Вохмы! Много в таких лесах всякого зверя и птицы. Зарядив дробовик самодельной тяжелой пулей, не раз хаживал Арсений на медведя. Кто-нибудь из сверстников, такой же смелый и дерзкий, вооружившись жердью, приближался к берлоге и «шевелил» зверя. Разбуженный ударом в бок, медведь поднимался на задние лапы и с ревом выскочивал из берлоги. Яркий блеск снега, освещенного солнцем, ослеплял разъяренного зверя. И тут Арсений, вскинув ружье, бил медведя прямо в самое сердце.

Но иногда ружье давало осечку. Тогда Арсений оставался один на один с расщепившим зверем. Медведь становится на дыбки и, как человек, на двух ногах, шел на охотника. А тем временем Арсений сменял пистон, — надо было достать из кармана крохотную медную капсулу и на жестоком морозе в пяти шагах от медвежьих когтей шагать на наковальню шомполки, потом взвести тугой курок, потом прицелиться... А главное — попасть! А медведь уже рядом. Он гораздо выше подростка Арсения, почти вдвое, и оттого кажется еще страшней. Арсений уже слышит его злобное сопение, чувствует его горячее дыхание... Из поздеи зверя бьет струя пара. Сверкнули близкой острей клы-

ки в ощеренной пасти. Арсений припал щекой к холодному ложу ружья. Мушка мелькнула на снег и неподвижно застыла там, где бьется могучее сердце зверя, — на густой слежавшейся шерсти между лопатками... Арсений видит даже основную хвою на рыжеватой шерсти. Выстрел!

Арсений делает скачок в сторону, и прямо на его следы валится опромяная рыже-бурая туша, заливая снег дымящейся кровью. Зверь лежит неподвижно, но Арсений ему не доверяет — отец говорил, что раненый зверь в десять раз сильнее здорового. Охотник сжимает в руках ружье и не опускает глаз с лежащей у ног его гигантской медведицы. Он видит набухшие сосцы... И вот медведица встает. Она ещѣ марширует глазами того, кто причинил ей боль. Страшный рев потрясает лесную глушь, и будто от этого звука осыпается снег с ветвей... Она видит Арсения и бросается на него прыжком. Арсений вскидывает ружье — осечка!

Над головой Арсения нависла сама смерть — когти медведицы уже сорвали с него шапку. Холодом обдало затылок... Арсений бросает на снег ружье и выхватывает из-за пояса топор — оружие лесоруба. Он взмахивает топором над головой и бьет им по голове зверя, приседая и крикая, как делают лесорубы, когда раскалывают полено, и голова зверя, как полено, распадается под этим ударом на две части...

А оп, Арсений, рослый, белокурый, с раскрасневшимися щеками, стоит, прочно расставив ноги, откинув окровавленный топор, изготовившись для нового удара. Нет, — теперь все кончено... Неподвижен зверь на снегу. Исполосские ели и сосны поднимают к низкому зимнему небу свои могучие вершины. Тьшина. Человек победил.

Любил Арсений охоту, любил он и работать. Каждую зиму этот парень с Вохмы

сильными своими руками сколачивал «кошмы» — высоко штабеля строевого леса в десять рядов. Весной с ледоходом эти «кошмы», погрузившись на восемь рядов, плыли вместе с льдинами вниз по Вохме — в Ветлугу, как айсберги.

Деревенский мир показался Арсению узким. Он хотел видеть, как живут люди в разных краях его великой родины. И вот Арсений в Архангельске.

Сюда за советскими товарами приходили иностранные пароходы. В порту можно было видеть матросов всех стран. Бывали здесь и немцы. Шофер Арсений Шадрин часто встречал их подвыпившими. Они кричали, хорохорясь:

— Эй, рус! Давай бороться!

Арсений охотно принимал вызов. Он снимал пиджак, засучивал рукава, расправлял плечи. И всегда могучим янтарным подламывал под себя одного за другим всех храбрецов. Но вот настал час другой, более грозной встречи...

Шофер Арсений Шадрин подвозил на полуторке продукты товарищам своим, борющимся с фашистами. Быстро меляется обстановка в этой войне: едешь по своему тылу, а можешь очутиться в бою. Зная это, Шадрин не расставался с винтовкой. В кабине про всякий случай лежал ручной пулемет и запас гранат.

«С таким оружием можно сражаться с любым врагом», — думал Шадрин, вспоминая свою шомполку, перевязанную проволокой. ...По пыльной степной дороге к фронту бежит грузовик. Арсений оглядывается по сторонам — все спокойно, можно повернуть вон к тому лесочку и в тени подкачать левый задний баллон.

Вскрав в кусты, он замаскировал машину и принялся за работу. Ехавшие с ним два бойца прилегли в тень. Вдруг послышался треск мотоцикла. Арсений насторожился, но за крутым поворотом ничего не было видно. Он схватил винтовку, быстро улегся за кустом.

Из-за поворота показался мотоцикл. Наметающим шоферским глазом Арсений сразу узнал вражескую машину и, подпустив ее на 20 метров, выстрелил в прудь мотоциклиста. Немецкий солдат свалился, а мотоцикл, пробежав несколько метров, влетел в капанг.

— Скорей оттаскивайте в кусты! — крикнул Шадрин товарищам.

Бойцы схватили труп за ноги. Издали донесся звук второго мотоцикла. Арсений снова навел винтовку на шоссе, и второй мотоцикл с простреленной грудью очутился в придорожной канаве. С небольшими интервалами из-за поворота выскакивали мотоциклы, и

сбитые меткой пулей Шадрина немецкие солдаты валялись на землю. Бойцы еле успевали оттаскивать убитых в кусты. Одного за другим Арсений Шадрин уничтожил семнадцать мотоциклистов. Но тут послышался гул вражеских танков...

— Теперь ходу! — сказал Шадрин, запустив мотор своей полуторки, и грузовик скрылся в облаках пыли.

Батился грузовик по пыльной степной дороге. Хорошо кругом! Кольшется под ласковым ветром густая пшеница. Тоскует сердце хлебороба Арсения Шадрина... Скоро уборка. Урожай нынче отменный. С гектара вот такой пшеницы можно собрать центнеров 35, — не меньше... Каковы-то хлеба на берегах Вохмы?

Мысли Арсения были прерваны гулом самолета — он быстро приближался на небольшой высоте. Кто это — друг или враг? Спрятать машину некуда — кругом ровное поле... Арсений останавливает грузовик и, схватив ручной пулемет, вскакивает в кузов. Он кладет ствол пулемета на крышу кабины и ждет...

Все ближе самолет.

— Фашист! — кричит один из бойцов, приседая, словно это может спасти его от обстрела.

Теперь и Шадрин видит, что летит враг. Осталось сто метров... Шадрин прицелился.

«В брюхо бы...» — мелькает в голове, а палец уже нажал на гашетку.

Треск пулеметной очереди слился с громким гулом мотора. Самолет резко взмыл вверх, задымился...

— Попал! Попал! — радостно закричал тот боец, что присел, — теперь он стоял во весь рост и кричал, показывая пальцем на вражеский самолет, который вдруг окутался желтым пламенем.

— Попал! Попал! — продолжал пенствово орать красноармеец.

Он схватил Шадрина за руку и стиснул ее так, что Арсений чуть не вскрикнул от боли. А самолет со свастики на хвосте накрепко уцепился и стал падать, как факел, раздуваемый ветром. Он ткнулся носом в пшеницу, зажег ее, потом раздался взрыв, и над грузовиком со светом пронесся какой-то обломок...

— Поехали! — сказал Шадрин товарищам: — Мы и то запоздали. Бойцы, верно, уже давно нас ждут — проголодались.

Грузовик снова побежал. Но через час, примерно, Шадрину показалось, что он едет не той дорогой, какой нужно. И действительно, увлекшись картиной гибели вражеского самолета, Шадрин незаметно свернул в сторону. Спросить не у кого — безлюдна степь, лишь вдали стучат артиллерия. Бойцы-слут-

ники давно пересели на другую машину. Помощник Шевченко спит в кузове. Посоветоваться не с кем.

Шадрин поехал прямо на выстрелы, полагая, что в этом направлении и находится часть, которой предназначались продукты.

Проехали еще около часа. Впереди показался открытый автобус.

«Вот сейчас спросим дорогу» — подумал Шадрин, по безотчетно затормозил машину и взялся за пулемет. «Больно уж чудной автобус... Что-то не видал я таких у нас»...

— Немцы! — вдруг сдавленно прошептал помощник Шадрина Николай Шевченко, который к этому времени влез в кабину: он все время спал, измученный бессонными ночами, прикурнув в кузове между ящиками.

Отоспавшийся Шевченко распахнул дверцу кабины и с гранатой в руке вскочил на подножку автобуса.

— Сдавайтесь! Вы окружены! — закричал он, размахивая гранатой, как палкой, перед носом немецкого офицера.

И все, кто был в автобусе, опешили... С грузовика на них смотрело прозное дуло ручного пулемета. Фашистские вояки подняли руки вверх.

— Бросай оружие! — командовал Шевченко, и они покорно сложили к его ногам свои пистолеты. Лишь один, больше всех перетрусивший, не выпускал из рук маленький револьвер, зажав его в судорожно сомкнувшихся пальцах.

— Клади! — крикнул Шевченко, потрясая гранатой, но офицер и сам уже не мог разжать руку, пораженный нервным шоком.

Тогда Шевченко ударил его гранатой по лбу, и револьвер упал к его ногам.

Шевченко построил в ряды двадцать немцев. Они стояли, косясь на шадринский пулемет, а Шевченко тем временем обшарил автобус. Он обнаружил толстый портфель с какими-то бумагами. Погрузив оружие и все трофеи в свою машину, Шевченко вскинул на плечо винтовку и с гранатой у пояса пошел вперед и чуть сбоку колонны пленных немцев, а позади медленно ехал Арсений Шадрин, положив ручной пулемет в рамке разбитого ветрового стекла.

Так и привели они пленных в штаб соединения. Полковник поздравил шоферов с победой. Увидев на лбу офицера сизую шишку, полковник спросил:

— Что это у вас, как у наших волов, рога стали расти?

Немецкий офицер злобно посмотрел на Шевченко, а тот рассмеялся — только теперь вся эта история представилась ему в комическом свете, — до этой минуты было ему не

до смеха: как бы немцы не бросились на него, — все-таки их было двадцать!

Шевченко был доволен собой: если бы не этот подвиг, смеялся бы над ним Шадрин: «Эх, ты, — соня, просрал всю кинокартину, как я мотоциклистов тлущил». До чего же крепко может уснуть человек! Шевченко так и не слышал ничего: ни треска мотоциклов, ни выстрелов Шадрина.

— Что же ты меня не разбудил? — удивился Шевченко.

— Некогда было. И потом тебе надо было выспаться. Обратишь ты поведешь машину, а я спать буду. Уморился, — признался Шадрин, не спавший трое суток.

Через несколько дней пришел Шадрин к коменданту батареи капитану Прокочуку и сказал:

— Скучно в тылу, товарищ капитан. Желая сражаться во всю силу.

— А кто же на машине будет работать?

— Там у меня Шевченко. Героический паренек.

Но и «героический паренек» пришел к капитану:

— Скучно в тылу. Желая сражаться вместе с Арсением Шадриным.

И вот под командой Арсения Шадрина собралось девять шоферов, девять храбрых, надежных товарищей. А десятый — еще храбрый, командир Шадрин.

Этой десятке поручили вести неослабное наблюдение за прилегающей к расположению части местностью, чтобы не пропустить ни одного фашистского лазутчика, которые старались просочиться в наш тыл.

Чуть только стемнело, Шадрин с товарищами отправился в путь. Долго шли по лесу: никого. Но вот и лес окончился, потянулись поля. Безлюдная деревня... Мертвая тишина... Да, мертвая, пропитанная жутким запахом тления — много дней лежат здесь трупы замученных крестьян. Звери-фашисты, растерзав их, отошли за деревню, в логово свое, вырытое в земле.

За деревней — гора. Что-то темнеет на ее гребне... Шадрин бесшумно ползет по скату. Большое тело его плотно прижимается к земле, — ни малейшего шороха... Но это искусство Шадрина оказалось излишним — фашисты, сраженные усталостью и вивом, лежали вповалку на земле. Шадрин услышал громкий храп. Он спокойно огляделся. Три станковых пулемета стояли беспризорно среди спящих. И вот в руку тел полетела граната...

Столб пламени осветил на мгновение лежащих на земле пьяных немцев. Взрыв. Тишина... Никто из врагов не проснулся.

Шадрияны спустились к ручью, в глубокий лог. На лафете противотанковой пушки спал часовой... В темноте угадывалось присутствие людей по тому нечистому запаху, какой издают проплевшие портянки и пропитанные потом рубахи. Шадрия уловил этот запах, который не могли заглушить своим густым ароматом ночные фиалки, в изобилии покрывавшие луг.

Шадрия любил природу сердцем крестьянина. И вот этот запах ночных фиалок вдруг напомнил ему молодость, дни, когда он вот так же скрытно крадся по лугу ночью на встречу со своей любимой. И тогда так же от ручья веяло прохладой, пахло осокой и журчала тихая вода по камушкам...

И еще вспомнилось: покос и ночь на ароматных травах с молодой женой... Кричали коростели кругом. Тепло и дремотно мерпали звезды. И бесконечно хорош был этот обжитый, милый мир, принадлежавший Арсеню и его молодой жене. И казалось: вот так будет вечно сопутствовать ему счастье.

...Нет теперь этого прекрасного мира. Над всей любимой страной стоит этот прельный запах войны, запах нечистоты и тления... И туда, откуда наплывал этот отвратительный запах, Арсений яростно швырнул гранату. За ней полетели гранаты шадриновцев — ночь содрогнулась от грохота. Кверху полетело колесо пушки... чья-то нога...

А Шадрия лежал на земле, прижавшись грудью к ее теплой груди, ощущая всем существом своим ее дрожь, дрожь ненависти. Он отомстил за поруганную советскую землю, вскормившую и вспоившую его, Арсения, — землю, на которой познал он человеческое чистое счастье.

...А утром он лежал в низине, пригвожденный к земле несказанной болью — осколки жены впились в ногу, сорвали пятку с правой ноги, изуродовали левую руку.

Розовая июльская заря застала Шадрина на пороге смерти. На земле валялся окровавленный человек, и в нем трудно было узнать веселого парня с Вохмы: губы закрепились от

нестерпимой жажды, глаза ввалились и полинялись...

— Пить... Пить...

Но никого нет вокруг. Товарищи далеко. Они голят врага с родной земли. Издали доносятся выстрелы и крики «ура».

— Вперед, товарищи... Вперед! — лепчет Арсений Шадрия, устремив глаза к небу, — там маленькое облачко, пронизанное лучами восходящего солнца, и облачко это разбухло в нем жажду жизни. Собрав последние силы, Арсений приподнялся на локте...

Рядом лежала лопатка. Луг сырой. Если копнуть, то может быть и вода близко. Арсений начал долбить землю лопаткой... Вода! В ямку натекла мутная жижа. Арсений припал к ней воспаленными губами.

...Он лежал здесь, в низине, до позднего вечера, закрыв глаза, но перед ним стояло облачко, окрашенное в цвет утренней зари, в цвет жизни, и Арсений не чувствовал себя одиноким. Здесь его нашли санитары.

И вот он лежит на больничной койке. Я смотрю на белокурого человека со впалыми щеками и тихим голосом, — человека, победившего смерть. Он рассказывает мне о Вохме, и я вижу северную весну и «кошмы», плывущие вместе со льдинами, и ночные фиалки, и счастливого вологодского парня с серыми глазами — моего соотечественника, отныне моего друга.

Мне хочется сказать ему что-то ободряющее, ласковое, угадать его желания и пожелать ему скорейшего их исполнения.

И я говорю:

— Вот скоро поедете домой, на Вохму... Отдохнете в лесной благой тишине...

Арсений Шадрия непонимающе смотрит на меня, качает головой.

— Сердце не выдержит... Не усну дома.

Он говорит это искренно, без ресовки. Нет, не удержать этого беспокойного человека в тишине! Ведь сбскал же он из госпиталей на финском фронте, где лежал с отмороженными ногами и огнестрельной раной.

Экспрессом через Татры

Почти два часа после рассвета экспресс Кошица-Циллина шесся вслепую сквозь горушую дымку, едва покрывавшую верхушки деревьев. Она была не густа, эта дымка, не то что па-стоящий плотный и сырой туман, но она упорно лгнула к земле, словно пустила в нее корни. А поезд с бешеной скоростью сво-рачивал вправо и влево, отгибая скалы, и низвергался в долины, как бы стараясь найти лазейку.

В окна вагона видны были на юге Малые Татры с их вечнозелеными склонами, а на севере, всего в нескольких километрах, были Высокие Татры, и в августе покрытые снегом.

Бескрайние ряды гор словно заполняли весь мир. Трудно было поверить, что все они в границах Словакии.

Поля широкой долины между Татрами были поделены на длинные узкие полосы. Большинство полос шириной не более двенадцати шагов, но конца им не было видно. Вся долина засеяна чередующимися хлебами и травами, и полосы переливались от небесно-голубых всходов ржи до мусто-зеленого клевера и золотисто-коричневой пшеницы. Безлесная поверхность расстилалась бархатистыми волнами.

Нигде не было отдельных домов и строений. Пахотная земля была слишком драгоценна, чтобы ее занимать под постройки. Крестьяне жили скученно, в селениях, которые были построены, словно крепости, в защиту от мародеров. Крестьян долго учили уму-разуму и люди и природа.

Железная дорога прорезала долину, прямая, словно световой луч, в полукиллометре от одной деревни, в четверти километра от другой. Уже более двух часов экспресс шел без остановки.

Пока переполненный экспресс несся по долине, пассажиры в коридорах терпеливо ждали остановки в надежде, что им повезет занять освободившиеся места. В

коридорах было столько же стоячих пассажиров, сколько их сидело в купе. Большинство из них проводило свой отпуск в Татрах. Чаще всего это были словаки, но в поезде было много и чехов из Пильзена и Праги, венгерцев из Будапешта, поляков из Варшавы и немцев.

Один из немцев, наци, протискался по коридору и остановился у окна в тамбуре. Он любовался на Высокие Татры и призывал всех разделить его восхищение. Он считал, что это прекраснейший ландшафт, какого нет во всей Словакии. Когда мы выразили свое восхищение, наци воодушевился. Он сказал, что это вещь, достойная германского народа.

Он приводил географические названия и объяснял нам историческое значение каждого. Не переставая говорить, он вытаскивал из кармана складную карту Чехословакии. Она была на немецком языке, и, следовательно, все горы, реки и города носили немецкие названия — безотносительно к их настоящим чешским, словацким, русинским именам. До раздела 1938 года ни одна часть республики не принадлежала Германии, хотя немецкий язык и был навязан стране Австро-Венгерской империей. Но до и после имперского режима чешский и словацкий языки были коренными языками населения.

Наци стал размечать карту карандашом.

— Все эти пограничные районы — это часть Германии, — начал он. — Везде, где говорят по-немецки, там и территория немецкая.

Он приложил карту к гладкой стенке вагона и, сглотывая карандаш перед каждым штрихом, с упоением говорил, как легко ему проводить истинные границы территорий германского народа.

Поглощенный этим занятием, он из нескольких минут замолчал. Он снова взялся за границы и еще раз провел их жирной чертой. Закончив это, он поднес карту поближе к свету. Он отхватил больше половины Бо-

гемни и почти две трети Моравии. Он долго пертел карту и никак не мог на нее наглядеться.

— Но это еще не все, — сказал он, тыкая в карту острием карандаша. — Нет, это далеко не все. Вот поглядите!

Он снова приложил карту к стене и стал вычерчивать круги в центральной части страны. К этому времени возбуждение его дошло до предела, голос до крика. Все лицо у него побалбурело, и жилы вздулись.

— Все это германские островки, — сказал он. — Немцы, где бы они ни жили, живут на германской территории.

Он снова обратился к карте, снова посплюсывал карандаш и еще раз обвел все границы, чтобы линии, которые он проводил, выделялись нагло и недвусмысленно. Лицо его багровело все шире.

— Все это германская территория, — кричал он. — Все это часть немецкого Фатерланда. И скоро немецкий народ потребует свое. Чехи не имеют на это никакого права. Все это будет у них отнято и возвращено немецкому царю.

Он говорил так быстро, что нам не удавалось сказать ни слова. Раз, когда он остановился, чтобы перевести дух, мы спросили его, откуда он родом — из Фатерланда или из Чехословакии.

— Я родился на территории Германии! — прокричал он. — Чехи владели ею двадцать лет, но это германская территория. Чехи не имеют на нее никакого права. Это — германская территория.

Он кончил фразу на такой высокой, пронзительной ноте, что, оказалось, голос у него сорвался. Жилы на его затылке походили на канаты, покрытые человеческой кожей.

Поезд с немощной быстротой несся по долине. Высочайшие вершины Татр бесконечной процессией проходили перед нами на фоне яркого летнего неба. Страна была сказочно прекрасна.

— Чехи не достойны обладать всем этим, — сказал наци слабым, сорванным голосом.

Он сделал еще одну попытку говорить, но вместо всяких слов указал на окошко. Рука у него тряслась, и он толкнул ее на открытую раму.

Все молчали.

Поезд несся мимо чередующихся полос созревающей коричневой пшеницы и молодого зеленого овса.

— Но почему же чехи не имеют права на Чехословакию? — спросили мы.

— Чехи безобразный народ, — сказал он медленно, снова собираясь с духом. — У них нет культуры.

— Просто они держатся за свою культуру, — сказали мы. — Они создали нацию, которая по значению не уступает многим другим странам.

Немец обернул к нам злое, побалбурившее лицо.

— Чехи позволили еврейским свиньям перебаривать все это, — закричал он. — Германский народ никогда не потерпит этого. Еврейские свиньи разгуливают при чехах везде, где им вздумается. Безобразные чехи даже не пытаются воспрепятствовать этому. Но германский народ не потерпит этого. Германский народ прекратит это. Мы покажем еврейским свиньям их место!

Поезд начал замедлять ход. Теперь, когда он сбавил скорость, яснее были видны полоски хлебов. Пшеница клонила тяжелые колосья. Входы овец были дружные и крепкие.

Немец весь трясся от злости, но, хотя грохот и ляг поезда затихал, он не сказал больше ни слова. Он повернулся и пошел по коридору за своими вещами.

Поезд остановился у станции Спрба, и сошедшие заполнили всю платформу. Но еще больше пассажиров вошло в вагоны. В толпе перед станцией видна была фигура наци, который только что разглагольствовал в тамбуре. Он проталкивался через толпу, распахивая народ плечами и чемоданами. Потом он исчез в станционных дверях.

Через несколько минут после того, как поезд отошел от станции, послышался шум в одном из купе второго класса. Поезд был так переполнен, что никто не мог сдвинуться с места, а многие висели на подножках.

В среднем купе вагона рослый краснолицый немец и его рослая краснолицая супруга громогласно плакали, что их соседка отказывалась снять свои вещи с сетки над ее местом. Багаж немцев, состоявший из пяти чемоданов и двух сундучков, не влезал на их собственные багажные сетки, и они требовали, чтобы женщина сняла свои вещи и уступила им сетку.

Кроме них в купе было еще пятеро пассажиров. Это были словаки и русины и один венгерец. Женщина была из Австрии. Она покинула страну после захвата ее Германией.

Австрийка была в купе единственным пассажиром, понимавшим, что говорят немцы. Все прочие наблюдали за спором, не вмешиваясь.

Вдруг без всякой видимой причины спор прекратился и голоса немцев затихли. Немец сел напротив австрийки и дружелюбно улыбнулся ей. Он бивнул жене, и та тоже заулыбалась.

Немец согнулся в подупоклоне и ласково поздравил соседку с тем, как она держала себя в споре, и принес извинения в том, что он вышел из себя и повысил голос. Он снова расплылся в улыбке, кивнул жене, и та тоже осклабилась. Они оба ласково глядели на свою визави. Австрийка расчувствовалась и ответила на улыбку улыбкой.

Вдруг немец кошачьим движением вспрыгнул на ноги и попытался скинуть вещи соседки. Но прежде чем это ему удалось, она загородила ему дорогу. Тогда он ударил ее по лицу с такой силой, что она отлетела к дверям купе. Она удержалась на ногах только потому, что дверь не позволила ей упасть.

— Австрийская свинья! — завопил он на нее по-немецки. Коса у него вся вспыхнула.

Жена его наклонилась и плюнула женщине в лицо.

Австрийка, в наружности которой не было ничего еврейского, заслонила руками лицо и голову от ударов немца. Все прочие пассажиры в купе вскочили на ноги.

— Ах ты, еврейская свинья! — ревел на нее немец. — Я тебе покажу твоё место!

Женщина попыталась было открыть дверь, но он заслонял от нее ручку.

Пассажиры соседних купе и стоявшие в коридоре привлечены были криками. Они толпились около двери купе, наконец, им удалось открыть ее. Никто не сказал ни слова.

Слезь катилась по щекам австрийки. Перед ней стоял немец со своей супругой и

глядел на плачущую женщину. Тут подошел чех-проводник и сразу понял происходящее. Повидимому, ему не надо было ни о чем спрашивать. Он не сказал ни слова.

Когда австрийка двинулась к двери, немцы снова заорали на нее. Пассажиры в купе не понимали их слов, но никто из них не садился. Немец не делал новых попыток ударить женщину, но она все еще закрывала лицо руками. Проводник-чех, не говоря ни слова, вошел в купе и помог женщине спрятать и вынести ее вещи. Он увел ее в другой вагон.

Все пассажиры купе продолжали стоять, пока немец размешал свои вещи на багажной сетке австрийки. Он и супруга улыбались и переговаривались, укладывая вещи в сетку. Когда они глядели на других пассажиров, те, не глядя на них, отворачивались к окну.

Долина, по которой шесся поезд, была волнистая и зеленая. На полях всходы клевера, ржи и ячменя поднимались выше колена. Полосы хлеба были все так же узки, но короче, чем на другом конце долины. По мере того, как поезд взбирался на плато, позади оставались рослые посевы пшеницы. Километров в пятнадцать от нас прямо из ровной поверхности черными обнаженными глыбами круто вставали Высокие Татры. Дикие, тззубренные, они высились над низкими зелеными предгорьями. На вершинах пиков сверкал снег, неправдоподобно белый и холодный под августовским солнцем.

Нацистский агент в Праге

Мы поднялись на второй этаж, нажали кнопку звонка и открыли дверь. Дощечка на двери указывала, что это редакция немецкой газеты; кроме этого, вход этот ничем не отличался от множества других помещений главной деловой улицы Праги.

Когда мы открыли дверь, звонок над секретарской конторкой зазвонил, и звон прекратился, пока мы не закрыли двери.

Еще не было восьми часов утра, но даже в этот ранний час помещение приемной было переполнено. Двенадцать или пятнадцать человек, большинство в темносерой шоферской форме, сидели по стенам на жестких деревянных скамейках. Трое или четверо были в утрированно широких штанах «гольф» и в белых носках. Все были немцы. На стенах висело много плакатов судетско-немецкой партии и карандашный портрет Конрада Генлейна.

— Хейль! — прокричал человек из-за конторки.

Он поднял вытянутую правую руку, ладонью вперед, но не смотрел на нас. Он стоял за конторкой и проглядывал какие-то бумаги. Он был одет в темносерую шоферскую форму с ярко начищенными сапогами. Он так и не поглядел на нас, занятый своими бумагами.

— Халло! — сказали мы.

Если бы мы сказали «полиция!», едва ли эффект этого был бы сильнее. Все в комнате повскакали со своих мест и заревели: «Зиг Хейль! Зиг Хейль! Зиг Хейль!»

Секретарь оторвался от бумаг, поднял в знак приветствия правую руку и закричал: «Хейль!..» За конторкой не было стула. Он не садился. Было бы признаком слабости сидеть во время работы.

Все, в том числе и мы, ждали, что будет дальше. «Хейло» было подчеркнуто чешским приветствием, вовсе неуместным в нацистской штаб-квартире. Мы не только не ответили на нацистское приветствие, но еще и произнесли неподобающее слово; это было не просто пельмигранностью, это было оскорблением.

— Подойти!— приказал секретарь.

Мы прошли по комнате к копторке.

— Что нужно?— начальнически спросил он.

Уголком глаза мы заметили движение в толпе у нас за спиной. Несколько человек преградило нам отступление к двери, другие придвинулись к нам поближе.

— Журналисты,— ответили мы.

По толпе прошел вздох облегчения. Некоторые лица посветлели.

— Англичане?— спросил секретарь.

— Нет,— сказали мы.— Американцы.

Приветливая улыбка озарила секретарское лицо. Он перегнулся через копторку и горячо нас приветствовал. После обмена рукопожатиями он вышел из-за копторки и поклонился. Нам было полностью прощено чешское приветствие.

— Американцы!— повторил он. Потом, как бы вспомнив свое угнетение, он стал во фронт, щелкнул каблуками и рукой приветствовал всех присутствующих. — Хейль! — прокричал он.— Американцы!

Толпа вокруг нас отвесила поклон и вернулась на свои скамьи.

— Чем могу служить?— спросил секретарь.

— Нам бы хотелось повидаться с редактором,— сказали мы.

Он покачал головой, все еще продолжая улыбаться.

— Редактор — очень занятой человек, — сказал он. — Надо заранее условиться о приеме. Он днем и ночью занят очень важными делами.

— Скажите ему, что мы американские журналисты, — настаивали мы.

— О, конечно, — сказал он. — Пожалуйста, присядьте, а я договорюсь о приеме.

Мы уселись на одну из жестких скамеек с прямыми спинками, а он взялся за трубку. Когда его соединили с редактором, он щелкнул каблуками и стал во фронт. Он говорил с берлинским акцентом.

— Здесь американские журналисты, которых следовало бы принять, — сказал он в трубку. — Журналисты из Америки.

Он кивал и улыбался, слушая ответ редактора. Потом он положил трубку и поклонился.

— Редактор говорит, что с удовольствием вас примет, — сказал он. — Пожалуйста, обождите минутку.

Пока мы разговаривали, звонок на стене зазвонил, и в комнату вошел еще один человек в шоферской форме. Он залер за собой дверь, поднял руку в знак приветствия и закричал:

— Хейль!

После того как все положенные «Хейль» были прогаркнуты, вновь пришедший подошел к копторке и вручил секретарю пакет. Потом они обменялись приветствиями и по вымши «Хейль», и мурьер пошел к скамье и сел, ожидая ответа.

На его куртке были следы от пояса военного образца, который он снял, прибыв в Прагу. Законы республики запрещали членам политических партий носить форму. Члены немецко-судетской партии обходили это запрещение, надевая брюки гольф и белые носки или же темносерую шоферскую форму. Однако форменный пояс военного образца им приходилось снимать.

Ждали мы недолго. Через несколько минут дверь из внутренних помещений открылась и в комнату вошел худощавый белокурый молодой человек. Он шел прямо на нас широкими шагами, сотрясая пол топотом каблуков. В отличие от всех присутствующих он носил грубошерстный костюм. Подходя к нам, он продемонстрировал «гусиный шаг».

— Как вы поживаете? — сказал он по-английски с явным оксфордским акцентом. — Рад вас видеть. Я редактор.

Он согнулся в пояс, пожал нам руки и повел нас из приемной в свой кабинет. Когда мы вошли, с кресла поднялся коренастый блондин.

— Позвольте познакомить вас с вашим соотечественником, — сказал редактор. — Как и вы, он журналист. Мистер Конвей!

Конвей пожал нам руки и сел.

— Я из Пенсильвании, — сказал он.

— Чудесная страна — Америка! — сказал редактор.

Конвей почувствовал необходимость оправдаться.

— Я здесь по делу, — сказал он.

— Представляете газету? — спросили мы.

Он кивнул головой. Прежде чем мы могли уточнить дело, редактор изменил тему разговора. Конвей свернул какие-то бумаги и спрятал их в карман.

— Я люблю побеседовать с американцами, — сказал редактор. — Мы с ними говорим на одном языке, вы понимаете, в каком смысле.

Он потер руки, расплылся в улыбку и кивнул всем нам. Тщательно отставив один из пальцев правой руки, он указал им на пас.

— Я надеюсь иметь удовольствие обратиться к вам в нашу веру, — сказал он, все еще улы-

баясь.— Это, знаете, основная моя работа. Я быль бы очень счастлив приобщить вас к нашему движению.

Копвей поехал в своем кресле.

Мы снова попытались завести речь о газетных агентствах, о газете, но ни Копвей, ни редактора эти вопросы, видимо, не интересовали.

— Какую газету вы издаете?— все же спросили мы.

— Ну, это длинная история и, по правде сказать, скучная!— улыбаясь, сказал редактор.— Я лучше расскажу вам о нашем движении.

У него был порядочный запас ходовых американских словечек полугодовой давности, которыми он сдабривал свою речь, словно яичницу укропом.

— Наше движение катится по шоссе, как паровой каток. Едва ли бы мне удалось обратиться в нашу веру мистера Копвея, если бы он сам не разобрался в положении вещей.

Копвей снова заерзал в своем кресле. Видно, ему не сиделось. Он встал и потянулся за шляпой.

— Я опаздываю на деловое свидание,— сказал он и вышел.

Редактор уселся поудобней и стал угощать нас немецкими папиросами. Ему было лет тридцать пять, он бегло говорил на нескольких языках. Он уже несколько лет был разбегшим нацистским агитатором за границей. Он избрал эту профессию на всю жизнь, он считал ее интереснее любой профессии.

— Скоро я сверну свою работу здесь,— сказал он,— затем у меня по плану намечена работа в ряде стран. Как только я обрабатываю одну страну, я сейчас же переполшу работу в следующую. Это поистине увлекательная профессия!

В Чехословакии он пробыл всего шесть месяцев, но за это время, по его словам, ему удалось наладить нацистское движение. Он очень гордился своей способностью доводить чужие народы до принятия нацистских взглядов на жизнь. В подтверждение он привел пример нацистских успехов в Австрии. Он утверждал, что нет нации в мире, которая могла бы остановить начавшийся победоносный поход.

— А теперь мы собственными глазами поглядим на образцы германской культуры и так называемой культуры чехов,— сказал он.

— Нам все-таки хотелось бы до этого поглядеть на вашу газету,— настаивали мы.

— Дорогие друзья,— засмеялся он.— Уверю вас, что это все прескучнейшая история. На улицах я покажу вам гораздо более интересные вещи.

— Прагу мы знаем вдоль и поперек,— за-

явили мы.— Сейчас мы хотели бы поглядеть газету, которую вы редактируете.

— Может быть, вы и знаете город, по рядом с вами не было никого, кто бы помог вам различать образцы германской культуры и дурацкие чешские имитации.

Он провел нас по коридору к лестнице, выхолившей на улицу. Это была не та лестница, по которой мы поднялись в первый раз.

Мы вышли на улицу. На той стороне была стоянка такси, но «редактор» повел нас к другой стоянке, за несколько кварталов. На первой стоянке шоферы были чехи, объяснил он, и шикто из них не мог бы почерпнуть ничего полезного из поездки, которую мы собирались предпринять. Он выбрал шофера из судетских немцев, и мы поехали в судетско-немецкую начальную школу.

Когда мы вошли, коридоры были переполнены детьми. Редактор крикнул: «Хейль!» и приветствовал их поднятием руки. Несколько сот детей сейчас же закричали «Хейль!» и подняли руки. Начав, они уже не переставали. На протяжении нескольких минут они хором декламировали: «Зиг Хейль!»

Директор школы провел нас в кабинет и показал нам карты Чехословакии, отмечая главные в Германии и графически отмечавшие рост нацистского движения в республике.

— Отныне ни одно германское дитя не подвергнется дурацкому обучению чехов!— заявил директор.— Все германские дети в Чехословакии будут пользоваться благами германской культуры.

Директор улыбнулся, редактор приветствовал его, и оба они дружно прокричали «Хейль!» Мы покинули здание и поехали дальше.

— Теперь готовьте ваш взор к ужасному зрелищу!— сказал редактор.

Такси остановилось, и мы вышли.

— Вот образчик того, чем прославились чехи. Они уродуют весь мир своей протитурованной архитектурой. Вот вам образчик их культуры! Он указал нам на большой дом для рабочих, занимавший несколько кварталов. Здание было построено в современном духе — большие окна, балконы, застекленные пролеты лестниц. По сравнению со многими американскими и английскими доходными домами здание это казалось дворцом.

— Рабочий профессиональный союз построил это и назвал кооперативным рабочим домом,— сказал редактор.— Безмозглые чехи спроектировали все эти прямые линии, стеклянные стены и дурацкие балкончики, воображая, что все это архитектура и культура!

Редактор смотрел на здание с все возрастающим раздражением.

— Разрешили чехам спроектировать и возвыгнуть здание, и эти безмозглые дураки стараются доказать, что у них есть своя культура! Мы покончим со всей этой саморекламой, потому что, как всякому известно, у чехов нет культуры. Это такое ужасное зрелище, что немецкий народ даже не поглядит на это, проходя мимо, из страха забыть свою собственную культуру.

Мы снова поехали по улицам Праги, пока не добрались до Биржи, недавно построенной чешскими архитекторами в самом центре города, на широкой улице и фасадом на общественный сад. Здание было в три этажа из светлосерого камня. Редактор указал своей тросточкой на маленький балкончик.

— Вы только полюбуйтесь, что сотворили с этим зданием эти безмозглые чехи! — сказал он со смехом. — Они прилепили туда какой-то карнизик, словно какую-то оборочку, и сделали вид, что это балкон. Но он так мал, что на нем курица не поместится. А если бы и поместилась, так все равно, туда нельзя добраться, потому что эти безмозглые чехи не удосужили проделать дверь в стене!

Он откинул голову и захохотал, все еще тыкая своей тросточкой в сторону балкона и привлекая этим внимание прохожих. Но никто не остановился пошеяться с ним.

— Это был прекрасный город, пока чехи не завладели им, — сказал он. — Они изнасиловали Прагу. Это позор. Они только на это и способны. Но скоро все изменится, и германская культура возьмет на себя задачу изгладить из памяти все эти уродства. А потом мы начнем строить здания, достойные германского взора.

Он несколько раз прошелся взад и вперед по тротуару, прежде чем смог оторваться от Биржи.

— Это гнусность, — говорил он. И снова глядел на Биржу. — Это оскорбление немецкого народа, — кричал он.

— Сделаем усилие воли и удалимся от этого позорного зрелища, — сказал он. — Если мы не будем сильны, то безмозглым чехам удастся проглотить нас.

Мы поехали назад. Приближаясь к «редакции», мы еще раз попросили показать нам газету, ради которой мы и пришли сюда. Редактор ничего не отвечал до самого порога своей редакции.

— Дорогие друзья, — сказал он с улыбкой. — Я вижу, мне трудно будет раскрыть вам дух германской культуры. Но я не отчаиваюсь в успехе.

Он вышел из такси и остановился у тротуара. Голова его была в рамке оконного проема такси.

— Вам пора узнать, что газета наша — это простая, но удобная фикция, — сказал он, ослабаясь. — Прежде чем расстаться с вами, — добавил он быстро, — я хочу поблагодарить вас за возможность побеседовать с вами о нашем движении.

Он удержался от фашистского салюта в общественном месте, но все же просунул голову в окошко такси и выдохнул свое «Хейль!» нам прямо в лицо. Мгновение спустя он исчез в дверях «редакции».

«Ныне разворачивается самая страшная борьба на нынешнем этапе нашей истории. Это борьба не только за нашу землю, но и борьба за нашу душу... Тысячелетняя традиция учит народ раз и навсегда: во-первых, защищать свое существование и, во-вторых, всеми силами и всей душой стоять на стороне мира и свободы». (Карел Чапек.)

*Перевел с английского
И. КАШКИН*

Как он жил...

О черк

Все читали в газетах сообщение о том, как в Н-ской артиллерийской части на фронте пал смертью храбрых водитель гусеничного трактора-тягача Павел Рудаков.

Фашисты разрушили мост через реку Б. на пути отхода наших частей. Одно орудие очутилось в окружении вражеской пехоты. Снаряды кончились. Весь оружейный расчет был перебит огнем фашистских пулеметов. Оставался в живых лишь водитель трактора красноармеец Рудаков. Он залег за укрытием и с полчаса отстреливался из винтовки, спустывая подсумки убитых товарищей, пока не кончились патроны. Тогда он побил прицельные приборы орудия, снял замок, забросил его в реку, хотел поджечь бензин в баке трактора, чтоб взорвать его, но не успел. Фашисты, — их было человек тридцать, — разглядев, что возле орудия остался всего лишь один красноармеец, осмелели и, перестав стрелять, бросились наконец «в атаку», чтоб захватить его живым. Но Рудаков успел в последнюю минуту откинуть прицепной крюк и вскочить на сиденье трактора. Он двинул машину прямо в гущу наседавших немцев. Ошеломленные неукротимым мужеством советского бойца, немцы растерялись. Человек семь раздавил Рудаков машиной, обернулся круто на месте, еще раз врезался радиатором в толпу охваченных паническим ужасом немцев, — затрещали кости и черепа люд гусеницами, — а потом, видя, что все равно ему не прорваться, не уйдти, — будут стрелять в спину, — направил трактор прямо к реке. Стальная промадница сорвалась с высокого обрыва и прогнулась на прибрежные камни, перевернувшись в воздухе вверх гусеницами, погребая под своими обломками отважного бойца-тракториста.

Об удивительной, гордой смерти советского бойца рассказали сами же немцы, захваченные в плен на другой день нашими стрелковыми частями, возобновившими наступление...

Короткая, в двадцать строк фронтовая корреспонденция волновала каждого, кто ее читал. Но больше всех взволновала она колхозников казачьего хутора Рогачи на Дону, где Рудаков до призыва в армию много лет работал бригадиром тракторной бригады.

Рогачи — небольшой хутор, дворов около восьмидесяти. Здесь все, старый и малый, хорошо знали тракториста-орденоносца Павла Ефимовича Рудакова, знали близко, по-домашнему. А вообще-то его знали многие, он был известным на Дону человеком. Часто писали газеты о Рудакове. Но то, что писалось о нем, обычно вращалось только вокруг рекордных цифр выработки бригады, возраставших из года в год, — 1 000, 1 500, 2 000 га на колесный трактор. Конечно, выработка характеризовала человека в основном, в труде, в отношении к колхозному делу, однако голые цифры еще не раскрывали его душевный мир...

Известие о том, что Павла больше нет в живых, вызвало у колхозников горячее сожаление об этом славном парне. В те дни, когда получили газету с описанием его гибели и письмо от комиссара части, только и было разговору в колхозе о Рудакове.

Сойдутся два-три человека, с чего бы ни начали — кончат воспоминанием о Павле.

— Значит — не вернется Павлуша.

— Да, не ждать...

— Как здесь работал парень, так и погиб героически...

Смерть Павла заставила многих подумать о жизни его. Вспоминались отдельные случаи колхозной жизни, связанные с ним, его поступки, любимые выражения. А для колхозников, его соседей, товарищей по работе, в каждом его слове и действии дышал живой Павел, которого лишь месяц назад провозжали на фронт. И смерть, такая, какую он принял, еще ярче показала душу парня, дорисовала

его облик, словно смертью ювшей он досказал что-то, не высказанное при жизни..

Кто был прославленный бригадир «стахановской» тракторной бригады, участник двух всесоюзных съездов колхозников-ударников, награжденный орденом Ленина Павел Рудakov? Батрак, хотя и сын казака. Отца его убили в 16-м году на германском фронте, хозяйство и до войны имели они небольшое, а война совсем его разорила, старшего брата навлукиного зарубили белые. Неурожай два года подряд, последняя лошадь пала, все одно к одному — пришлось парню-сироте с двенадцати лет идти в батраки.

До самой коллективизации не находил Павел прочного места в жизни: от хозяина к хозяину. Зимой жил у матери. Ничем особенным, казалось, он не отличался от других хуторских ребят. Настало время идти ему в армию.

Два года прослужил он на польской границе, в Белоруссии. Там у него были друзья. Были хорошо командиры-воспитатели. Из Красной Армии Павел вернулся в 1932 году уже возмужалым парнем, комсомольцем, серьезным, остепенившимся. Трактор он изучил еще в армии, между делом, по учебнику, только практики не имел. Вернувшись в колхоз, он сразу попросился на машину.

Парень оказался способным, с технической сметкой. Характером он был цепкий, упрямый. Как он стал работать, найдя свое место в колхозе и поправившуюся ему профессию, видно из того, что уже через год его командировали делегатом от района в Москву на первый всесоюзный съезд колхозников-ударников.

Какой он был, Павел? Смуглый, худощавый, но мускулистый, сильный, с черными горячими злыми глазами. Женится он на самой красивой девушке в хуторе, чернойбровой приезжей украинке Оксане Данишевской.

Когда Павла назначили бригадиром, старшим над пятью машинами и двенадцатью трактористами, он сразу показал себя замечательным организатором, требовательным, неутомимым в достижении поставленной себе цели, настоящим вожаком, умеющим зажечь во всех искру соревнования. По сердцу был, не прощал никому небрежной работы, влетаю от него иногда ребятам здорово. Рулевые говорили: «Если разозлится наш Павел за огрехи или за что другое, так лучше не оправдывайся, а то не только заставит перепачкать вторично за свой счет, но еще и прикажет кухарке: «Не давай этому сукиному сыну сегодня ни мяса, ни молока: он дурную работу делает, ту, что должен был вчера сделать, так нехай один борщ хлебает и вчерашнее мясо вспоминает».

Боевой был парень, энергичный, веселый и скромный. Когда стал он уже известным человеком, орденосцем — не зазнался ничуть. Если Павла спрашивали о нем самом, о его жизни и работе, он обычно переводил разговор на брата. «Что — я? Я еще пацаном был, когда люди колхозы строили, дурака валял, хулиганил тут, совестно и рассказывать. Вот брат у меня — это человек. Жалко, что не дожил... Много стихов составил против белых. Хорошие стихи, такие трогательные, я кое-что и до сих пор помню на память. О чем? Да об этом же, о революции, как люди будут жить по-братски, как землю всем дадут... Когда белые заскочили к нам в хату с обыском, оружие искали, — тетрадку брат не губрал, лежала на столе, стал читать, офицер был один с ними, спрашивает: «Кто писал?» Брат отвечает смело: «Я. Для Красной Армии новые песни сочинял». Ну — вывели во двор и зарубали под сараем...»

Павел и не подозревал, быть может, о том, что в свою трудную, кропотливую, «промасленную» работу он вкладывал что-то от стихов зарубленного брата. Была во всей его деятельности какая-то «поэтическая жилка». Она сказывалась и тогда, когда он, «вставляя ума» своим трактористам, говорил: «На хорошую пахоту и глядеть приятно, глазам радостно видеть, как летит зябь, пласт к пласту, ровными бороздами, будто море черное в легкий ветерок, черными баранками покрытое», и когда говорил он: «Ты же слышишь, какой резкий звук в моторе — сама машина просит, чтоб подбавил воды в карбюратор, жажда ее мучит: «Пить! Пить!» Неужели не слышишь? Прямо, человеческим голосом выговаривает». Сказывалась она в его мыслях о работе и быте: «Вот, ребята, если бы мы все пошли себе по одной форме белые костюмы — брюки, пиджак, галстук и чтоб в выходной день приходили мы в хутор только в этих костюмах, белые, как голуби, чтоб не думали люди, будто у нас грязная работа».

Ожидая ребенка, он решил, что если будет дочь, он назовет ее Инесса, — красивое имя, никогда в деревнях таких имен детям не давали, — а если сын — Вольдемаром назовет.

Колхоз построил ему в хуторе новый хороший дом. Старую землянку, где он жил раньше с матерью, хотели снести. Землянку из тех, что называли раньше «галючниками» — с единственными оконцем над самой землей, с сырыми, покрытыми плесенью стенами, в щелях которых вопились мокрицы, с земляным полом, сквозь который в осенние дожди выступала подпочвенная вода, он ве-

лет не трогать: «Пусть остается. Будет музей старой жизни в хуторе». Так и стоит она сейчас рядом с его новым домом. Утварь осталась там вся, трехногие стулья, деревянные топчаны вместо кроватей, икона в углу.

Павел имел ясное представление о том, какой должна стать наша жизнь. Он рассказывал, — кое что ведь и он помнил из прошлого: «Вот здесь, где помещается управление колхоза, жил раньше самый богатый кулак, Максим Романец. Батраков держал человек двадцать, а сам никогда не работал, только пьянствовал. Каждый день у него гульбище, гармошка играет, не успевал и проспаться. И было у него пятеро детей. Все калеки, придурковатые, руки вывернутые, глаза к небу держат, мать с ними набралась горя. А из-за чего? Из-за пьянства. Во хмелю и začínали ребят, и рожали... Нет, нам не такая зажиточность нужна. Есть деньги — бери отпуск, поезжай по всему Советскому Союзу, посмотри города, природу, поезжай на курорт, отдохни, полечись. Купи машину, чтоб в выходной день жену, детей катать... Вот надо нам здесь в хуторе школу открыть для всех, и для взрослых, чтоб чет за пять ни одного колхозника не осталось меньше, как со средним образованием».

Павел по-своему, свежо, с редкой силой непосредственности воспринимал речи товарища Сталина. Со Сталиным он встречался в Кремле трижды. Он помнил наизусть сталинские слова о крестьянстве, сказанные на первом съезде колхозников-ударников: «...сотни лет жили люди по-старинке, шли по старому пути, гнули спину перед кулаком и помещиком, перед ростовщиком и спекулянт-том... И вдруг врываются в эту старую болотную жизнь большевики, врываются, как буря, и говорят: пора бросить старый путь, пора начать жить по-новому, по-колхозному...» Он помнил слова товарища Сталина, обращенные к рабочим Сталинградского тракторного завода: «50 тысяч тракторов, которые вы должны давать стране ежегодно, есть 50 тысяч снарядов, взрывающих старый мир...»

Человек рос на плазах. Павел со своей бригадой обрабатывал колхозную землю. От того, как и когда он пахал и сеял, зависело, какой будет урожай, по сколько хлеба получат колхозники, зависело благосостояние восьмидесяти семей. И его планы, мечты на будущее обнимали всю колхозную жизнь.

Он и раньше часто говорил:

— Как поразмыслил своей головой, к чему мы идем, какую жизнь строим и что бы со мною лично было, если бы не колхоз, чувствую в себе силу — чорт-те чего сделаю! Понадобится нам сегодня, чтоб каждый трак-

тор по три тысячи гектаров пахал, — сделаю и три тысячи!

А когда пришлося ему шоббывать на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке — вот там было о чем подумать!..

Павел привез чуть ли не каждому колхознику подарок и «нагрузку». Подарки — за свой счет, от своих заработанных в колхозе тысяч.

Садоводу деду Терентию — подарок: в красной коробочке с эмблемой выставки бритвенный прибор, чтоб брился почаще, не отпустил бороду и не думал о старости, и «нагрузку» — способ кадового разведения цитрусовых. «Ты отвечаешь за апельсины и лимоны, чтоб наш степной донской колхоз не отставал от Грузии».

Заведующему свинофермой Ефрему Балжанову — подарок: будильник, чтобы почаще вставал ночью и павдывался в свинарники — не давят эти свиньи поросят, и руководство-книжечку: «Как получить от матки пять тонн приплода в год».

Девчатам-трактористкам привез слышанную от белоруссов песню, которая как-то необычайно затронула его:

«Трактор ты мой, трактор,
«Сталинец» мой славный,
Схоронили горе
Мы с тобой недавно...
Схоронили горе,
Горе да неделю,
Как пошли с тобою
Мы гулять по полю...»

И привез общую перспективу хозяйственного переустройства. Хутор-колхоз будет миллионером.

— Как поразмыслишь, товарищи, — чего только нельзя сделать на нашей земле! Можно и виноград сажать, и рис будет родиться. Против других краев у нас и тепла и влаги больше, а недостаточно используем свои богатства.

За дни пребывания на выставке Павел особенно полюбил скромный и светлый навильон Белоруссии, глубже понял душу этого народа, среди которого он жил два года, служил в Красной Армии на границе. Он много рассказывал о трудолюбии и энергии белорусов, осушающих болота, побеждающих пески: — «Земли ведь там хуже наших, чернозему мало, супесок, а колхозы есть, — и нам бы не мешало поучиться у них работать. Урожайность выше кубанской».

И вот пришлося ему, донскому казаку, сложить свою голову на белорусской земле, отстаивая ее от титлеровских полчищ.

— Как жил, так и умер, — говорит колхозники.

Да, умер. Лежит Павел в братской могиле далеко от родного колхоза и никогда не вернется домой к своей красавице Оксане и дочке Инессе. Но умер он, самой смертью своей утверждая победу разума, правого дела, коммунизма. Так, до последнего патрона, могут драться только советские люди. Не дался живым в руки врагов, не отдал им любимую машину — трактор, по трупам фашистов вырвался на волю и как раненый сокол бросился с обрыва на омытые речными волнами камни...

Солдаты Гитлера, рассказавшие о его гибели, были подавлены величавой смертью Павла. Они не понимали, откуда такое мужество, такой неустрашимый наступательный порыв? Что двигало этим человеком? Это — не лихость. Лихость — это когда есть перед кем показать себя, когда знаешь, что другие,

наблюдавшие за тобой, расскажут всем о твоём героизме, а тут человек оставался один-на-один с врагами и смертью. И с мыслями своими. Да, мыслями...

Потому бился так до последнего вдоха Павел, что много думал. Партия заставила думать полупролетарского крестьянского парня. Колхозный строй разбудил в нем талант и силу творца. Сталин вложил в него вечно живые мысли и орлиное стремление ввысь. Это ли понять гитлеровским солдатам, ослепленным и одуроченным параграфами германских воинских уставов, в которых написано: «Солдат не должен думать. За него подумал и подумает фюрер»?.. А возможно — поймут. Дела людей, подобных Павлу, рождают и в опустошенных головах искры мысли.

Вот так жил и умер Павел Рудаков...



Народные мстители

(Партизаны Северо-запада)

«...нужно создавать партизанские отряды, конные и пешие, создавать диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога лесов, складов, обозов. В захваченных районах создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия».

И. СТАЛИН

ЧЕЛОВЕК УХОДИТ В ЛЕС

Чем-то осенним днем между деревьями пробирается человек. Он идет осторожной поступью охотника, выслеживающего дичь. Промокшая одежда прилипла к телу и стесняет движения. Но человек безостановочно движется вперед, все дальше углубляясь в лесную чащу. На какую охоту уходит он в лес в этот неприветливый день?

Человек уходит на охоту за опасным и свирепым зверем — за фашистским зверем, терзающим родную землю.

Там, в лесу, он встретит таких же, как он, беспощадных мстителей за пролитые слезы и пролитую кровь. Они стекаются по лесным тропинкам, не нанесенным ни на одну карту, напрямки через болота, которые считаются непроходимыми, по многоводным рекам, на лодках и челноках.

Все шире разгорается партизанская война во временно захваченных германскими фашистами районах советского Северо-запада. Вероломное вторжение фашистских орд на советские земли всколыхнуло глубокие слои крестьянства, рабочих, интеллигенции.

Партизанские группы и отряды стали возникать ежедневно, ежечасно. Опыт бело-

русских и украинских партизан, уже прегравших на весь мир, был перед глазами. Характер же местности еще более, чем в Белоруссии и на Украине, благоприятствует развитию партизанского движения. Глухие леса, множество озер и рек, болота, редкие дороги затрудняют на Северо-западе действия больших механизированных соединений, а партизану создают чрезвычайно выгодные условия.

В леса уходят городские рабочие и служащие, колхозники, учащаяся молодежь, районная интеллигенция. Работники связи берут с собой радиоаппаратуру, пожарники создают конные группы, охотники со своими собаками превращаются в разведчиков.

Сойдясь вместе и образовав отряд, они дают друг другу клятву — сражаться против врагов родины до последнего дыхания.

Вот текст присяги, принятой в одном из партизанских отрядов:

«Я, гражданин Великого Советского Союза, верный сын героического русского народа, клянусь, что не выйду из рук оружия, пока последний фашистский гад на нашей земле не будет уничтожен. Я обязуюсь беспрекословно выполнять приказы всех своих командиров и начальников, строго соблюдать воинскую дисциплину.

За сожженные города и села, за смерть женщин и детей наших, за пытки, насилие и издевательства над моим народом я клянусь мстить врагу жестоко, беспощадно и неустанно.

Кровь за кровь и смерть за смерть!

Я клянусь всеми средствами помочь Красной Армии уничтожить бешеных гитлеровских псов, не щадя своей крови и своей жизни.

Я клянусь, что скорее умру в жестоком бою с врагом, чем отдам себя, свою семью и весь советский народ в рабство кровавому фашизму.

Если же по своей слабости, трусости или по злой воле я нарушу эту свою присягу и предаю интересы народа, пусть умру я позорной смертью от руки своих товарищей».

И партизаны свято соблюдают принятую присягу.

Партизаны наводят страх на немцев. Все их усилия не могут парализовать партизанское движение. Они бессильны против него. Недаром они уделились теперь за финнов, опытных лесовиков, и привезли в район озера Ильменя около двух тысяч финских головорезов.

Но финны не помогут делу немецких оккупантов.

Кто такой партизан? Партизан — это пламенный патриот, защищающий от врага родную землю, родное село. Он нападает на захватчиков, на разбойников потому, что защищается. Он нападает потому, что мстит за оккупированную родину. Это человек предпочтительно местный, знающий все ходы и выходы, имеющий прочные связи с населением, отлично разбирающийся в окружающей обстановке.

Чтобы хорошо владеть оружием партизанской борьбы, мало знать лес. Надо, чтобы этот лес был родным. Тогда каждый кустик воевать пустяк.

А что может сделать в наших лесах финн?

Всем он чужой здесь. Нет у него тут ни родного человека, ни родного дома. Защищать ему нечего. Финн в наших лесах — просто-напросто диверсант, профессиональный лесной душегуб.

Лесная сторона, раскинувшаяся от Ильменя до Чудского озера, — исконная русская земля. Эта земля не приемлет чужеземных работников. Когда-то русские люди дали здесь сокрушительный отпор немецким псам-фашистам. Память об Александре Невском, о героях ледового побоища никогда не угасала в народных массах.

Партизаны — армия, которая, подчас, утром пашет землю, а ночью сражается. В случае нужды они растворяются в народе, а затем снова собираются. Это армия, которую нельзя ни рассеять, ни уничтожить, армия неуловимая и подвижная, действующая в гуще неприятеля, рядом с самыми жизненными центрами его военного организма.

Это армия, беспощадно мстящая немецким захватчикам за поруганную родную землю, армия народных мстителей.

ЗА ЧТО ОНИ МСТЯТ

Над рекой Ловатью стоит старинный живописный городок Холм. По самому берегу проходит бульвар, излюбленное место горожан. Еще недавно здесь звучали бойкий говор, веселый смех.

Почему же сейчас горожане тщательно обходят это место? Почему вымер холмский бульвар?

В самом центре бульвара немецкие фашисты воздвигли виселицу. С ее перекладины свешиваются восемь петель. Петли редко пустуют. Воды Ловати слышат предсмертный крик замученных русских людей...

Тень фашистских виселиц легла на наш Северо-запад.

Вот вступает в деревню немецкий отряд. Солдаты и офицеры в зеленых мушкетерах рвут по улицам, стучат прикладами в двери.

— Выходи, русс!

Там, где хозяева поворачиваются недостаточно быстро, летят стекла.

Немцы требуют хлеба и крови.

— Выдайте коммунистов, комсомольцев, советский и колхозный актив! Несите хлеб, мясо, масло, яйца, пусей!

Люди угрюмо молчат. Тогда начинаются пытки, издевательства, расстрелы. Над избами взвиваются языки пламени.

В колхозе «Вторая пятилетка», Плюсовского района, немцы учинили массовую экзекуцию населения. Собрав население, они потребовали от него сведений о партизанах. В деревню пошло одно предателя. Офицер отдал приказ. Солдаты схватили безоружных женщин и стариков и погнали их сквозь строй, избивая палками. Под ударами палачей летели ключья мяса, обрывки одежды.

Двадцать четыре колхозника были схвачены немцами в деревне Машлютино, того же Плюсовского района. Фашистские заплетных дел мастера превратили колхозный сарай в застенок. Но и под пытками двадцать четыре колхозника отказались выдать коммунистов и членов сельсовета.

— Держись, товарищи! — подбадривали они друг друга.

Шестеро, отобравшие награды, были расстреляны.

В селе Глубоком немцы заподозрили четверых колхозников в том, что они скрывали раненых красноармейцев. Все четверо были расстреляны.

Это повторяется в каждой деревне, куда ступает нога немецкого фашиста. Приговоренные выносятся за околицу, заставляются рыть самим себе могилы. Работы совершаются на глазах матерей, жен, детей.

В городе Опочка был найден на улице труп немецкого солдата. Никто не знал, при каких обстоятельствах он погиб. Ходили слухи, что его заколол в пьяной драке немецкий офицер. Дело поступило на рассмотрение немецкого коменданта. Приговор был коротким: половина населения улицы, где был найден убитый немец, подлежала уничтожению.

Пьяные немецкие солдаты вытаскивали людей из домов. Они открывали страшный счет.

— Эйкс — цвей! Первый — второй...

Первого ждала смерть, второму дарили жизнь, словно бросали щепочку. Обезумевшие от горя матери умоляли немецких офицеров дать им умереть вместе с детьми. Фашисты прикалывали мать заодно с ребенком.

В Локниском районе, где взорванный мост преградил дорогу немецкой автоколонне, виновников определяли по... глазам. Выстроив жителей близлежащей деревни, офицер прошелся перед строем перепуганных людей. Каждый, кто отводил или опускал глаза, обрекался на смерть. Четверо были расстреляны, пятого повесили на стропилах взорванного моста.

Карательный отряд «эсэсовцев» в Пустошинском районе выявлял своих жертв по... волосам. Делалось это очень просто: каждого встречного мужчину заставляли снимать шапку. Если волосы были стриженными наголо, приговор был коротким:

— Переодетый красноармеец! Смерть ему!

Несчастного хватали, выкалывали ему глаза, предавали мучительной смерти.

Если волосы были длинные, но аккуратно подстриженные, приговор гласил:

— Это коммунист! Смерть!

И снова следовала дикая расправа.

Перед ужасами немецко-фашистской оккупации бледнеют самые страшные злодеяния, какие знала история.

В деревне Лоза немецкие солдаты пристали к двенадцатилетней Дроздовой. Они обратились к ней по-немецки, пробуя, чтобы им указали место, где крестьяне скрывали скот. Но девочка не понимала по-немецки. Тогда пьяные злодеи набросились на ребенка. шовелем в огород и изнасиловали. Истер-

занная, она плакала, захлебываясь слезами. Изверги потешались, глядя на жертву. Неожиданно один из них вскинул винтовку и выстрелил. Детское тельце забилось в предсмертных судорогах. Фашист победоносно заготовал.

В деревне Морино пьяный немецкий солдат ворвался в дом Николая Курчавова. Отстранив хозяина, он схватил за руку его жену и потащил ее к двери. Курчавов загорелся собою жену; грянул выстрел, и он упал с раздробленным черепом. Жена с криком бросилась к трупу мужа, но бандит подхватил ее и пошел в сарай, скикая своих сапог и белье. Изваскивав Курчавову, пеготляи отвели ее в свой лагерь, откуда она вернулась лишь через пару дней.

Глухой ночью немецкий пикет ворвался в общежитие медицинских работников в деревне Новое Палкратово, Дновского района. Пикетчики занялись проверкой документов, попутно отбирая у сонных людей деньги и ценные вещи. Одному из грабителей приглянулась 18-летняя акушерка Михайлова. Под предлогом проверки личности, он предложил ей следовать за ним в комендатуру. В больничном парке немец изнасиловал девушку. Она лишилась рассудка.

Все эти зверские преступления сопровождаются повальными грабежами. Оккупированные города и деревни обречены немцами на поток и разорение.

Гитлеровцы забирают хлеб, угоняют скот, разворовывают носильные вещи. Немецкие офицеры и солдаты не гнушаются присваивать и домашний скарб населения.

В германских войсках действует приказ верховного фашистского командования, изданный еще накануне нападения на Советскую страну. Проведем этот приказ:

«Войсковой интендант верховного командования генштаба.

Главная квартира.

Номер 109 4/41 Сербия. От 16.6.41 г.

О снабжении войск.

Разослать до фот.

Общее напряженное продовольственное положение Германии больше не позволяет пополнять состав обозов и организовать снабжение за ее счет. Об этом должен помнить каждый командир и начальник во время операций в стране противника.

Для сохранения запасов в Германии всякая должная жить за счет местного сельского хозяйства».

«Жить за счет местного сельского хозяйства» — означает на русском языке: грабить крестьян. По приказу гитлеровской ставки оккупанты обирают крестьян до последнего.

В селлах Тюбаево, Борисово, Дубки, Тухомичи и десятках других немцы реквизицировали у крестьян хлеб и скот, отняли у них одежду, мануфактуру и даже топоры, лопаты, косы. Там, где побывали фашистские банлиты, население остается нищим и голым.

Вот, к примеру, список вещей, отобранных помещиками грабителями у колхозницы Быстровой в деревне Ваброво: 3 овцы, свинья, 5 чистых рубах, женское платье, детские сандалии и даже... стальные часы.

Немецкая грабарня подняла на новую высоту технику воровского ремесла. Конечно, прусский лейтенант не применяет в оккупированных районах таких простейших воровских инструментов, как, например, «фомку». Он знает иные способы, чтобы провизнуть в квартиру своей жертвы. Зато гитлеровцы полагият список воровского «струмента» новыми изобретениями.

Прислушав о том, что при приближении германской армии население закапывает свое добро в землю, фашисты изобрели особое оружие, похожее на вилы. Этим оружием немецкий мародер тычет в землю, стараясь определить местонахождение ямы с крестьянским добром. «Щупы» — так прозвало население Дедовичского района новое изобретение гитлеровцев.

Можно полагать, что «щупы» будут скоро официально приняты на вооружение германской армии, а на заводах Круппа будет поставлено их массовое производство.

Германское командование стремится возглавить и регламентировать грабеж. Чего стоит, например, следующий приказ 16-ой германской армии, действовавшей к югу от озера Ильмень:

«Главное командование 16 армии 9.8.41 г.
По 4 отделу Секретно.
Приложение
к распоряжениям по тылу № 45 от 9.8.41 г.
2. Зимняя одежда.

Условия русского климата требуют своевременных и планомерных мероприятий по обеспечению оккупационных войск зимним обмундированием.

Командование вооруженных сил отдало распоряжение:

1. Любими средствами должна быть захвачена меховая одежда всех видов: пеховые пальто, меховые пальто, жакеты, жилетки, шапки и сапоги.

2. Также должна быть собрана и сохранена и другая пригодная для зимних условий одежда. Речь идет о зимних пальто (на

вате), куртках и штанах, перчатках и рукавицах (вязаных и матерчатых), о наушниках и шапках, шарфами и наколенниках, о фуфайках всех видов и цветов, о кушаках, шароварах, теплом зимнем белье и носках, валенках и сужонных варежках, галошах и зимних маскировочных накедках.

Корпуса и дивизии должны точно соблюдать данное распоряжение по тылу».

Можете себе вообразить, как будет выглядеть германская армия, наряженная в эти ворованные вещи! В вашем представлении не замедлит возникнуть знаменитая картина Верещагина, изображающая группу солдат отступающей наполеоновской армии: сквозь зимнюю службу и вьюгу движутся жалкие подобия людей, закутанных в женские шифты, в сапоги, во всевозможные лохмотья...

Но пока что фашистские мародеры еще остаются хозяевами над жизнью и смертью людей.

Гитлеровцы действуют как насильем, так и обманом.

В деревню Чпжово, Демьянского района, немцы завезли сахар. Они предлагали его населению в обмен на масло и яйца. Насились простаки, которые поверили в немецкую честность. Фашисты сперва произвели обмен. А выудив у населения все продукты, они отбрали обратно выданный в обмен сахар.

Так фашистские воры «расплачиваются» своими марками за крестьянское добро.

По ночам в оккупированных районах полыхают злоеющие зарева: это горят непокорные города и села. Велик скорбный список городов и деревень, сожженных немецкими варварами на советском Северо-западе.

Сами немецкие офицеры и солдаты не скрывают характера своей «деятельности» в оккупированных районах Северо-запада.

В письме, обнаруженном в сумке убитого немецкого солдата Гурта, последний писал своей жене: «Вчера мы достали в одном из крестьянских дворов сало, масло, яйца».

Солдат Сацлер писал: «Люди разошлись за маслом, салом, яйцами».

Солдат Мюшер: «Я взял себе из добычи пару рабочих сапог и одну ватную куртку».

А солдат Кноблов совсем расхвастался: «Сегодня я снова, так, между прочим, залучил себе курочку. Кроме того, наш взвод заколол свинью, которую мы сегодня вечером сообща проглотили».

Не менее характерны показания военнопленных. Штерный немецкий солдат Эрвин Люберс показал на допросе:

— Германская армия с каждым днем испытывает все больше трудностей со снабжением передовых частей продовольствием. Поэтому части нередко переходят на так называемое местное снабжение, иначе говоря, грабят местное население. В 50 километрах от Старой Руссы наши поля во время марша очистили крестьянские дворы от всего съедобного — свинины, птицы, масла, молока, хлеба и т. п. Кроме того, у крестьян забирают лошадей.

Военнопленный солдат Буби сказал:

— Как только германские части заходят в русский город или русское село, начинается повальный грабёж. Забирают скот, одежду, белье, оставляя население голодным и раздетым. Все это делается с поощрения офицеров... Все, что было взято из Германии, давно уже съедено, и теперь солдат кормят тем, что отбирают у ваших колхозников. Я лично не видел, чтобы солдаты насильничали и убивали женщин и девушек, но от солдат слышал, что так очень часто бывает.

В обозах немецкой армии движутся грабители покрупнее. Это представители капиталистических фирм, помещичьи сынки, фашистские чиновники. Гитлер обещал им в нашей стране заводы, фабрики, земли, доходные должности. Эта свора по хочет довольствоваться бочечком масла, корзиной яиц, гусями и поросятами. Она рассчитывает получить в нашей стране богатство и власть.

Хозяева сегодняшней Германии собираются посадить нам на шею капиталиста и помещика, притом — немецких. Они думают онемечить и поработить советский народ.

Этому не бывать никогда!

Безгранично негодование советского народа против фашистских извергов, безмерна его ненависть к ним. За оружие берется верный помощник, родной брат бойца Красной Армии, — советский партизан.

ПАРТИЗАНСКИЕ НОЧИ

Темны осенние ночи на Северо-западе. «Партизанские ночи» — называют их теперь местное население. Хмурое, подернутое тучами небо не пропускает ни лунного луча, ни даже слабого отсвета далекой звезды. Моросит дождь; вода, стекающая с древесной листвы, скрадывает шорохи. В талую ночь придорожный куст кажется вам человеком, а очертания человека сливаются с окружающей мглой.

С шести часов вечера и до пяти часов утра — целых одиннадцать часов! — все окутано чернильной пеленой. Восемь часов — нормальный рабочий день советского человека

в мирное время, одиннадцать часов — «рабочая» ночь советского партизана в дни войны.

Партизаны действуют преимущественно ночью или в предрассветных сумерках. За короткое время они выработали особую тактику борьбы. Дерзость и решительность — основа этой тактики. Нападать на врага внезапно — таков закон партизана.

Сделав свое дело, партизаны исчезают столь же внезапно, как появились. Когда к месту налета прибывают немецкие подкрепления, партизаны, обычно, уже далеко. В случае необходимости их отряд рассыпается, собираясь затем в условном пункте. Прибывшие немецкие карательные части обычно обстреливают пустой лес.

Партизанский отряд подвижен, неуловим. На марше он искусно замечает следы, вводя в заблуждение вражеских лазутчиков. Отряд старается как можно чаще менять место своего лагеря. Редко он проводит на одной стоянке больше двух — трех дней.

Один из излюбленных партизанами приемов борьбы — устройство придорожных засад. Они охотно выбирают для этого лесные опушки возле шоссе и проселочных дорог. На дорогах вырастают завалы из срубленных деревьев, поваленных автомашин; нередко путь преграждает разобранный мост. Горе немецкой автоколонне, попавшей в такую засаду!

Партизанским нападениям подвергаются немецкие склады с горючим и боеприпасами, отдельно расположенные части и штабы. На железных дорогах сходят с рельсов поезда с солдатами и оружием.

Собственные запасы оружия и патронов партизаны пополняют за счет немецких складов и транспортов.

В трудных случаях приходит на выручку партизанская сметка. Немецкие танки, бронемашины уничтожаются обыкновенными бутылками с горючим; к бутылке привязывают пучок тряпок, вымоченный в бензине, — пучок поджигают при броске. В умелых руках такой несложный метательный снаряд становится опасным оружием.

29 августа в Лужском районе, Ленинградской области, отряд землеустроителя тов. У. организовал засаду на шоссе на дороге близ села Б. Горшковицы. К месту засады подошла колонна из 30 немецких мотоциклистов. В этот момент партизаны выпустили на поляну кур и поросят. Бросив мотоциклы, немецкие солдаты кинулись на добычу. Все 30 любителей легкой наживы были уничтожены.

Партизанская выдумка причинит еще не мало неприятностей немецким фашистам.

Лихие налеты соют панику в немецких частях. В результате партизаны достигают больших результатов малыми силами.

Партизаны поддерживают связь с частями Красной Армии, действующими на ближайшем участке фронта, служат им разведчиками, проводниками, связными. Передко партизанский отряд подбирает раненых красноармейцев, очутившихся во вражеском тылу.

Партизанское движение насчитывает в своих рядах тысячи храбрых женщин — верных дочерей советской родины. В лесах Северо-запада далеко разнеслась молва о стойкости и мужестве одной из них — Валентины Федоровой.

Командир отряда послал Валентину Федорову в разведку. Возле деревни Преснянка ее задержал немецкий отряд. При обыске в кармане разведчицы нашли два капсюля от гранат.

Немцы отвели Федорову в деревню.

— Ты партизанка, — сказал через передчика офицер. — Укажи место, где скрывается твой отряд.

Храбрая девушка отказалась выдать товарищей.

На виду у всей деревни немцы водворили виселицу. Палачи действовали медленно, рассчитывая поколебать мужество партизанки.

— Говори! Спасешь себе жизнь, — неукосничали они ее.

Валентина Федорова молчала. Она молчала и тогда, когда петля легла ей на шею.

Так умерла эта героическая партизанка.

Наряду с крупными партизанскими отрядами действуют небольшие партизанские группы и даже партизаны-одиночки. Состав и вооружение партизанской части, силы противника, местная обстановка — все это определяет характер деятельности партизан.

Командующий 123-й германской пехотной дивизией генерал-майор Раух издал специальный приказ о борьбе с партизанским движением. Этот приказ, помеченный 16 августа 1941 года, был захвачен нашими войсками при разгроме одного из немецких полков на Северо-западном направлении. В своем приказе немецкий генерал перечисляет следующие известные ему типы партизанского движения:

«1. Оседлые партизаны — это, преимущественно, молодые коммунисты, которые днем ведут свою обычную работу в селах, а ночью выполняют особые задания партизан.

2. Партизанские батальоны, состоящие из 100—120 человек, в большинстве одеты в

штатское платье, без знаков различия. Они ведут борьбу с немецкими войсками, имеют постоянную связь с населением деревень, что дает им возможность легко подготавливать свои нападения.

3. Партизанские группы гражданских работников и осовавихимовцев. Состоят из 70—100 человек. Они носят синие блузы и фуражки военного образца. Руководят этими группами или бывшие начальники советских предприятий, или просто коммунисты».

Не будем спорить с немецким генералом относительно классификации разных форм партизанского движения. Его приказ примечателен с другой точки зрения: злобный враг вынужден признать наличие постоянной, непрерывной связи между партизанами и местным населением.

Тесная связь с населением — основа партизанского движения. Партизаны закупают население от обидчиков. Население снабжает партизан продовольствием, передает им сведения о противнике, помогает, чем может.

Солдат 3-й немецкой дивизии Гаушильда, взятый в плен партизанами, рассказал на допросе:

— Мы заехали в деревню Д., где был колхоз. У местных жителей мы стали спрашивать, где можно достать скот. К нам подошел бородастый крестьянин. Он объяснил, что весь скот находится в лесу, и изъявил согласие проводить нас в лес. Только мы подъехали к лесу, как на нас напали шесть человек. Они бросили гранату в машину. Старший ефрейтор был убит, унтер-офицер ранен в руку, одного солдата ранило в спину. Меня и двух других раненых взяли в плен.

Неизвестный крестьянин, бесстрашно поведший Гаушильда и его спутников под партизанские пули, — достойный потомок Ивана Сусанина, героя русского народа.

Народ идет на все, чтобы помочь своим мстителям.

Темпы осенние ночи. По во тьме советскому человеку светит путеводной звездой его любовь к родине.

ОТРЯД ВАЛЕНТИНА САВЧЕНКО

В одну из безлунных ночей четверо людей в зеленых немецких шинелях зашли в деревню Вороново, Белебелковского района. Они постучались в избу Юрия Ципиля. Об этом Ципиле по деревне молзли темные слухи. Бывший кулак и отъявленный бандит, он отбывал тюремное заключение в Старой Руссе,

когда город был занят немцами. Оккупанты выпустили Цицина из тюрьмы, чтобы освободить в ней место для честного советского человека. Вернувшись в свое село, Цицин много бродил по окрестным лесам, словно выслеживая какую-то дичь. Односельчане же любили Цицина, сторонились его.

К этому человеку и поступались четверо прищельцев. Один из них произнес несколько слов по-немецки.

— Господин офицер приказывает впустить нас в дом, — перевел второй.

Низко кланяясь, Цицин отворил дверь почтым гостям.

— Назови местных коммунистов, — предложил офицер через переводчика.

— Простите, господин офицер, — ответил Цицин. — Я лишь недавно вернулся в деревню и еще не успел заготовить списочек. Зато я донался, где скрываются партизаны, и могу указать вам дорогу.

— Веди!

Светало. Лебезя перед немцами, Цицин вел их лесной тропой.

— По этой дорожке, за мосточком, влево. Там партизанский лагерь, — сказал он и хотел повернуть назад.

— Веди дальше! — гласил сухой приказ.

Предатель нехотя направился к самому расположению партизанского лагеря. Четверо следовали по шлям.

— Стой! Кто идет? — послышался окрик часового.

— Свои! — ответили немцы.

Они сбросили зеленые шипели и остались в пиджаках штатского покроя. Нойманный с паличным, предатель даже не пытался отператься. Партизанская пуля прервала его презренную злзнь.

Об этом случае рассказал Валентин Борисович Савченко, командир партизанского отряда, разоблачившего и казнившего предателя Цицина.

Имя Савченко, смелого организатора партизанского движения, приобрело широкую известность в лесных и болотистых районах к югу от озера Шльменя.

За два месяца партизанский отряд Савченко уничтожил 42 автомашинны противника, из них 19 — с горючим, 8 — с боеприпасами, 15 — с продовольствием и другим грузом, и 4 легковых. В общей сложности отряд совершил 26 налетов на автоколонны противника. Партизаны Савченко уничтожили далее 14 мотоциклов и 24 велосипеда, взорвали 14 мостов, вырезали в 17 местах сотни метров полевой связи противника.

В ходе этих операций партизаны убили 244 немецких солдат и офицеров.

— Мы — люди щепетильные, — говорит тов. Савченко. — Мы ведем подсчет только тем убитым врагам, шгбель которых точно установлена. Если же считать тех убитых, тела которых подбирают их шутники, то цифра уничтоженных нами врагов, пожалуй, перевалит за 500. А вместе с ранеными мы, вероятно, вывели из строя больше тысячи неприятелей.

Партизанский отряд Савченко славится железной дисциплиной. Она была достигнута командирской требовательностью и полнокровной политической работой.

В отряде имеется артистический ансамбль, которым руководит Иван Алексеевич Развеев. До войны тов. Развеев был артистом Ленинградского театра Ленинского комсомола. В последний раз Развеев выступал на сцене в роли фельдмаршала Кутузова. Теперь 54-летний артист-патриот защищает с оружием в руках свою родину.

В окрестных деревнях Савченко и его партизаны пользуются высоким авторитетом и всемерной поддержкой. Колхозники налажи регулярное снабжение отряда продовольствием. Среди колхозного актива партизаны имеют таких верных помощников, как, например, председателя колхоза тов. М., по прозвищу «Тимофейч». Тов. М. показывает пример того, как должен вести себя колхозный руководитель во вражеском тылу. Когда в деревне нет немцев, он крепко держит в руках свой колхоз и руководит колхозниками, а при вступлении в деревню немецких солдат вскидывает винтовку на плечо и уходит в лес, к партизанам.

В своем активе отряд Валентина Савченко имеет также значительные боевые операции, как, например, захват деревни Паревичи, нападение взвода Чукина на крупную немецкую автоколонну, бой за деревню Горышка, переправу через озеро Стерж.

Вот как описывает славный партизанский командир одну из этих операций — захват деревни Паревичи.

Однажды разведка донесла, что в деревне П., километрах в семи от леса, где находится наш партизанский отряд, расположился на почевку карательный немецкий отряд в 320 человек с четырьмя минометами и большим количеством пулеметов. Подсчитав силы и приняв все возможности, командир отряда решил атаковать немцев. Предварительно удалось в веду прервать им все пути отхода. Дождавшийся, пасмурный день обещал.

что ночь будет темная, настоящая партизанская.

По расчетам командира отряда, немцы могли отойти вероятнее всего на восток — на деревню Ш. Здесь он расположил засаду в 25 человек с одним пулеметом под командой партизана А. Кроме того, через посыльного обратился к соседнему партизанскому отряду с просьбой оказать поддержку этой засаде. На все остальные дороги, подходящие к деревне, также были высланы группы партизан различной численности.

Переправу через реку (западнее деревни) должна была удерживать группа в 60 человек, возглавляемая партизаном Б. Ее задача — отвлекать на себя внимание врага. Дело в том, что между рекой и деревней находилось болото. Поэтому немцам было невыгодно двигаться к реке, но ожидать нападения они могли именно с этой стороны. Главный удар было решено нанести с южной стороны группой партизан в составе 80 человек.

Налет намечалось провести так, чтобы сразу же поднять панику среди немцев. Для этого выделили пятерку партизан во главе с тов. Г., выделили им бутылки с зажигательной жидкостью и поставили задачу — пробраться в деревню, запятому немцами, и поджечь там несколько домов. Жителей в деревне не было, следовательно, повредить им отряд не мог. Начало действий назначили на час ночи. Таким образом все группы располагали достаточным временем для сосредоточения в указанных им местах.

В 11 часов ночи стало известно, что соседний партизанский отряд оказать поддержку не сможет. Удар немцев, прорывающихся из окружения, должна будет принять на себя группа, выделенная в засаду. Перегруппировывать силы было уже поздно.

Пятерка партизан поползла к деревне. Через два часа деревня занялась. Оттуда слышались крики немцев, беспорядочная стрельба. Как потом оказалось, пятерке удалось заблочить немецкого джукриного пулеметчика и беспрепятственно пробраться в деревню. Остальные немские часовые дремали под навесами крыш. Отважные партизаны стали поджигать избы, но начался дождь. Пришлось в темноте искать сухую солому и подкладывать под стены. Все это было сделано быстро и без препятствий. Только уже после того, как вспыхнула первая изба, немцы подняли тревогу и открыли беспорядочную стрельбу.

В час ночи все группы, кроме той, которая была в засаде, открыли по деревне сильный огонь. Немцы ответили стрельбой из ми-

нометов. Особенно энергично обрушились они на группу у переправы через реку, очевидно, ожидая отсюда нападения. В зареве пожара партизаны отлично видели немцев. Некоторые после двухчасового боя начали отходить к деревне Ш., как и предполагалось.

Командира отряда тревожила судьба группы партизана Г., находившейся в деревне П. По оказалось, что она отлично укрылась, — немцы и догадаться не могли, что у них под носом партизаны.

Прошло еще минут 20—30, и группа партизан, находившаяся в засаде, обрушилась своим огнем на отходившего врага. Будь эта группа сильнее раза в два, тогда немногим немцам удалось бы дожить до рассвета.

Запав деревню Ш., партизаны насчитали 86 убитых немцев, в том числе несколько унтер-офицеров, подобрали 10 тысяч патронов, 94 винтовки, 4 автомата, 11 пистолетов. Партизаны, находившиеся в засаде, заметили, что среди отходивших немцев было очень много раненых. Потери партизан — один убитый и два раненых.

Подобрав трофей, партизанский отряд ушел в лес и немедленно переменил место своего расположения.

Спустя 2—3 дня после этого налета немцы выбросили в деревню П. новый отряд в 500 человек с танкетками, бронемашинами и противотанковыми орудиями. Отряд обкружил лес с намерением «прочесать» его, но, обстреляв опушки, почему-то отказался от своего намерения и ушел.

ОТРЯД СУХОМЛИНОВА

Сорок пять рабочих и служащих из города Холма собрались в лесу вокруг самодельного знамени. На одной стороне полотнища были изображены серп и молот, на другой стороне можно было прочесть слова: «1-й партизанский отряд Холмского района». Глядя на свое знамя, люди повторяли вслеп за комиссаром слова партизанской присяги.

Так начал свою историю отряд Сухомлинова.

За месяц этот героический отряд уничтожил 39 грузовых машин и 3 легковые машины, взорвал 2 моста, разобрал настил, проложенный немцами через заболоченное место, свалил 6 телеграфных столбов, вырезал до 600 метров полевой связи, совершил налет на штабную группу противника. Партизаны Сухомлинова перебили 116 немецких солдат и 8 офицеров.

В отряде Сухомлинова имеются такие храбрые партизаны, как Павел, Егор и Виктор,

Александр, Елена, Петр. В борьбе с немецкими фашистами они не знают отдыха. Только вернувшись из одной операции, они проснутся в другую.

— Чего даром хлеб есть! — это любимая поговорка комсомольца Егора.

Егор лежал в засаде возле дороги, следя за приближавшей повозкой с шестью немецкими солдатами и сжимая в руках ручной пулемет. По обочине дороги ехал верхом немецкий офицер; деревья скрывали его от Егора, и тот заметил верхового лишь тогда, когда лошадь едва не наступила на него. Егор вскочил на ноги. Офицер выстрелил из револьвера четыре раза, но промахнулся. Молодой партизан сразил его гранатой, после чего расстрелял из ручного пулемета трех солдат, обратив остальных в бегство.

Как-то раз, собравшись в кружок, партизаны сухомлиновского отряда семи сочиняют письмо немецким оккупантам. Их письмо во многом напоминает грамоту, которую некогда отправили турецкому султану вольные запорожские казаки, — во всяком случае, оно не уступает ей по части крепких выражений.

«Послушайте вы, псы орды фашистской,
Вы, изверги, убийцы, палачи,
Вы, кровожадные душители свободы,
Вы, вырожда фашистской сарапчи...»

Так начинается это письмо. Как видите, оно отличается от письма запорожцев тем, что составлено в стихах. Этим стихам приказ нельзя отказать в одном: они написаны от души.

«Мы будем бить вас на дорогах,
Мы будем бить вас по кустам,
Мы будем бить вас на болотах,
На покосах, по лесам...
Если не пуля красного бойца тебя сразит,
Так меткая грапата партизана
За слезы наших матерей, за все,
За все тебе, проклятый враг, отметит!»

Партизанское письмо немецким фашистам было переписано от руки печатными буквами в 50 экземплярах. Ночью разведчики расклеивали его на улицах Холма и соседних сел. Бить может, несколько хромает стихотворная форма письма, но читатель наверняка простит погрешности в размере и в рифмах автору, когда узнает, что им является, в основном, сам командир отряда — товарищ Сухомлинов.

Комиссар сухомлиновского отряда, товарищ Иванов Александр Касьянович, был подлинным отцом партизан. Бывший участник гражданской войны, он работал до войны дирек-

тором машинно-тракторной станции. Комиссар вдохновлял бойцов на подвиги, ободрял их в тяжелые моменты. Он не разлучался с книгой, на обложке которой было отгиснено славанное имя: «Чапаев»; в свободное время комиссар читал бойцам отрывки из знаменитого романа Фурманова. Иногда Иванов пел: «Революция буря, дождь шумел...» Партизанский комиссар Иванов неизменно участвовал во всех важнейших операциях отряда.

Выдающийся фашистскими лазутчиками, отряд Сухомлинова был окружен немецкими войсками. Александр Иванов погиб, как герой, прикрывая с четырьмя партизанами отход товарищей.

Отряд вырвался из вражеского кольца.

ПЯТЬДЕСЯТ ДВА ДНЯ

Их было одиннадцать, вернулось семеро, но сейчас перед нами — всего пять человек.

Только что пришли. Увлеченно, прерывая друг друга, рассказывают, что делали в немецких тылах, смеются, зевают и безостановочно курят. Спали хорошие сутки, но всласть еще не выспались. И табаку не выдали недели три. И вообще вчерашний и сегодняшний день им — в диковицу.

— Ходим, понимаете, и ничего не трогаем. Машинны перед нами — а мы ничего. А я как провод увижу — сама рука к нему тянется, — хохочет краснощекий, симпатичный Василий Васильевич Плясунов, богатырь двадцати трех лет.

Четверка поддерживает его слова хриплым басовитым смешком.

— Надо скорей назад, чтоб не отвыкнуть! — говорит Ужакин. Он был «за немца», поскольку знает две-три фразы и десяток слов.

Если бы представить себе эту бесстрашную пятерку, не зная их лиц, то никогда бы не изобразить Семена Старичкова вялым и апатичным, на вид маленьким и слабым, каков он есть на самом деле, а Ужакина — все время махающим руками на товарищей за путаницу имен и географии — он любит поправлять резко, — а Николая Большова и Алексея Калугина — людьми медленными, осторожными, тяжелыми на подъем, громко и медленно смеющимися. И только один Плясунов выглядит таким, каким обычно представляешь себе разведчика. Но все эти разные, друг на друга непохожие люди действовали с исключительной отвагой. И когда рассказывают о какой-нибудь операции, не всегда могут вспомнить, кто из них что именно сделал.

— Все делалось сообща, — машет рукой Ужакин. — Спелись, что хороший хор.

Они были в разведке, забрались далеко и оказались отрезанными от своих. Решили: все равно как сражаться, что в окружении, что не в окружении.

И двинулись дальше в немецкие тылы.

На нашем Северо-западе линия фронта не всегда непрерывна. Для самостоятельных действий нет более выгодной обстановки.

Решили они остаться, как были, в красноармейской форме, и действовать непрерывно двигаясь зигзагами, чтобы запутать свои следы.

Вот сидят эти простые русские люди, рядовые бойцы, пятьдесят два дня сражавшиеся вдали от своих, ничего не бравшие в рот, кроме травы «кислочки», последние одиннадцать дней, не курившие почти месяц. И я, глядя на них, не могу надвинуться spite, отваге и неисчерпаемой предприимчивости русского человека!

Расспрашиваю их, какую тактику действий они выработали. Ужакин машет руками, перебивает:

— Одно важно — не размениваться на мелочи.

— О своем фронте надо все время думать, — добавляет Старичков.

— Угадывать надо не то, что там — у них, а что здесь — у нас. А приметы для этого есть, — уточняет Большой.

На третий день своих действий они в виде починки взорвали немецкий грузовик, забрыз, впрочем, установить, с каким друзом он шел. Днем позже попали — но уже обдуманно, расчетливо — на немецкий отряд в 20 человек и уничтожили из него 15. Забранные были трофеи — автоматы, винтовки. Отдать их колхозникам или вооружить ими партизан?

И, не долго раздумывая, отряд занялся политической работой в деревнях, вел агитацию за вступление в ряды мстителей, требовал расправы с предателями и сам казнил попавшихся под руку, устанавливал связь с партизанами и активизировал их, если замечал вялость в их действиях.

Картины страшной жизни под немецким ярмом, рассказы о зверствах и издевательствах, которым нет конца, делали еще более взволнованными и радостными их сообщения о делах патриотов. В одном месте это был старик-пенсонер, в другом — учительница, в третьем — партийный работник. Живут и борются, и не унывают, не падают духом, не складывают оружия эти вешние русские люди.

В своих листовках, обращенных к населению захваченных районов, немцы клятвенно

заверяют, что ими взят Ленинград, что горит оставленная жителями Москва, что Красная Армия отступила за Волгу.

Но там — на русской земле, прижатой пометками сапогом, — там ничему не верят, кроме своей победы. Окруженные врагами, преследуемые предателями, избегаемые робкими и запуганными, они говорят о победе.

Я представляю эту беседу маленькой группы действующих в тылу врага красноармейцев с живущим в тылу врага патриотом, и то, что она была, и то, что была не одна, наполняет сердце гордостью за Россию.

А у красноармейцев идет уже девятый день страстаний, и к концу его — бой с отдыхающей на дороге ротой. Их было еще одиннадцать. Назначили себе пункт сбора на утро, в случае, если ночью пришлось бы разойтись в разные стороны. Немецких солдат заставили разбежаться и 2 часа стрелять в воздух из всех кустов.

Одиннадцатый день — исекают запасы продовольствия. На тринадцатый — колхозный пастух, сдерживший взятые немцами на учет стадо, дарит им овцу:

— Станут спрашивать, скажу — ихние немцы взяли.

Теперь, когда они доводилось случайно, подорожками местных колхозников, опасность быть пойманными во много раз увеличилась — надо было часто заходить в деревни.

И группа питалась брусничкой. Ее действия стали скрытнее. В течение многих дней кроме порчи проводов и рубки телеграфных столбов они ничем не занимались.

На двадцать второй день пристрелили трех офицеров, спавших в малометражке, и разбили гранатами две машины с охраной. На двадцать третий — подбил грузовик.

На двадцать пятый — совершили налет на немецкий разъезд в 30 человек и убили пятерых, захватив оружие.

В деревне Т. решили передать трофеи лучшим колхозникам. Не успели пообедать, колхозники говорят — скрывайтесь, на вас донесли. отряд эсэсовцев на велосипедах уже окружает деревню.

Группа, разделившись на-двое, ушла в лес. Но найти друг друга уже не могли.

Шестеро бойцов остались без командира, карт и компаса и наугад двинулись к линии фронта.

На тринадцатый — убили 4-х мотоциклистов, разбили машины, роздали оружие колхозникам.

На тридцать второй — узнали, что на скотном дворе колхоза немцы устроили склад горючего и стерегут его четверо часовых. Собрали в поле колхозников, посоветовались,

что предпринять, и засветло послали двоих в разведку, переодев их в гражданскую одежду.

До темноты лежали на стогах сена, запоминали местность. Напали глухою ночью. Двоих немцев удалось снять кинжалами, по двое других, запершись на сызде двора, стали отстреливаться. Пугаться с ними не было времени, но пришлось из-за их стрельбы поджечь склад гранатами, с десяти шагов. Сами едва уцелели.

Тридцать шестой — 5 немцев, 2 грузовика.

Сороковой — один мотоцикл. С этого дня до выхода к своим 11 дней ничего не ели, кроме травы.

До срока восьмого «занимались связью».

Чувствовалась близость фронта. Немецких войск стало больше, движение на дорогах оживленнее, и уставшим людям трудно было рискнуть на большую, шумную операцию. Но телеграфные столбы валялись девятками. Проводов сматывали по километру в день.

Наконец, услышали оружейный грохот: шло близкое сражение.

Шел пятьдесят первый день — и, уничтожив 2 грузовика и 1 мотоцикл, они стали ползком пробираться через линию фронта.

Лес отходил в сторону, и до горизонта шла открытая равнина. Стоял день. Но они не хотели ожидать ночи и поползли.

Благополучно добрались до мелкого ельника и увидели четырех дозорных мотоциклистов.

Это были последние немцы на их пути.

Не оставлять же в живых!

Махнув рукою на опасность, пристрелили их и бегом, ползком, крадучись, через час добрались до своих и упали.

— Если пустят нас в тыл, мы теперь такие опытные, что больших дел натворим, — говорит Плясунов, пощипывая теплые ушки, и Улакин машет руками:

— И сравнить будет нельзя! Денька два отдохнем, отбуримся — и готовы!

СМЕРТЬ НИКОЛАЯ БОЛЬШАКОВА

Партизанский отряд Савченко пятьдесят дней подряд, без отдыха, дрался в немецких тылах. Когда действовать всем отрядом бывало неудобно, «на охоту» выходили небольшими группами или даже поодиночке. И ни один день из пятидесяти не пропал даром.

Однажды отправилось четверо — Николай Большаков, Василий Глухов, Иван Гринько и Василий Костенко, все ленинградцы. Ночью прошли от стоянки отряда километров 30 — ничего! Устали. Хотелось спать.

— Почин сделаем, тогда отдохнем, — сказал Костенко.

И залегли у дороги.

— Место рыбное, — посмеялся Глухов. — Улов будет обязательно.

Только перебросились шопотком двумя — тремя фразами, левофланговый Гринько сообщает:

— Конная разведка!

Оглядываясь мельком по краям дороги, первым медленно ехал офицер. За ним пятеро.

Граната взрезалась в третьего. Кони взвились, всадники попадали наземь.

Трое немцев убиты были сразу, но офицер с двумя уцелевшими пытался отстреливаться. Костенко бросил вторую гранату и сразу закончил дело.

Быстро ушли в лес, выбрали место постше, легли.

— Имеем право теперь и поспать, — говорили, посмеиваясь.

Но не пришлось. Дневальный Большаков скоро разбудил группу.

— Слышен крик по-немецки! С дороги!

И тотчас же раздалась частая нервная стрельба, будто там кого-то преследовали или от кого-то отстреливались. Даже жутко стало.

— Да это ж немцы! Лес заклинают, чтоб он их не прогнал, — сообразил Глухов.

И правда, немцы, поспревая, быстро затихли, и потом всю ночь было спокойно.

А утром, едва тронулись по просеку, вверху вдоль лесной опушки, сзади показался отряд велосипедистов человек в 150.

— Ложись! — Костенко полз с группой в неубранную рожь, но навстречу двинулась вторая партия велосипедистов человек в 50, и прятаться было поздно. Велосипедисты спешили и с оппеем автоматов прижали четырех партизан к земле.

Под пулями отползли те в ложбинку, успев шикнуть друг другу:

— В плен не сдаваться. Пойдем на пробой.

— Точно.

Минут десять шла борьба четырех партизан против двухсот немцев.

Первым погиб Глухов.

Старый член партии, он дрался с железным мужеством и был убит в ту самую секунду, как стрелял. Казалось, жизнь его вырвалась вместе с пулей и повалила немца. И сейчас же следом крепко ранило Большакова. Костенко и Гринько подхватили его по рукам и ползком потащили в сторону, но уходить было некуда, немцы замкнули огневой круг и осторожно сужали его, как охотники. Что могли сделать двое, обремененные раненым товарищем, против двухсот?

Круг сужался. Огонь немцев становился прищельнее. Костенко и Гринько, оставив Большакова, бросились вдвоем на пробой.

Чудеса делает иной раз храбрость: при виде двух партизан, идущих в штывки, немцы подались назад. Партизаны вернулись за Большаковым и понесли его на руках. Но немцы снова нажали, и вторично оставили партизаны товарища, чтобы повторить атаку.

— Не бойтесь вы за меня, уходите! — кричал Большаков. — Я выдержу!

Но в третий раз пошли на пробой Гринько и Костенко. Силы их иссякали, и в рукопашной немцы отбили у них Большакова.

Чудом отбившись от немцев, двое скрывались в лесу.

Ночью увидели они зарево пожара над той деревней, куда поволокли Большакова, и долго недоумевали, что бы оно могло означать.

— Может, мстят за нас колхозникам?

— Или, может, колхозники, наоборот, подожгли избу с немцами? — спрашивали они друг друга.

Утром они осторожно вышли из леса, пробрались в село и тут узнали все, что произошло за ночь.

Нет, не изба горела, горел умирающий Большаков.

Немцы приволокли его в деревню еще живым и, окровавленного, теряющего сознание, стали допрашивать, согласно из домов колхозников, чтобы они видели, как сию вот минуту русский партизан будет бесстыдно выдавать своих.

Но Большаков молчал.

Тогда какой-то ретивый немецкий мерзавец стал ковырять штывком рану Большакова. Колхозники ахнули, слышался плач. Партизан простонал, но не ответил ни на один вопрос немца.

И тогда, ломая ему зубы и рана лицо, немцы раскрыли ему рот.

— Говори, русска свинья! Говори, сволочь! — кричали немцы, не видя средств победить эту железную волю, которая еще держалась в израненном и до конца измученном теле.

Большаков выплюнул кровь из рта, но не сказал ни слова.

Он приоткрыл глаза, оглядел язвдевающих над ним палачей и, вздохнув, снова закрыл их, приготовившись вытерпеть все, что будут творить с ним.

Он был еще жив и в полном сознании.

Не безответственное тело пытали немцы, а живую и крепкую душу большевика.

— Говори, рус!

И когда стало им ясно, что ни звука не произнесет этот истекающий кровью бесстрашный русский человек, они решили казнить его огнем.

— Ейе момент! Сволочь! Будешь заговаривать как мой голуфчик!

С криками и свистом, глумясь над героем, поволокли они Большакова к ближайшему сараю — колхозники сняли штывки, женщины закрыли руками лица, — привязали его к двери и подожгли строение.

Он молчал.

Ночь была дождливая, дерево мокро, сарай горел всю ночь.

ПАРТИЗАНЫ-ОДИНОЧКИ

В лесах Северо-запада встречаются и партизаны-одиночки, те примыкающие к отрядам. Их число уже настолько велико, что можно говорить о партизанах-одиночках, как о массовом явлении.

Об одном из них, тов. П., по прозвищу «Кузьмич», ходит немало толков в районе между Исковом и Карамышевым.

Рассказывают, что Кузьмич начал с казен измешника, оказавшего кое-какие услуги немцам. После этого оставаться дома ему стало опасно.

Он подстерег немецкий грузовик с продовольствием, шедший без охраны, убил шофера и увел машину в лес. Там пробыл он с неделю. Потом появился верстах в десяти, на стыке двух оживленных дорог, снял немецкого регулировщика и двух мотоциклистов. Не удовлетворившись этим, он остановил восемь машин, перебив шоферов.

С полмесяца о Кузьмиче не было ни слуху, ни духу. Думали, что погиб.

Кузьмич объявился на этот раз под самым Исковом, пробыл некоторое время в партизанском отряде, а затем покинул его. И одиночкой пошел в сторону Карамышева.

Несмотря на немецкие облавы, он не меняя района борьбы в течение всего августа и первой половины сентября. Только стал осторожнее. Перестал появляться днем в деревнях и селах, да и ночами заходил лишь к хорошо известным людям.

В деревнях Кузьмич не забирает продовольствия. У него правило — жить на всем немецком.

— Питаюсь профоями, сражаюсь только трофеями, — говорит он. — Родной кусок хлеба приму, как победил.

Вооружен Кузьмич немецким автоматом, немецкими гранатами. Для серьезных дел имеется у него в запасе и друиной пулемет.

— Арсенал у меня — за три дня не объедешь. Я на себе боеприпасы не таскаю. Их для меня немец посылт.

Планами своими он ни с кем не делится. В деревнях интересуется только сведениями о расположении немцев да иногда запасается пустыми бутылками.

Кузьмичу приписывают много метких слов и поговорок, мудрых предвидений.

В образе одинокого бойца соединяется правда с эпическим вымыслом. И все самое героическое приписывается ему.

Сейчас невозможно установить, что именно он совершил. Но Кузьмич — реальная личность. Можно описать его наружность по рассказам видевших его.

Но пусть он живет пока без приюта.

Время его придет.

М Е С Т Ь

Горько видеть, как разоряет немец русскую землю. Дым сожженных деревень щиплет за сердце. Ненависть, молчаливая ненависть без слов закипает в каждом, кто видел пожары деревень и слышал ночью на лесных дорогах плач перепуганных детей, стоны женщин.

Скрипят колеса подвод. Населенные уходят. Дыма махоркой, вполголоса переговариваются мужчины.

Вспыхнет цыгарка, и видно, как суровы и сосредоточены лица. И только. Сейчас не время длинных разговоров. Великий счет ведет душа каждого. Счет мести. Настанет час, когда эти люди извлекут из глубин памяти все обиды, все боли, всю злобу и начнут вершить страшный суд над сволочью, опоганившей нашу землю.

Но еще горше тем, кто остался на родном пепелище, кто не мог уйти вместе со своими. Если здоровье или возраст не позволяют человеку идти к партизанам и он оказывается свидетелем того, как глумится немец над вольною русскою жизнью, как плюет в самую душу нам гад, не знающий чести, — тогда еще большей душой.

Председатель одного из колхозов в Волотовском районе Ленинградской области Василий Егорович Егоров оказался именно в таком положении. Был он болен и не успел укрыться. А утром немцы были уже в селе. К нему в дом они заглянули раньше всего, но, увидев, что перед ними больной, да еще, чего доброго, заразный, ушли и больше не возвращались.

Егоров встал с кровати, прильнул к окну. В немецкий штаб прошли два выпущенных из тюрьмы уголовника и один какой-то раскулаченный мироед. И в тот же день были арестованы все не успевшие уйти активисты, комсомольцы, члены партии.

Егоров стал ждать своей очереди.

Он лежал один, и мыслям о русской судьбе ничто не мешало. Вся широкая русская жизнь, которую прожил он, как туман, до

пятидесяти семи лет, встала перед его глазами чередой неповторимых картин, радостных и ярких.

В обычное время многое не удавалось вспомнить Егорову из той громадной, вдохновенной жизни, которую он сворачивал в пружину своими жилистыми руками.

Но вот пружина раскрутилась, и все пережитое предстало в ясном, четком виде. Как быстро, плотно и горячо жил советский человек! С какой веселой отвагой строил он свое молодое государство!

С волнением разглядывал и вспоминал Егоров большую и вдохновенную жизнь свою. Так, в одиночестве пролежал он два дня. Утром на третий день сельсоветский сторож, инвалид Прохоров, рассказал ему, что уголовники и бывший кулак выдали немцам сельских активистов. Предатели, не стеснясь, бахвалились на селе, что выдача активистов — дело их рук, что теперь, мол, пришла ихняя власть.

Первая немецкая часть ушла, и в село ввалилась новая. Сызнова начался грабёж, опять стали насиловать женщин, охотиться за мурами и опять потребовали выдать всех активистов. Егорова арестовали первым и, связав по рукам и ногам колючей проволокой, бросили в пожарный сарай.

Егоров знал, что он, как и все честные люди села, выдан несколькими подлецами, изменниками, которым все равно, как жить и чем жить, у которых нет любви к родившей их земле. И злость к этим мерзавцам вспыхнула в нем, временами заглушая боль. Простить им предательство он не мог.

Когда тело Егорова посинело и язвы стали излавать трупный запах, офицер-фашист заглянул в сарай и обещал Егорову жизнь, если он выдаст всех активистов.

— Ты хочешь жить? — спросил офицер.

— Хочу, — вздохнув, ответил Егоров.

— Ты будешь жить. Я вызову сейчас врача. Тебя положат в больницу и быстро вылечат. Только назови имена.

Егоров поглядел в оловянные, нечеловечьи глаза офицера и согласился сразу, без раздумий и колебаний.

— Пишите, — сказал он.

И стал обстоятельно перечислять имена всех мерзавцев, которых видел он входящими к первому немецкому коменданту.

Он старался произносить имена и фамилии наиболее тщательно, чтобы немец, не дай бог, чего не напутал.

Этой же ночью все, кого он назвал, были взяты. Их втолкнули в сарай к Егорову. Глаза его уже видели плохо.

— Трифон? — спросил он.

— Я.

— Максим?

— Я.

И перебрал всех до одного. Все были тут — бывший кулак, уголовники.

Спустя час трое предателей были расстреляны вместе с героем. В селе недоумевали, за что гибнет Василий Егоров вместе с преступниками и мэрзавцами, и даже посчитали его одним из них.

Но скоро ход Егорова раскрылся, и слух о последнем подвиге его жизни прошел по лесам от Холма до Новгорода.

Закончится война, в колхозе Егорову поставят памятник. Надпись будет проста: герою-мстителю от благодарной Родины.

УСТАМИ ВРАГА

Борьба партизан вселяет ужас в черные души фашистских захватчиков. Немецко-фашистское зверье видит себя в оружии: на фронте оно испытывает все усиливающиеся удары Красной Армии, действия партизан подтачивают его тыл. Всенародная война грозит развалить немецкую военную машину.

Страх перед партизанами сквозит в письмах, найденных при дубитых немецких солдатах. Он сказывается в показаниях военнопленных. Сквозит в немецких штабных документах.

Приказ командующего 123-й германской пехотной дивизией генерал-майора Рауха угрожает партизанам расстрелами и виселицами. В приказе говорится:

«1. Если кто-нибудь из гражданского населения будет задержан с оружием или если кто из граждан будет стрелять где бы то ни было, они будут рассматриваться как партизаны и после опроса немедленно расстреляны.

2. Лица, оказывающие помощь партизанам, будут наказываться так же, как и партизаны.

3. Партизанские гнезда будут предаваться уничтожению.

4. Если необходимо прибегать к строжайшим мерам наказания, предлагаю вывешивать казненных партизан в продолжение некоторого времени на площадях для общего обозрения. Об этом объявить населению при помощи соответствующих табличек на виселицах. Таблички составлять на русском языке. Текст приблизительно следующий:

«Осужден потому, что посыл оружие, будучи представителем гражданского населения».

Также угрозы фашистских палачей бесцельны в борьбе с партизанским движением. Убедившись в этом, немцы задумали прибегнуть к подкупу. Они оценили голову каждого партизана в 3 000 рублей, или 300 марок. Фашистская такса за голову партизанского

командира — 5 000 рублей, или 500 марок.

Захватчики прибегают и к более утонченному подкупу.

Вот приказ, написанный полутрамотной рукой и опубликованный к всеобщему сведению в оккупированных районах Северо-запада:

«1. Кто партизанам и красноармейцам дает убежище, снабжает их съестными припасами или каким-либо другим образом помогает, будет наказан смертной казнью.

2. О появлении каждого партизана или красноармейца сейчас же следует доложить ближайшей германской военной части или местной комендатуре с точным указанием местопребывания таковых. Все оружие следует отдать германским властям.

Села и деревни, которые не сообщают о местопребывании партизан и красноармейцев и не сдадут оружия, должны считаться с тем, что они будут наказаны строгими мерами.

3. Во время ночной темноты никому нельзя выходить из своего жилища. Кто будет встречен вне своего жилища, наказывается (?) на расстрел.

4. Села и деревни или лица, которые помогают германской армии в борьбе против коварных партизан и красноармейцев, будут награждены особой добавкой хлеба, пользоваться особой защитой и другим благоприятствованием.

5. Заблудившиеся красноармейцы должны явиться в ближайшую германскую часть. Они оттуда будут переведены в лагерь для военнопленных без всякого наказания».

Но подачки, как и угрозы, не имеют власти над советским человеком. И командование 16-й немецкой армии, действующей на северо-западном направлении, с бесальчностью предписывает войскам в очередном приказе:

«Тыловые части и части охраны тыла должны проявлять большую бдительность, чем это требовалось в странах Прибалтики, как на марше, так и при расположении на месте. Надлежит оружие держать заряженным и проверенным, карабины и пистолеты иметь при себе. Охранение всех пунктов расположения частей должно быть постоянно обеспечено пулеметами.

Командиры подразделений должны следить, чтобы отдельные солдаты не отходили от своей части дальше, чем на расстояние связи с ними. Для выполнения поручений назначать не менее двух человек. Связным мотоциклистам на мотоциклах без коляски иметь при себе карабин или пистолет-автомат».

Тщетные предосторожности!

Партизанские пути продолжают косить ненавидимых врагов. Об этом рассказывают на допросе военнопленные немцы.

Немецкий солдат Артур Гоппе, взятый в плен на одном из участков северо-западного фронта, говорит:

— Большую помощь Красной Армии оказывает русское гражданское население в нашем тылу. Население пренебрегает опасностью расстрела, организуется в небольшие вооруженные группы, которые нападают на нас в таких местах, где меньше всего ожидаем.

Военнопленный унтер-офицер Рудольф Мессершмидт:

— Наше правительство создало специальные группы для борьбы против партизанского движения, но, тем не менее, среди солдат существует мнение, что это движение будет усиливаться тем больше, чем дальше мы идем.

Солдат Каппель:

— На реке Великой два полка нашей дивизии были окружены партизанами, которые, уничтожая немецкие обозы с продовольствием, заставили их четыре дня сидеть без пищи. На борьбу с партизанами была брошена вся наша дивизия... До сих пор партизаны сильно тревожат германскую армию. Особенно сильные удары партизаны наносят по германским обозам с продовольствием и боеприпасами, что в очень значительной степени парализует снабжение армии.

Унтер-офицер Гейнц Гладштай:

— Наш полк потерял 60 человек от партизан... Снабжение стало хуже. Стало меньше хлеба. Рассчитывали подкормиться в России, но ошиблись. На месте достать ничего нельзя. Доставки нет — обозы пострадали от партизан. Германская армия не знала раньше о партизанах, а в России о них узнала. Партизаны очень опасны, так как они стреляют со всех сторон.

На одном из участков северо-западного фронта был захвачен в подожженной бронемашине дневник немецкого ефрейтора Макса Маровец. Сам ефрейтор бежал, забыв в попытках дневник, с которым не расставался с самого начала войны. В этом дневнике мы находим следующие записи:

«Партизаны окружили нас и хотели атаковать. Едва простояли полчаса, как на нас снова напали со всех сторон. Думаю, что конец пришел. Выжидал из пушки все, что мог. Это была тяжелая работа. Шульце и Дитрих ранены.

...Партизаны сильно допекают. У СС несколько убитых и раненых».

Немецкие солдаты и офицеры слезно жалуются на партизан в своих письмах близким.

Солдат Вернер Кауфман пишет жене: «Конечно, для наших войск опасно в этих огромных лесах... Русские всегда найдут место, где скрываться».

Унтер-офицер Альберт Шуберт жалуется невесте: «Эта война является настоящей войной нервов. Ибо здесь мы имеем дело с партизанами. Красные так натравили на нас народ, что он способен идти на все. Поэтому пистолет нельзя выпускать из рук ни на минуту».

Да, партизаны распяты нервы немецких солдат и офицеров!

Паническая партизанобязань передается и родственникам фашистских войск в германском тылу.

Жена ефрейтора Герберта Гизау сетует в письме к мужу: «Нехорошо, что партизаны так активны. При всей вашей бдительности они могут убить вас из-за угла».

Мать ефрейтора Гельмута Вирта наставляет сына: «Не относись к этому походу легкомысленно, так как в России много стрелков из-за кустов. От них вы не застрахованы».

Сама жизнь отучает фашистских любителей легкой добычи от легкомысленного отношения к войне с Советским Союзом.

Из уст злобного и трусливого врага мы слышим признание растущей мощи партизанского движения советского народа.

ДУБИНА НАРОДНОЙ ВОЙНЫ

В страхе перед размахом партизанского движения немецкие фашисты завопили о том, что мы воюем «не по правилам». Полные и трусливые убийцы детей и женщин недовольны тем, что советский народ, великий и страшный в своем гневе, платит кровью за кровь и смертью за смерть. Им это не по душе. Что ж, тем хуже для гитлеровских бандитов.

Надо напомнить им слова Льва Толстого об отечественной войне русского народа в 1812 году: «Дубина народной войны поднялась со всею своею грозною и величественною силой. И, не спрашивая ничьих вкусов и правил... не разбирая ничего, поднималась, оглушалась и гвоздила французов до тех пор, пока не погибло все наше шествие».

Дубина народной войны пришла в действие и в наши дни.

Партизанское движение на северо-западе ширится с каждой неделей войны. Все новые сотни и тысячи советских патриотов уходят в леса, вливаются в партизанские отряды.

С любовью и скорбью повторяют в парде имена партизан Александра Иванова, Вален-

тины Федоровой, Николая Большакова, героически отдавших жизнь за родину. Их слава зовет к новым боям и подвигам.

Партизанские отряды действуют все более уверенно и умело. На опыте своих операций оттачивают они самобытную тактику борьбы. В боевых делах выдвигаются талантливые организаторы и руководители партизанского движения.

Все больший ущерб причиняют партизаны войскам оккупантов. В тылу у немцев начинают складываться невыносимые для них условия. То тут, то там взлетают на воздух склады с боеприпасами. Красный петух появляется на крышах домов, где располагаются на ночлег немецкие солдаты и офицеры. Из

придорожных кустов летят в проезжающие автоколонны гранаты, бутылки с горючим.

Немцы нервничают. Партизаны мерещатся им за каждым деревом, каждым кустом.

В темные осенние ночи в расположении немецких войск часто возникает беспорядочная стрельба. Это дают волю натянутым нервам немецким часовым.

С трепетом всматриваются немецкие фашисты в непроходимые для них лесные чащи Северо-запада, объятые грозным пожаром народной, партизанской войны.

Дубина народной войны будет подниматься, опускаться и твоздить немецко-фашистских захватчиков до тех пор, пока не раздавит их.

Единый фронт славянских народов

I

Фашистские стервятники, злодейски напад на нашу родину, привели в исполнение свой преступный замысел, который был давно взлелеян Гитлером и его бандитской шайкой.

Фашистские банды давно готовились к нападению на Советский Союз и на все лады твердили о необходимости возобновить продвижение германцев на восток, прекратившееся в XIII веке, и продолжить «великое национальное дело», как выразился один из фашистских ветеранов¹. Фашистский «историк» забыл, однако, отметить, что прекращение движения германцев на славянский восток было результатом неоднократного разгрома славянскими народами рыцарских бандитских шаек, известных под именем Тевтонского и Ливонского орденов. Русским и полякам вместе с литовцами пришлось принять на себя удары «псевд-рыцарей», по выражению Маркса. Их доблестью и мужеством «непобедимые» бандиты в борьбе с плохо вооруженными народами Прибалтики были разбиты и отброшены назад.

Велики заслуги перед славянством русского народа во главе с князем Александром Невским, нанесшим сокрушительный удар рыцарям Ливонского ордена на льду Чудского озера в начале апреля 1242 года. Попытка рыцарей-бандитов уничтожить «славянский народ» кончилась крахом. Неудачна была и вторая попытка рыцарей Ливонского ордена захватить русские земли... Они вновь были разбиты в 1268 году князем Дмитрием, сыном великого Александра Невского, при Раковере (Возенберге).

Неудачна была попытка рыцарей Тевтонского ордена подчинить себе Польшу, Литву и русские земли (белорусские и украинские) в составе великого княжества Литовского. 15 июля 1410 года в битве под Грюнвальдом

«непобедимые» были разбиты силами Руси, Польши, Литвы и чешского отряда под начальством знаменитого полководца Яна Жижки и бежали с поля сражения, спеша укрыться за крепкие степы своих бандитских гнезд-замков.

Разбитый, но еще окончательно добытый Орден после тринадцатилетней войны с поляками (1454—1466) должен был уступить Польше захваченное им Поморье с устьем реки Вислы, а во время Ливонской войны под ударами войск Ивана Васильевича Грозного Ливонский орден прекратил свое существование.

Вот чем, в действительности, была вызвана остановка германской экспансии на славянский восток. Не любят вспоминать об этом современные германо-фашистские разбойники.

Проблема захвата восточных пространств составляет сущность всей политики фашистов. Гитлер откровенно писал: «По следам тевтонских рыцарей на Восток... Если искать почвы в Европе, то это можно осуществить только за счет России». «Мы начинаем там, где закончили 400 лет тому назад», — заявляет Гитлер в своей бредовой книге «Моя борьба». «Мы прекращаем извечное движение на Юг и на Запад Европы и обращаем свои взоры на Восток. Мы кладем конец колониальной и торговой политике довоенного времени и переходим к политике будущего — к политике завоеваний земель. Когда мы, однако, сегодня говорили о новых территориях и землях в Европе, мы в первую очередь думали о России и подвластных ей окраинах. Сама судьба как бы показывает нам путь».

Но на пути осуществления разбойничьих планов фашистской Германии стоят славянские народы — поляки, чехи и русский народ. Чтобы захватить восточные земли, надо покорить и уничтожить заселяющие их славянские народы. Их много, свыше 200 миллионов. Это — русские, белорусы, украинцы, поляки, чехи, словаки, болгары, маке-

¹ Сборник «Против фашистской фальсификации истории». М., 1939, стр. 142.

донцы, сербы, черногорцы, хорваты, словенцы. Вся эта семья славянских народов возглавляется великим советским русским народом.

Охваченный злобой и ненавистью к славянству Гитлер и его бандиты-оружейосцы не знают предела своей гнусности в высказываниях и отъемах о славянстве.

Для гитлеровской шайки, с точки зрения бредовой расистской теории, славяне — это «неполноценная раса», которая предназначена, чтобы над ней господствовала высшая — северная, «нордическая» раса.

«Славяне, — осмелился сказать наглец Гитлер, — самая низшая раса в Европе, и она на последнем месте среди европейских рас».

Присяжный «философ» гитлеровской шайки убийцы, балтийский белогвардеец А. Розенберг, в своей наглой книге «Миф XX столетия», вторя Гитлеру, писал: «У истых чешских патриотов помутился разум. Это сознание чешской неполноценности... В чехах есть какой-то глубокий порок, который, как тайный червь, разъедает их ценности... Рассмотрение истории Чехии учит нас отличать истинную свободу от мнимой. Свобода в германском смысле — это внутренняя независимость. Свобода в понимании азиатских отпрысков метисов означает полное уничтожение культуры. Признать за чехами, поляками и ближневосточными народами внешнюю «свободу» означает признать расовый хаос»¹.

Вся эта болтовня нужна была гитлеровскому наймиту лишь для того, чтобы дерзнуть высказать бредовую мысль, что «недопустимо считаться с поляками, чехами и тому подобными нациями, столь же импотентными и ничтожными, как требовательными и нахальными. Эти нации необходимо отбросить на восток, чтобы освободить земли, которые будут обрабатывать немецкие руки». Гитлер не находит места славянам в Центральной Европе. «Если мы хотим создать великую Германскую империю, мы должны прежде всего вытеснить остальные народы, населяющие территорию нынешней Европы, — развивает Гитлер свой бандитский план действий. — Мы выслем чехов и других славян в Сибирь. Нужно изгнать их из Центральной Европы. Пока они там останутся, они будут постоянным очагом разложения... Дело идет не о создании жалкой пацифистской пан-Европы с добрым германским дядюшкой в центре. Нет, нам нужна немецкая Европа, нам нужно создать экономические и биологические основы, которые явятся вечным залогом ее существования. Само собой разумеется, мы используем хлеб, уголь и руду соседних стран, но прежде всего мы думаем устано-

вить наше постоянное господство. Я никогда не признаю за другими народами равенства в правах с германским народом. Наша миссия заключается в том, чтобы подчинить другие народы. Германский народ призван дать миру новый класс господ».

С лютой ненавистью относится «фюрер» германо-фашистских бандитских полчищ к русскому, белорусскому и украинскому народам, как самым многочисленным из всех славянских народов и к тому же мешающим осуществлению фашистского безумного плана захвата восточного пространства, на которое зарились германские империалисты еще во время первой империалистической войны. К тому же эти три славянских народа вместе с другими народами бывшей имперской России создали великий Союз Советских Социалистических республик, построенный на основах национального равноправия всех народов Союза, независимо от того, являются ли они многочисленными или малочисленными. Это равноправие советских народов приводит в бешенство Гитлера и его шайку, так как оно противоположно чудовищным планам порабощения славянских и других народов в угоду созданию и процветанию «Великой Германии».

И Гитлер открыто призывал к уничтожению Советского Союза, который своей экономической и политической структурой вызывает в нем бешенство. «Никогда не миритесь с существованием двух континентальных держав в Европе! — вещает руководитель германо-фашистских бандитов. — В любой попытке на границах Германии создать вторую военную державу или даже только государство, способное впоследствии стать крупной военной державой, вы должны видеть прямое нападение на Германию. Раз создается такое положение, вы не только имеете право, но вы обязаны бороться против него всеми средствами, вплоть до применения оружия. И вы не имеете права успокоиться, пока вам не удастся помешать возникновению такого государства или же пока вам не удастся его уничтожить, если оно успело уже возникнуть».

По плану Гитлера, в новой Европе, какая возникнет на развалинах старой, все славянские народы будут находиться в беспрекословном подчинении у Германии. Они будут лишены своей политической самостоятельности и возможности развивать свою национальную культуру. Они будут лишены своих земель, ибо «славянская человеческая раса, — нагло заявлял Гитлер, — как расовый отброс, недостойна владеть своими землями, — они должны отойти в руки германских господ, а славяне — собственники земель — превращены в обезземеленных пролетариев». Но сла-

¹ Большевик, 1941, № 13, стр. 30.

вян слишком много. Часть из них надо физически уничтожить и вообще сократить излишний прирост населения. «Я буду систематически в течение долгих лет разъединять славянских мужчин от женщин, — говорил Гитлер, — чтобы остановить рождаемость. Всеми средствами я пресеку плодovitость славян. Кто может оспаривать мое право уничтожить миллионы славян, размножающихся, как насекомые...»

II

Фашистские мракобесы, охваченные злобой и ненавистью к славянству, договорились до того, что вообще признали существование славянства мифом. Нет никакого этнического и культурного единства славян. Да и вообще у славян нет никакой собственной культуры, так как, будто бы, сами они не способны на самостоятельное культурное развитие. Вся славянская культура, — спешат заявить услужливые фашистские «историки», — возникла на основе общегерманской культуры.

Фальсификаторы исторического знания даже осмелились утверждать, что славянские государства возникли под непосредственным влиянием германских элементов, что служит, будто бы, ярким показателем неспособности славян к государственному творчеству. Не стоит заниматься критическим разбором фашистского мракобесия.

Этот мнимо-исторический бред только свидетельствует о беспрецедентной наглости и беззастенчивости в приемах фашистских «историков».

История славянских народов — это история их героической борьбы за свою политическую независимость и свободу против основного врага славянства — германцев, которые напрягали все свои усилия к тому, чтобы не дать славянам политически окрепнуть, действуя при этом и военной силой, и коварством, и обманом.

Борьба началась еще в VIII веке и продолжалась на протяжении всей вековой истории славян. Первые удары германских феодалов обрушились на полабских и прибалтийских славян, находившихся на стадии возникновения родоплеменных союзов и политически раздробленных. Борьба была упорной и продолжительной. Она тянулась шесть столетий, пока было сломлено сопротивление полабских и прибалтийских славян. А лживые фашистские «историки» изображают эту борьбу как легкую военную прогулку германских феодалов... Под лозунгами распространения христианства и культуры германские феодалы организовывали «крестовые походы», а в действительности собирали банды разбой-

ников для захвата славянской земли и порабощения славянского населения.

Борьба полабских и прибалтийских славян с германскими феодалами была крайне ожесточенной. Не раз они восставали против незваных захватчиков и восстанавывали свою независимость.

Полабские и прибалтийские славяне были ограблены германскими агрессорами. Земли у них были опусты. Славяне стали батраками и рабами новых господ. Ненависть славян к завоевателям была так сильна, что они, сопротивляясь онемечению, даже в XVI веке не понимали немецкого языка. И до настоящего времени в германском окружении остались полабские славяне — сербы-лужичане, правда, в небольшом количестве — около 200 тысяч человек, — по сохранившие свой язык и даже создавшие свою литературу.

Одновременно германские феодалы напрягали все усилия, чтобы не дать возможности окрепнуть молодым государствам — чешскому и польскому. Но эта тусная затея не удалась. Все покушения германцев на независимость польского и чешского народов были отражены, так как все усилия германцев встречали жестокое сопротивление польского и чешского народов.

Бессмертной славой овеяна их героическая борьба за свою политическую независимость и свободу. Бессмертны в истории всего славянства имена тех, кто возглавлял славян в их борьбе за свободу. Вождь первого славянского родоплеменного объединения Святополк-Маравский, Болеслав Храбрый польский (992—1025), мужественно боровшиеся за независимость славян, пользуются большим почетом среди славянских народов. Бессмертен Ян Гус, отдавший свою великую жизнь для блага и счастья своего чешского народа. Бессмертны великие чешские полководцы — Ян Жижка и Прокоп Большой, которые во время туситских войн возглавляли крестьянские и плебейские городские массы, громил пемелких и онемеченных чешских феодалов.

Бессмертен Александр Невский, который во главе русского народа разгромил рыцарей бандитской организации, известной под именем Ливонского ордена. Бессмертны три смоленских полка, которые остановили натиск Тевтонских рыцарей на литовское войско в битве под Грюнвальдом, из которых один полностью был уничтожен озверелыми «псами-рыцарями».

Бессмертны русские войска Ивана Васильевича Грозного, уничтожившие разбойничье рыцарское гнездо — Ливонский орден. Пусть помнят об этом непешные фашистские орды. Пусть вспомнят они и о том, как русские войска не раз били Фридриха II во время

Семилетней войны и как 8 октября 1760 года русскими войсками под командованием Чернышева был занят Берлин.

Пусть вспомнят фашисты и о том, как белорусские партизаны во время вторжения Наполеона в Россию били солдат Вестфальского корпуса Жерома Бонапарта, приобретших репутацию разбойников и грабителей даже среди солдат наполеоновской армии. На своем пути от Гродно по направлению к Слуцку и Бобруйску солдаты уничтожали все, что им попадалось под руку, грабили население.

Пусть вспомнят германо-фашистские бандиты, как германские войска были биты белорусскими и украинскими партизанами, когда они в 1918 году захватили Украину и Белоруссию.

Германский генерал Гренер, изгнанный из Украины украинским и русским народами, долго помнил о своем поражении. В своей книге «Завещание Шлиффена» генерал Гренер меланхолично рассуждает: «Кто хочет познать стратегический характер Восточного театра военных действий, тот не должен пройти мимо исторических воспоминаний. У врат огромной равнины между Вислой и Уралом, вмещающей одно государство и один народ, стоит предостерегающая фигура Наполеона I, чья судьба должна внушить всякому, нападающему на Россию, жуткое чувство перед наступлением на эту страну».

Давно германцы устремили свои хищнические взоры и на южное славянство, которому также приходилось выдерживать жестокие патски апрессоры.

Уже при Карле Великом словенцы подпали под его власть. Германские феодалы, расхватыв словенские земли и поработив словенское население, тщетно на протяжении многих веков пытались его онемечить. Но из этого ничего не получилось: словенцы остались славянами.

Провалом кончилась и попытка германцев почитать себе хорватский народ в период его государственной самостоятельности, до заключения унии с Венгрией в 1102 году. Только тогда хорватский народ начал ощущать на себе влияние германцев, когда австрийский и венгерский престолы были объединены в руках австрийских Габсбургов, но проводимая германцами политика германизации встречала жестокое сопротивление со стороны хорватского народа. Воспользовавшись тем, что сербы находились под тяжелым гнетом султанской Турции, австрийцы, под предлогом оказания помощи сербам в их борьбе против нее, пытались укрепиться на Балканах.

В 1718 году, после заключения с турками Пожаревецкого мира, австрийцы приобрели северную Боснию и северную Сербию. Но в

1739 году все эти захваты были потеряны. Сербский народ поддержал турок в их борьбе с австрийцами, — настолько ему была неизвестна политика, проводимая австрийцами. В XIX веке австрийские немцы всячески задерживали национально-освободительное движение сербского народа, австрийцы захватили Боснию и Герцеговину, которые в 1909 году были присоединены непосредственно к Австрийской империи.

Австрийцы не скрывали своих планов захвата Сербии, в особенности после балканской войны 1912—1913 гг., когда Сербия приобрела выход к морю и этим освобождалась от экономического давления и контроля со стороны Австрии.

Австрийцы и германцы наводнили Сербию своими агентами и шпионами, всячески стремясь взорвать и разрушить сербское государство и проглотить его. Но маленький народ, охваченный любовью к родине и свободе, предпочел во время первой империалистической войны подвергнуться всем ужасам германо-австрийской оккупации, чем сдаться на расправу победителю...

В своей освободительной борьбе славяне помогали и поддерживали друг друга. Сербское восстание 1804—1805 гг. под руководством Карагеоргия (Юрия Петровича Черног) было встречено с величайшим сочувствием в России и во всех славянских странах. Борьба польского народа за свою независимость в 1830—1831 гг. также была встречена радостно всеми передовыми общественными кругами в России. Борьба поляков с царизмом была борьбой за «вашу и нашу свободу», как говорили участники польского восстания 1863 года. Маркс и Энгельс следили с напряженным вниманием за революционной борьбой польского народа в 1863 году. А. И. Герцен и Н. Г. Чернышевский всячески поддерживали польских революционеров в их борьбе за независимость своего народа. Чешская демократическая интеллигенция полностью была на стороне польского народа в его освободительной борьбе. Но со злобой и ненавистью встретили австрийцы и пруссаки восстание в Кракове в 1846 году и революцию в Познани в 1848 году, преследовавшую цель создать независимую Польшу. Основной революционный удар поляков был направлен против германцев-австрийцев и пруссаков, охваченных злобой и ненавистью к полякам за их стремление к политическому освобождению. Вспомним, с каким сочувствием была встречена во всех славянских странах борьба болгарского народа за свое освобождение. Да, славянские народы свободолюбивы и не желали оставаться под чуждой им властью.

Велик вклад славянских народов в мировую культуру. Славянам есть чем гордиться. Сла-

славянские народы создали величайшую в мире художественную литературу: у русских — А. С. Пушкин, А. С. Грибоедов, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, А. П. Чехов, Максим Горький, Ал. Толстой; у поляков — Адам Мицкевич, Юл. Словацкий, Элиза Ожешко, Генрих Сенкевич; у украинцев — Т. Г. Шевченко, П. Франко; у белоруссов — Янка Купала, Якуб Колас; у чехов — А. Прасек; у словенцев — Ф. Прешерн, в Болгарии — Каравелов, Симе Сарайлия, Иван Попович, Иван Своботич и др. — все это писатели, чье творчество вошло в сокровищницу мировой художественной культуры.

Замечательные композиторы: Ф. Шопен, Моцарто, М. Глинка, А. Рубинштейн, П. Чайковский, П. Римский-Корсаков, Д. Шостакович, М. Лысенко, А. Сметана, Дворжак — известны всему культурному человечеству. Генеральные открытия Н. Коперника, математика Лобачевского, физиолога Д. Сеченова и Н. П. Павлова, химика Д. Менделеева, ботаника К. Тимирязева, Кюри-Складовской и множества других произвели переворот в науке. Славянские народы показали себя как блестящие исторические исследователи. Имел С. М. Соловьева и В. О. Ключевского в России, П. Шафарика и Ф. Палацкого в Чехии, Похима Лелевеля и М. Бобровичского в Польше, Ст. Стаповича и Вукичевича в Сербии, Златарского в Болгарии, Рачкова и Шитница в Хорватии, М. С. Грушевского на Украине — известны всем специалистам-ученым, не говоря уже об отдельных историках-монографистах.

Славянские народы дали таких блестящих стратегов и полководцев, как Александр Невский, Дмитрий Донской, Д. М. Пожарский и Козьма Минин, Петр I и А. В. Суворов, М. И. Кутузов и князь Багратион в России, Б. Хмельницкий на Украине, Ян Жижка и Прокоп Большой в Чехии, Гетман Жолкевский и Ходкевич в Польше, Карагеоргиев в Сербии. Славянские народы выдвинули из своей среды ряд замечательных революционных деятелей: величайшего среди них, гениального В. И. Ленина, М. И. Пестеля, Ф. Ф. Рылеева, А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского, В. Плеханова в России, Т. Костюшко, Лукасиньского, Ян Домбровского в Польше, Светозара Марковича в Сербии и многих других. Все это борцы за новую жизнь и счастье славянских народов.

III

Готовясь к нанесению удара по славянским народам, Гитлер и его агентура пустили в ход все средства, чтобы не дать славянским народам договориться и мирным образом раз-

решить возникшие между ними недоразумения. Гитлер больше всего боялся единства славянских народов, так как тогда провалился бы весь его план захвата и их порабощения. Действуя по макиавеллевскому правилу — «разделяй и властвуй», Гитлер пугал Польшу Советским Союзом, сорил Чехию с Польшей, указывая последней, что чехи будто бы угнетают поляков в чешской Силезии и ставят препятствия к их национально-культурному развитию. Гитлер всячески стремился воспрепятствовать осуществлению намечавшегося болгаро-югославского сближения, поддерживая группировки, враждебные последнему, и указывая, что все территориальные споры с Югославией могут быть разрешены в пользу Болгарии только при содействии его — Гитлера.

Гитлер знал, с каким родственным сочувствием относится болгарский народ к русскому народу, и давил на болгарское правительство с целью помешать установлению нормальных экономических и дипломатических отношений между СССР и Болгарией. Опираясь в Хорватии на фашистскую организацию «уштапей», Гитлер мешал осуществить политическое единство в Югославии. Те же приемы гитлеровская агентура применяла и в Чехословакии, пытаясь изолировать словаков от чехов, одновременно изображая последних душителями немецкой национальности в Чехословакии.

Такими методами и приемами Гитлеру удалось ослабить славянские народы и обострить отношения между ними.

Только один Советский Союз оставался вне фашистской подрывной деятельности, так как в нем вся агентура Гитлера была своевременно раскрыта. Сильный в своем политическом единстве и в сплоченности советских народов, Советский Союз стоял среди славянских народов несокрушимой гранитной скалой.

Задумав осуществить свой империалистический план передела Европы и готовясь к нападению на Францию и Англию, Гитлер не мог оставить в покое Чехословацкую республику, которая в течение немногих лет своей политической самостоятельности достигла значительного экономического и культурно-национального просветания. К тому же Чехия располагала замечательными заводами военной промышленности, которые Гитлер намеревался прибрать к своим рукам для увеличения выпуска продукции своей военной промышленности.

Гитлер стремился захватить Чехию, так как чешский народ, относясь враждебно к германскому фашизму, предоставил убежище всем тем, кто искал спасения от гитлеровского застенка. Да и большинство самих немцев в Чехии было настроено враждебно к фашизму.

Только небольшая группа промышленников и аграриев склонялась в сторону фашизма. Равным образом и среди словацкого народа были лица реакционного направления, как Тиссо, Мах и Тука, которые ненавидели демократический строй Чехословацкой республики и поддерживали фашизм и его агентов.

Над предложением защиты интересов мнимо угнетаемых в Чехословакии еврейских немцев Гитлер выступил агрессором против Чехословацкой республики и ликвидировал ее. Мужественный пятнадцатимиллионный чехословацкий народ очутился под гитлеровским сапогом.

Заключив с Чехословакией, Гитлер начал подготовку к захвату Польской республики. Наличие в Польше немцев, якобы угнетенных польским правительством, было предложено к выступлению против Польши. В действительности Гитлер имел в виду, прежде всего, захват польского коридора и устья реки Вислы с вольным городом Данцигом с тем, чтобы впоследствии совсем стереть с лица земли польский народ, как стоявший на дороге к осуществлению правительственных планов фашистского агрессора. Коварно начав войну с Польшей в начале сентября 1939 года, Гитлер скоро принудил польский народ выйти из состояния войны, и вся Польша попала в руки германо-фашистского разбойника.

Польша была нужна Гитлеру, как плацдарм для наступления против Советского Союза и как пространство для колонизации его немцами. Чтобы облегчить захват Балканского полуострова, фашистские жулики, играя на неразрешенных территориальных спорах между Болгарией и Югославией, привлекли на свою сторону болгарское фашистское правительство обещанием создать Великую Болгарию с возвращением ей Добруджи, захваченной румынами еще в 1912 году, и Македонии. Болгарское правительство согласилось на ввод в Болгарию германских войск. Правда, юридически Болгария осталась независимым государством. В действительности же она стала вассалом Гитлера, который распоряжается по своему усмотрению всеми военными и продовольственными ресурсами Болгарии. После этого наступила очередная расправа гитлеровцев с Югославией. Сначала Гитлер предполагал обманом поставить Югославию в зависимость от Германии. Заключив договор в Вене с югославским правительством Цветковича и лично взяв под свое ручательство неприкосновенность территории Югославии, Гитлер получил юридически право пропуска через Югославию санитарных поездов. Эта сделка фашистского сербского правительства с Гитлером вызвала всеобщее негодование среди народов Югославии.

Ответом на венское соглашение с Гитлером

было свержение югославского правительства, подписавшего договор, и отказ от регентства принца Павла с провозглашением сербского короля совершеннолетним. Новое югославское правительство заявило о своем твердом намерении соблюдать нейтралитет и поддерживать дружественные отношения со всеми государствами. Вместе с тем, югославское правительство объявило об охране интересов всех национальных меньшинств. Но эти мирные заявления не спасли Югославию от гитлеровской агрессии и кровавой с ней расправы. Без объявления войны Гитлер напал на Югославию, когда выявилась прямая невозможность проглотить ее «обманом».

Так кровавому Гитлеру удалось подпочке, обманом, хитростью и вооруженной рукой подчинить себе западных и южных славян. Только славянские народы великого Советского Союза сохраняли свою независимость и под руководством советской власти занимались мирным социалистическим трудом.

IV

Захватив Чехословакию, Гитлер, опираясь на словацких реакционеров, как Тиссо и Мах, расчленил ее, выделив Словакию в отдельное государство. Это марионеточное государство было шужно фашистскому «фиюеру», чтобы ослабить сопротивляемость чешского народа гитлеровской агрессии. Из остальной части Чехословакии был образован «протекторат», во главе которого на правах «протектора» был оставлен Нейрат, на него была возложена обязанность стать палачом чешского народа.

Гитлеровские разбойники уничтожили единство территории, населенной польским народом. Северозападные польские земли были непосредственно присоединены к Германии, а из оставшейся части польской территории было образовано «генерал-губернаторство» с административным центром в Кракове. Свыше полутора миллионов польского населения было выселено из северозападной Польши в генерал-губернаторство. В земную стужу они были посажены в товарные вагоны. Лишенные возможности взять с собой хотя бы необходимую одежду, по прибытии на место многие из них оказались замерзшими. Их жилища и земли были отданы немцам, привезенным из итальянского Тироля, прибалтийских стран и других местностей.

Образовав карликовое Словацкое государство, Гитлер часть словацкой территории отдал на растерзание венгерским магнатам, вековым врагам словацкого народа.

Используя хорватских фашистов-усташей во главе с убийцей А. Павеличем, Гитлер вы-

делит Хорватию в отдельное королевство, отдав ее важнейшие прибрежные далматинские города итальянскому стервятнику Муссолини. В сферу влияния итальянского разбойника вошли Черногория, южная часть Словении. Сербские земли Бачка и Банат были захвачены Венгрией. К Германии Гитлер присоединил Сербию и северную часть Словении с ее природными богатствами. Чтобы уничтожить всякое воспоминание о прошлом, Загреб, Белград и Любляны, три славянские столицы, были объявлены вольными городами. Так фашистские грабители поделили между собой югославскую территорию в том предположении, что сербы и хорваты, лишённые политического единства, будут не в состоянии противодействовать политике насилия и произвола немецких, итальянских и венгерских фашистов. Но такой раздел захваченной фашистскими прохвостами добычи не удовлетворил итальянского «дуче» — Муссолини. Надвигаясь итальянские войска оккупировали значительную часть Далмации. Хорватские «усташы» уступили итальянским фашистам, хотя хорватский народ хотел вступить в борьбу с ненавистными ему итальянскими захватчиками. Муссолини протягивает свою окровавленную руку к Македонии и к южным портам, которые болгарские фашисты уже успели захватить. Так фашистские захватчики начали ссориться между собой из-за балканской добычи, распорядясь по собственному усмотрению судьбой балканских славян.

В порабощенных фашистскими разбойниками славянских странах свиреществуют террор и насилие.

Гитлер использовал все экономические возможности славянских стран, не исключая и стран-вассалов — Болгарии, Хорватии и Словакии, чтобы ими удовлетворить продовольственные потребности фашистской Германии, в то время как сами славянские народы обречены на голод и нищету. Вся промышленность славянских стран приспособлена к хозяйственным нуждам Германии и сливается с германскими концернами и монополистическими организациями. Сотни тысяч рабочих, мужчин и женщин, отправлены в Германию для работ на заводах, фабриках и в помещичьих имениях. Концентрационные лагеря заполнены теми, кого фашистское гестапо причислило к разряду неблагонадежных. В этих концентрационных лагерях ежедневно гибнут сотни заключенных, не вынося условий заключения и организованной системы пыток и насилий. Стремясь к денационализации славянских народов и к разрушению их национальной культуры, фашистские изверги закрыли в Чехии, Польше и Сербии все выс-

шие учебные заведения. Славянские народы не нуждаются в образовании, говорят фашистские палачи. Им нужно столько образования, чтобы они могли овладеть орудиями труда для работы на своих господ. Закрыты низшие и средние школы на национальных языках или, как в Чехии, численность их сведена до минимума. Разграблены библиотеки, музеи и лаборатории. Полностью вывезены в Германию библиотеки Варшавского и Краковского университетов. Профессора заключены в концентрационные лагеря. В одной Польше в них заключено около двухсот человек. Многие из них, не вынеся мучений и издевательств, умерли. В Варшаве и Кракове разрушены памятники Адаму Мицкевичу — величайшему польскому поэту, гению мировой художественной литературы, и Т. Костюшко — дорогому для народной памяти борцу за национальную свободу польского народа.

Уничтожены сочинения Мицкевича, который воспевал борьбу польского народа с рыцарями-«крестоносцами», изъяты все книги по польской истории, словно можно вычеркнуть польский народ из истории человечества. Слово «Польша» изъято из обращения, так как оно напоминает о том, что польский народ в прошлом был актуальной политической силой. Изъяты из обращения все книги, в которых упоминаются слова «Польша» и «Литва». Гениальный поляк Н. Коперник объявлен немцем, полноценным арийцем.

Фашисты приступили к полному уничтожению польской культуры. Преследуются польская литература и музыка. Закрыты все польские театры. Даровитейшие польские артисты и артистки служат официантками и официантками в кафе и ресторанах. Нет польской науки, так как все ученые заключены в концентрационные лагеря, да и нет лабораторий, архивов и библиотек, где бы польские ученые могли работать. Полякам запрещено читать даже немецкие книги, так как в «оккупированной Польше» немецкие книжные лавки имеют право продавать немецкие книги только немцам. В Польше прекратилось издание газет на польском языке. За время оккупации на польском языке не вышло ни одной книги. Гитлеровским негодям «грустно земля, а не люди», а потому польское население обречено на физическое уничтожение. В Польше уже уничтожено около трех миллионов поляков. Малейшее неповиновение или оскорбление немца влечет за собой расстрел. Главными жертвами гестапо, по словам английской газеты «Манчестер гардиан», являются «священники, профессора университетов, учителя, выдающиеся политические и общественные деятели — ко-

роче говоря, люди, могущие возглавить выступления против озверевших угнетателей». Во многих городах и местечках чинилась жуткая расправа. В одной Познани убито свыше семнадцати тысяч человек. Выжигаются целые села, и население уничтожается поголовно. До какого зверства докатились фашисты, можно судить по тому, как вели себя патентованные убийцы в Варшаве после ее взятия. Тысячи женщин и детей были сброшены в Вислу, фашисты-людоеды разбивали головы грудным младенцам. По всей Польше рыщут карательные отряды, уничтожающие всех, кто посмел бороться против германских фашистов и кто принимал участие в борьбе за освобождение Польши из-под германского ига в 1918—1920 гг.¹ Невыносимо моральное положение польского народа. Ряд стеснительных полицейских мер оскорбляет его национальное чувство и человеческое достоинство. В Познани запрещено разговаривать на польском языке, поляки не имеют права ходить по центральным улицам города. В Варшаве полякам запрещен вход во многие кафе и рестораны. На железных дорогах им отводятся особые купе. Для немцев, постоянно живущих в Варшаве, отведены отдельные улицы и дома, из которых выселены все поляки. Невыносимо положение польской женщины и девушки. Тысячи их направляются на принудительные работы в Германию. Многие из них попадают в солдатские публичные дома. На улицах часто исчезают девушки, которых безнаказанно хватают фашистские проходимцы и увозят неизвестно куда. Фашистские газеты с паглотью внушают, что «к польским девушкам надо относиться так же, как к польским рабочим, которые всегда работают и живут за колючей проволокой». Для фашистов «польская женщина — это детище народа, предназначенное на служение другим». Многострадал польский народ. Терновым венком покрыт его окровавленный лоб, но рабам фашистских извергов он не стал и не станет. Не удастся фашистским проходимцам сломить твердую волю свободолюбивого польского народа.

Теми же фашистскими методами уничтожается сербская культура. Фашисты стремятся уничтожить всякое воспоминание о героическом прошлом сербского народа, который также обречен на физическое уничтожение. Онем и мечом устанавливали фашистские начальники свое господство в Сербии. Путь прохождения фашистских полчищ был усеян трупами расстрелянных и убитых мужчин, женщины и детей через два дня после вторжения фашистов в Сербию. Белград подвергся

жестокой бомбардировке, и в течение двух дней было убито 60 000 сербов. Сербская женщина и девушка подвергается неслыханным издевательствам, оккупационные власти ввели в Сербию обязательную проституцию для женщин, которые ею будто бы занимаются тайно, и сербские женщины и девушки массами отправляются в публичные дома. Фашистским офицерам официально рекомендовано брать для сожительства сербских женщин. Насилие на улицах стало обычным явлением. Население расстреливается за малейшее неповиновение и мнимое непочтение к оккупационным властям. За убийство немецкого солдата в Белграде было расстреляно сто сербов, и на будущее время была установлена подобная же норма. Сожжение сел и поголовное уничтожение их населения — таков прием убийц и насильников для удержания в повиновении сербского народа. Сербский народ планомерно подвергается физическому истреблению, согласно подлому фашистскому лозунгу: «Нам нужна земля, а не люди».

Ужасно положение еврейского населения, которое поставлено вне закона во всех захваченных фашистами славянских странах. Пет той изощренной мерзости, которую не применяли бы фашисты по отношению к евреям. В Польше и Сербии для евреев наступили мрачные времена, быть может, более страшные, чем времена средневековья. В городах введено еврейское гетто, из которого еврей не имеет права отлучиться, если только он не работает за его пределами. Продовольственное положение евреев отчаянное, они обречены на голод. Благодаря скученности населения, антисанитарным условиям жизни и голоду колоссальна смертность в еврейском гетто. Колючей изгородью отгорожены еврейские улицы от прочих улиц. Еврейский народ физически уничтожается. И целые кварталы занимаются немецкими колонистами. После истребления всего польского и еврейского населения все польские города станут немецкими — такова программа германской колонизации польских городов. Во всех оккупированных славянских странах объявлен государственным языком язык немецкий. Государственный аппарат полностью опемечивается. Из Чехии вывезли 100 тысяч государственных служащих и заменили их немцами. Для укрепления германского элемента в Чехии чешское население по ф. Лабе было выселено из 29 деревень, а земли их были переданы немецким колонистам. Это только начало «возвращения немцев на свою родину», как паглот заявляют фашисты. Но никогда не склонят голову перед чудовищными насильями фашистских извергов свободолю-

¹ Большевик, 1941, № 13, стр. 14.

бывшие славянские народы! Никогда они не станут рабами тех, кто кровью растоятал их села, кто расстреливал мужчин, женщин и детей, кто насиловал женщин, девушек и девочек... Пролитая кровь, пытки и мучения требуют отмщения. Крики замученных и оскорбленных мужчин, женщин и детей разносятся по всем оккупированным славянским странам. Никогда эти злодеяния не будут забыты или прощены! Расплата близка, и не избежать ее фашистам — этим извергам человеческого рода. Лютый враг славянских народов будет уничтожен. В страхе перед грядущей расправой итальянские фашистские власти в Черногории издали приказ о сдаче всего оружия, но нашлись только два черногорца, выполнившие приказ захватчиков. Еще неизвестно, какое оружие сдали черногорцы, привыкшие с детства не расставаться с ружьем! Нет, приказами и даже двумя расстрелами не остановить мстителей за отнятую свободу, за честь и достоинство родины и народа. Не испугать народа смертью, когда самая жизнь для них стала смертью.

Растет в Польше и Сербии партизанское движение. В Чехословакии народные массы переходят от пассивного сопротивления к активной борьбе против фашистских извергов. Летят военные поезда под откос, исчезают солдаты и офицеры, взрываются военные заводы и склады боеприпасов, приходят пустыни к месту назначения цистерны, выпускается на заводах и фабриках дефектная продукция, уничтожаются автомашины и целые отряды солдат, взрываются мосты и портятся дороги. Все это свидетели растущего народного гнева — начало конца фашистских извергов... Славянские народы не боятся смерти... Возвращенная свобода дороже жизни. Много храбрых падет в борьбе за свободу, но народная честь и достоинство будут восстановлены. Не поработит вора, убийцу, разбойника и насильника вольнолюбивые славянские народы!

V

Напав вероломно на Советский союз, Гитлер был убежден, что Советский Союз останется в полной изоляции и тогда провозглашенная им «молниеносная» война увенчается полным успехом. «Восточное пространство» будет захвачено, и станет реальностью возникновение «Велико-Германии», у ног которой будут лежать все европейские народы. Останется только Англия, которая также в ближайшее время будет разгромлена... Однако все эти расчеты фашистских бандитов не оправдались. Ни Англия, ни Соединенные Штаты Америки не остались равнодушными к обдуманной и пред-

намеренной агрессии Германии, предательски напавшей на Советский Союз.

Полностью провалился и объявленный Гитлером «крестовый поход» всей Европы против большевизма. Изолированным остался не Советский Союз, а фашистская Германия.

Гитлеру вскоре пришлось убедиться в том, что ему придется вести войну на два фронта, так как Советское правительство и правительство Великобритании, охваченные желанием довести борьбу с гитлеризмом до победного конца, подписали 12 июля в Москве соглашение о совместных действиях в войне против Германии. Так возник блок двух могущественных государств — СССР и Англии, к которому присоединились и США, если не в качестве одной из воюющих сторон, то на правах союзника, который принял на себя обязательство материально поддерживать противогитлеровский блок и оказывать ему помощь в снабжении военно-промышленной продукцией.

Единый фронт свободолюбивых народов увеличился присоединением Чехословакии к англо-советскому антифашистскому фронту. 18 июля в Лондоне было подписано соглашение между СССР и Чехословацкой республикой, в силу которого «оба правительства взаимно обязуются оказывать друг другу всякого рода помощь и поддержку в настоящей войне против гитлеровской Германии». Помогмо этого, правительство СССР дало согласие «на создание на территории СССР национальных чехословацких воинских частей под командованием лица, назначенного чехословацким правительством с согласия Советского правительства. Чехословацкие воинские части на территории СССР будут действовать под управлением военного командования СССР».

Соглашение между правительством СССР и правительством Чехословацкой республики — это новая страница в истории чехословацкого народа, первый шаг к его освобождению от фашистских банд. Отныне перед чехословацким народом открывается возможность с оружием в руках бороться за восстановление своей политической независимости.

День подписания договора, по словам статс-секретаря министерства Губерта Ринка, «будет одним из знаменательных дней в истории борьбы за освобождение Чехословацкой республики. После 1938 года мы не отказались от нашей принципиальной политической линии. Мы продолжали борьбу во Франции, в Англии, в Америке. После оккупации Франции мы не капитулировали. 18 июля является для нас великим днем нашей борьбы, крупным шагом на пути освобождения. Мы создадим новую Чехословакию. Наш сегодняшний успех является прежде всего результатом мужества нашего народа». Известно о подли-

сании соглашения между правительствами СССР и Чехословакии широко распространилось по всей оккупированной Чехии и было встречено как утренняя заря ее будущего освобождения.

30 августа было подписано аналогичное соглашение между правительством СССР и Польской республикой, встреченное радостно польской печатью в США. Крупнейшая газета «Дзенник звыонzkovy», орган польского национального союза, пишет:

«Польско-советское соглашение установит новые отношения в Средней Европе. Мы приветствуем соглашение. Польша в будущем должна будет опираться на одного из своих мощных соседей, чтобы избежать судьбы 1939 года, когда она не имела союзников».

Известие о польско-советском соглашении с быстротой молнии разнеслось по Варшаве и было встречено с ликованием. Подпольная польская радиостанция обратилась с воззванием к польскому народу, в котором призывала его поддержать подписанное соглашение и продолжать борьбу с ненавистным гитлеризмом до полного освобождения польского народа. «Поляки, — говорилось в воззвании, — много страшных дней страданий, горя и унижений пережили мы с тех пор, как немецкий сапог ступил на нашу родную землю. Проклятые фашисты отняли у нас свободу и хлеб, они замучили сотни тысяч наших братьев и сестер. Но сегодня к нам возвращается надежда... Наши русские братья — с нами. Они громят хуже фашистские полчища, бьют их на земле, на воде и в воздухе. Мы, поляки, ни на один день не отказывались от борьбы, не гнули шеи перед ненавистными завоевателями. Теперь наши усилия сольются с усилиями великого Советского народа, его мощной Красной Армией, всех вооруженных сил великой коалиции держав, вставших на борьбу с врагом. Поднимайся же, великий польский народ, на борьбу с врагом. Помните, нет у польского народа врага хуже и злее, чем немецкие фашисты. Все на борьбу с врагом! Близок час расплаты. Свободу нашей окровавленной родине засияет заря свободы!»

И для сербского народа наступает новый этап в борьбе против фашистских полчищ за свое освобождение. Восстановление в полном объеме дипломатических отношений СССР с Югославией еще более укрепит давнишние культурно-политические связи русского народа с сербами и влечет в них новую энергию для борьбы с гитлеровцами. Сербский народ знает, что он не одинок в своей национально-освободительной борьбе. Вместе с ним бьет ненавистного врага наша героическая Красная Армия — оплот всех временно порабощенных славянских народов...

Так благодаря всем этим соглашениям создана единая коалиция славянских народов, которая вступила в смертельную борьбу с германским фашизмом.

По всем славянским странам распространилось обращение участников всеславянского митинга в Москве 10—11 августа с призывом к объединению всех славянских народов для борьбы с фашистскими полчищами — этими профессиональными убийцами.

Славянские народы стоят перед смертельной угрозой быть уничтоженными фашистскими насильниками и бандами. «Пробил час, когда весь славянский мир должен объединиться для скорейшего и окончательного разгрома германского фашизма, — говорится в обращении участников всеславянского митинга в Москве. — Кровь за кровь! Смерть за смерть! Беспощадная месть врагу за порабощение родных земель, за разрушенные города и сожженные села, за убитых и замученных в тюрьмах и концентрационных лагерях, за слезы женщины и гибель детей, за все наругательства над нашими пародами! Братья угнетенные славяне! Враг коварен и силен. Но, соединенные вместе, мы во сто крат сильнее его. Народы Советского Союза и его Красная Армия — с нами. С нами все демократические страны, с нами все передовое человечество. Смерть фашистским бандам Гитлера и Муссолини, этих убийц славянских народов!

Да здравствует наша победа над кровавым гитлеризмом!

Гитлеровская Германия будет уничтожена! Славянские народы вновь станут свободными!»

Комиссары в гражданской войне 1918—1920 гг.

«Без военкома мы не имели бы
Красной Армии».

Ленин

Красная Армия в наши дни великой отечественной войны, как и в былые дни гражданской войны, изумляет весь мир своей доблестью, своей неукротимой волей к победе над врагом. Юноши, начинающие жизнь, хотят быть подобными бойцам нашей Красной Армии. Угнетенные германским фашизмом народы обрели веру в свои силы. Они поняли, как ничтожны, как бессильны их «грозные повелители» перед лицом настоящих воинов и — настоящих людей.

Все высокое и прекрасное, что знает история человечества, — мужество и воля, глубокая идейность и готовность пожертвовать во имя счастья народного всем, даже своей жизнью, — все эти высокие качества нашли свое воплощение в тех, кто так стойко и славно борется за свою родину, за освобождение всего человечества от чудовищной тирании мракобесов и каннибалов германского фашизма.

«Основами качествами советских людей должны быть храбрость, отвага, незнание страха в борьбе, готовность биться вместе с народом против врагов нашей родины. Необходимо, чтобы это великолепное качество большевика стало достоянием миллионов и миллионов Красной Армии, нашего Красного Флота и всех народов Советского Союза» (Сталин. «Выступление по радио 3 июля 1941 г.» М., 1941, стр. 5) — вот ленинско-сталинская директива, которая определяет и определяет направление работы тех, кому партия и правительство доверили воспитание воинов советской страны.

Сделать высокие качества большевика достоянием миллионов бойцов Красной Армии, идейно вооружить их, сцементировать боль-

шевистскую идейность с воинской доблестью — вот почетная и нелегкая задача, за осуществление которой взялись военные комиссары, как только партия дала им «путевку в жизнь».

Кто были первые военкомы? Какие требования предъявлялись им?

Первые комиссары частей, облеченные высоким доверием советского правительства и большевистской партии, были люди, проверенные в огне революционной борьбы. Были среди них партработники, прошедшие школу трех революций; в массе своей это были или рабочие-«правдивцы» или передовые рабочие, выросшие в ходе революции 1917 года. «Университетами» комиссаров были парские тюрьмы, подпольные кружки, бои 1917 года, где они учились драться с меньшевиками, эсерами, и красногвардейские отряды, где они учились побеждать врага с оружием в руках.

«Комиссары назначаются из числа безупречных революционеров, способных в самых трудных обстоятельствах оставаться воплощением революционного долга», — так гласило первое положение о комиссарах, принятое в апреле 1918 года.

Человек, который в самых трудных обстоятельствах остается воплощением революционного долга, способен добиться того, чтобы высокие качества большевика стали достоянием всех бойцов его части. В резолюции, принятой V съездом советов в июле 1918 года, говорится:

«Комиссарам поручается судьба армии», они «являются блюстителями тесной ненарушимой внутренней связи Красной Армии с рабочим и крестьянским режимом в целом».

В гражданской войне 1918—1920 гг. военкомы оправдали высокое доверие советского правительства и большевистской партии; это представитель партии и правительства в армии.

Авторитет военкомов был исключительно велик. И не только потому, что в глазах трудящихся нашей страны безграничен авторитет партии Ленина—Сталина. Здесь немалую роль играли и личные качества комиссара, его нравственный облик. Это был большевик, непреклонный в выполнении революционного долга, требовательный к себе и к другим, беспощадный к изменникам и предателям. Он был «прежде всего посетителем духа нашей партии, ее дисциплины, ее твердости и мужества в борьбе за осуществление поставленной цели» («ВКП(б) в резолюциях», ч. 1, стр. 308).

Военком был политическим и нравственным руководителем своего полка. Это был старший товарищ, признанный руководитель, к которому шли за советом, чье слово было законом.

Комиссар находил тысячи способов для повышения боеспособности своей части, для большевистского воспитания бойцов. «Комиссары, — вспоминает О. Городовиков, — проводили митинги, спектакли, читали неграмотным бойцам газеты и обучали их грамоте.

Комиссары были всегда с бойцами — и на походе, и на отдыхе, и в бою» («Воспоминания участников обороны Царицына», стр. 48).

Комиссар убеждал в необходимости учиться бойцов, которым трудно давалась грамота; рассказывал, как учились большевики в тюрьмах, на каторге и в ссылке.

В будничное дело ликвидации неграмотности военком вкладывал революционную страсть и упорство. Для него обучение грамоте было звеном в революционном воспитании бойцов, которые от букваря переходили к газете, начинали лучше разбираться в политической обстановке, а значит, лучше бились за власть Советов.

Боевая страда давала редкие передышки. Походы сменялись боями и бои — походами. В бою прежде всего военком воспитывал своих бойцов. Его личный пример имел огромное значение.

В разработанной под руководством тов. Сталина «Инструкции для комиссара полка в действующих частях» (1919 г.) сказано: «В особо опасных местах и в наиболее серьезные моменты боя комиссар полка обязан своим присутствием и примером личного мужества поддерживать боевое настроение частей и способствовать точному и правильному выполнению приказов, когда нужно — увлекать часть в атаку...» («Военно-исторический журнал» № 5 за 1939 г.).

Когда огонь неприятеля был особенно силен, когда, казалось, нет возможности двинуться вперед и кое-кто готов был дрогнуть и отступить, комиссар появлялся в цепи впереди полка и своей отвагой увлекал бойцов, которые считали делом чести не отстать от своего комиссара.

В газетах 1918—1920 гг. нередко встречалось краткое сообщение: «Комиссар N полка погиб, когда шел впереди полка в атаку». Военком выполнил свой долг до конца.

В боях под Астраханью в декабре 1918 г. был тяжело ранен военком т. Сергеев-Тихвин. «Когда товарищи хотели его увести с поля битвы, он категорически отказался, заявив: «Теперь не время возиться со мной! Вперед, товарищи!» («Известия ВЦИК» № 19—28/1—1918 г.). И бойцы шли вперед, неудержимо и стремительно сближаясь с противником. Они смели его, уничтожили. Боевое задание было выполнено.

Военкомы учили бойцов не отступать ни перед какими трудностями.

«Только вперед! Назад ни шагу!» — так заканчивал свое обращение к красноармейцам военком 11-й кавалерийской дивизии Бахтуров, славный соратник гг. Тимошенко, Ворошилова, Буденного.

Этот лозунг был законом для самого т. Бахтурова, который увлекал за собой бойцов в самую гущу боя. Смерть настигла его, когда он мчался вперед, на врага, во главе эскадрона буденновцев.

Смерть т. Бахтурова сплотила бойцов, любивших и высоко ценивших своего товарища, война-большевика. Такие, как он, военкомы своей жизнью и смертью воспитывали в бойцах высокие качества советского человека — храбрость, отвагу. «Их кровью цементировались наши красные полки» (Ворошилов). Это были верные сыны родины, не знавшие усталости, не знавшие страха в борьбе.

Обозревая славный путь военкомов, т. Ворошилов говорил:

«В самые трудные моменты боев военный комиссар обязан был своим личным примером, беззаветной храбростью и отвагой вдохновлять часто истощенные, выбившиеся из сил красные войска» (Ворошилов в «Статьи и речи», М., 1937 г., стр. 235).

И действительно, комиссар учил бойцов преодолевать препятствия на пути к победе, умел ободрять уставших, подтягивать отстающих, выравнивать их по передовым.

Он разоблачал трусов и панкеров и воспитывал в бойцах ненависть и отвращение к дезертирам и предателям. Это был строгий и справедливый судья и прекрасный боевой товарищ. Он заботился о бойцах своей части, о ее материальных и духовных интересах. Он был «отцом и душой своего полка», как это

го требовала утвержденная тов. Сталиным инструкция.

Военком был не только политическим, но и военным руководителем своей части. Образцом для него служил тов. Сталин. Сталинский опыт руководства героической обороной Царицына определил пути строительства мощной регулярной Красной Армии. Созданная тов. Сталиным и его соратником Ворошиловым X Красная Армия была образцом для всех соединений Красной Армии.

Тов. Сталин показал, как надо разрешать проблему командных кадров. Его бдительность помогла во-время пресечь предательство военных специалистов, ставленников врага народа Третьякова. Он показал, как надо карать изменников и как надо поддерживать авторитет преданных родине командиров. Тов. Сталин воспитал плеяду замечательных полководцев нашей родины во главе с тт. Ворошиловым и Буденным. «Он приписывал громадное значение политической работе в армии, был очень требователен к подбору военкомов... Он говорил: «Военкомы должны быть душой военного дела, ведущей за собою специалистов» (Ворошилов. «Сталин и Красная Армия». М., 1937, стр. 31).

Нелегко был путь военкома.

Политический комиссар 1-й армии В. В. Куйбышев, вспоминая, как он и его товарищи сколачивали регулярную 1-ю Красную Армию, пишет, что эта «работа была мучительная и тяжелая», так как строительство армии шло под огнем наступающего противника. Чтобы победить вымуштрованные белогвардейские части, надо было в кратчайший срок изжить «детские болезни» добровольческого периода Красной Армии. Тов. Куйбышев писал о нем: это был «перIOD, богатый отдельными проявлениями отваги, удали, а подчас и героизма, но, с другой стороны, богатый случаями беспричинной паники, стоверстных отступлений в один сутки» («Документы» по истории гражданской войны в СССР. т. I. М., 1940 г., стр. 358).

Читая эти строки, советский читатель вспомнит первые кадры знаменитого кинофильма «Чапаев» и весь трудный путь комиссара-большевика Дмитрия Фурманова, который немало поработал, прежде чем добился превращения своей части в регулярную дисциплинированную 25-ю Чапаевскую дивизию, покрывшую себя неуязвимой славой.

Нелегко было преодолеть «отрядную неразбериху», нелегко было командирам и бойцам показать необходимость перехода от изживших себя партизанских отрядов к регулярным частям Красной Армии. На первых порах в Красной Армии было много «митингового демократизма».

Порой приказ о наступлении обсуждался и

голосовался на митинге. Тут же иногда и переизбирался командир. А противник выигрывал время, иногда уничтожал губительным артиллерийским огнем митингующий отряд.

Выступая перед командирами отрядов на ст. Радаково, т. Ворошилов говорил: «Необходимо организовать из этих маленьких отрядов и отрядиков одну армию... Такая армия может и должна действовать крепким ударным кулаком, а не растопыренными пальцами, как сейчас...» (В. Мельников. «Героическая оборона Царицына». М., 1940, стр. 38). И через несколько дней «непобедимая» германская армия почувствовала всю силу вновь созданной V Украинской Красной Армии. Вспомнившая о бое под станцией Радаково, т. Будник пишет:

«Здесь мы увидели, как немцы умеют удирать». Это был хороший урок зазнавшимся немецким разбойникам. На их беду он не пошел им вырок.

Известно, что в 1918 г. в строительстве Красной Армии партии и правительству приходилось прибегать к широкому привлечению старых военных специалистов из офицеров царской армии. Среди них немало оказалось изменников. Но и честным специалистам старого закала нелегко было сразу найти общий язык с бойцами Красной Армии, провекнутыми недоверием к офицерству.

Там, где командир был из старых специалистов, там особенно важно было иметь авторитетного руководителя, пользующегося полным доверием бойцов. Таким руководителем был военком.

Подводя итоги первому этапу борьбы за создание регулярной Красной Армии. VIII съезд ВКП(б) (1919) в своей резолюции записал: «Партия может с полным удовлетворением оглянуться на героическую работу своих комиссаров, которые, рука об руку с лучшими элементами командного состава, в короткий срок создали боеспособную армию!» (ВКП(б) в резолюциях»; ч. 1. стр. 308).

Ленин кратко резюмировал тот же вывод, когда сказал: «Без военкома мы не имели бы Красной Армии» (Ленин, т. XXV, стр. 302).

Вопрос о роли коммунистов и военных специалистов в Красной Армии, о взаимоотношениях военкомов с командирами вызывал горячие споры и дискуссии в печати накануне VIII съезда РКП. На самом съезде это был также самый сложный вопрос. Многие военные работники были резко настроены против Третьякова, требовавшего преклонения перед военными специалистами, безоговорочного к ним доверия, высокомерно и враждебно относившегося к старым большевистским кадрам в армии. На съезде выступала «военная оппозиция», защищавшая пережитки партизанщины в армии и борováвшая против со-

здания регулярной Красной Армии. С этой «оппозицией» повести решительную борьбу тт. Ленин и Сталин. VIII съезд «отклонил ряд предложений «военной оппозиции», съезд в то же время ударил по Троцкому, потребовав улучшения работы центральных военных учреждений и усиления роли коммунистов в армии» [«История ВКП(б)», стр. 225].

По предложению тов. Сталина съезд уполномочил Всероссийское бюро военных комиссаров, безответственно относившееся к подбору военкомов. Съезд решил «спешно переработать положение о комиссарах и реввоенсоветах в смысле точного определения прав и обязанностей комиссаров и командиров»... («ВКП(б) в резолюциях», ч. 1, стр. 311). Полную ясность в этот вопрос внесла разработанная под руководством тов. Сталина инструкция, в которой со всей определенностью было сказано, что комиссар «не может быть только придатком полкового командира»; что «он должен глядеть во все стороны жизни своей части, в том числе и в военно-оперативную».

Военкомы должны были «на ходу» стать и военными специалистами, изучать военное искусство и всю систему управления армией. Военкомам дано было много прав, но зато к ним предъявлялись и высокие требования.

«Когда мы одерживали победы, мы хвалили командира и комиссара. Но все неудачи, все промахи части мы всегда приписывали прежде всего нераспорядительности и недостатку комиссара. Он отвечал за все — такова была объективная обстановка» (Ворошилов. «Статьи и речи», стр. 235).

«Комиссар отвечал за все», — и он являл собой тип многогранного работника, однако же твердо себя чувствующего и в области политико-воспитательной, и в области хозяйственно-административной, и в вопросах военно-оперативного порядка. Ясно, что военком не был просто помощником командира по политической части. Он должен был видеть дальше, чем командир, глубже вникать в каждое дело, находить большевистские решения сложнейших проблем, поставленных жизнью перед его частью.

Участь военному искусству у своего командира, военком и сам выступал в роли воспитателя по отношению к нему.

Боевой командир буденновской школы Ока Городовиков тепло вспоминает о том, как комиссар его части давал ему «элементарные уроки политграмоты» не на школьной скамье, а в кипучей практике управления своей частью. О. Городовиков рассказывает, как он гордился своим эскадронном связью, не замечая в нем «червоточины». Комиссар рассказал ему, что в эскадрон «просочились белые офицеры, урядники, прапорщики и исподтишка ведут

подрывную работу, пытаюсь внести разложение в ряды бойцов. Беседа с военкомом показала, что в политике в ту пору я был младенцем. После этого я стал пристально изучать людей, чаще беседовать со своим комиссаром» («Воспоминания участников обороны Царицына». Сталинград, 1940, стр. 47).

После неоднократных бесед по политическим вопросам комиссар поставил перед тов. Городовиковым вопрос о вступлении в партию. Почувствовав себя крепче в области политики, тов. Городовиков сказал своему военкому: «Комиссар, я вступаю в партию. Только, смотри, пачет политики помощь оказывай». (Там же.)

Революционная бдительность военкомов, их политическая работа в войсках противостояла вражеской агентуре. Там, где хорошо работали военкомы и политработники и все коммунисты, там «меньше всего... — говорил Ленин, — является охотников изменять среди военспецов» [«ВКП(б) в резолюциях», ч. 1, стр. 721].

«Комиссар должен быть хорошим чекистом. Он своевременно должен пресекать подрывную работу врагов — следить за всеми проявлениями контрреволюционной, антисоветской, антикоммунистической, антисемитской пропаганды и агитации, принимая меры против лиц, замеченных в этом» (Военно-истор. журнал № 5, 1919 г., стр. 79), — этому учила сталинская инструкция 1919 г.

Положение о военных комиссарах РККА от 16 июля 1941 г. также указывает, что «военный комиссар обязан в корне пресекать всякую измену». Это положение со всей силой подчеркивает ответственность военкома за выполнение боевого задания, за проведение в жизнь «всех приказов высшего командования». Комиссар, наряду с командиром, несет ответственность за выполнение войсковой частью боевой задачи.

Большое принципиальное значение имели решения советского правительства, вынесенные им в 1918 г. и гласившие, что приказ командира должен быть скреплен подписью военкома. Это налагало на военкома ответственность за выполнение приказа, за правильность его. Замечательно, что сталинская инструкция предупреждала военкомов от «штампования» приказов и требовала от них овладения военным искусством.

«Вдумчиво вникая в смысл каждого приказа, — говорит она, — комиссар полка дает своей подписью как бы поручительство в том, что приказ не только не преследует контрреволюционных целей, но и не грозит никаким ущербом делу военной защиты рабоче-крестьянской России» (Воен.-истор. журнал № 5 за 1919 г., стр. 79).

Чтобы обеспечить выполнение боевого задания, комиссар заботился о правильной расстановке на решающих участках коммунистов и комсомольцев — политбойцов. Этот опыт сплавивания коммунистов, комсомольцев в боевой актив полностью восприняла Красная Армия в наши дни великой отечественной войны. Нарком обороны требует: «Создать боевой актив из политбойцов и непартийных большевиков и опираться на него в изучении и распространении его боевого опыта, в понимании всего личного состава на выполнение приказа по разгрому врага» («Правда» № 212, 2 августа 1941 г.).

Сила военкома в том, что он опирается на лучших бойцов, он стоит во главе авангарда и увлекает за собой всю массу бойцов.

«Работа комиссаров может дать полные результаты лишь в том случае, если она опирается в каждой части на непосредственную поддержку ячейки солдат-коммунистов» («ВКП(б) в резолюциях», ч. 1, стр. 308) — вот вывод, к которому пришел VIII съезд РКП (март 1919 г.). И действительно, комиссары смогли к этому времени проделать огромную работу по преобразованию Красной Армии потому, что у них была «точка опоры» — ячейка коммунистов.

Партия большевиков свои лучшие силы отдавала фронту. Начиная с лета 1918 г. она проводила одну за другой мобилизации своих членов то на Восточный, то на Южный, то на Западный фронты. В числе мобилизованных были и крепкие коммунисты-массовики, рядовые члены партии и лучшие пропагандисты, агитаторы и организаторы.

Тов. Сталин «являлся инициатором мобилизации коммунистов, считая необходимым, чтобы значительный процент их посылался в качестве рядовых бойцов» (Ворошилов. «Сталин и Красная Армия». М., Воениздат, 1937 г., стр. 31).

В момент наступления Колчака, весной 1919 г., ЦК РКП, наряду с мобилизацией руководящих работников для политработы на Восточном фронте и замещения военных комиссаров, «массами погибших в боях на передовых позициях», направлял на фронт мощный поток коммунистов-красноармейцев.

«Нужны были,—пишет ЦК РКП(б) в своем отчете,—стойкие красноармейцы-коммунисты для того, чтобы влить их группами в каждый полк, батальон, роту и тем усилить сознательность и боеспособность частей» [«Отчеты ЦК РКП(б) с VIII по IX съезд». М., 1921 г., стр. 8]. В ряды красноармейцев шло пополнение из лучших сынов советского народа. Пролетарии-коммунисты вливали новые силы в измотанные части, цементировали роты и полки, которые в короткий срок преображались. Каждый красноармеец-коммунист знал,

что звание члена партии «налагает на него обязанность быть наиболее самоотверженным и мужественным бойцом».

Ячейка красноармейской части, в соответствии с указанием ЦК РКП(б), принимала в свои ряды лишь тех, кто способен был «в пужный момент показать пример готовности пожертвовать своей жизнью ради победы, увлечь за собой менее сознательных товарищей красноармейцев» («Известия ВЦИК» № 4, 6 января 1919 г.).

Рядовой боец-коммунист был образцом выполнения воинского долга. Даже женщины-бойцы, члены великой партии Ленина — Сталина, не знали ни страха, ни усталости в боях и походах. Московская коммунистка Зоя Кувшинникова была хорошей пулеметчицей, прекрасным боевым товарищем, неутомимым и бесстрашным воином. Когда надо было форсировать реку Хопер, Зоя первой перешла мост. За ней двинулись ее товарищи — пулеметчики, а там и весь полк. Противник заставил полк отойти назад, на другой берег. Но Зоя Кувшинникова решила: ни шагу назад. Осталась она, с ней остались на берегу противника и ее товарищи — пулеметчики. По поясу в ледяной воде, в течение 7 часов обстреливали они противника. Горсточка храбрецов держалась до последнего патрона. Полк снова пошел в атаку, успешно форсировал реку, и на неприятельском берегу бойцы нашли труп своего товарища, стойкого бойца — коммунистки Зои Кувшинниковой.

На примере таких людей и воспитывались молодые бойцы. Это о них поэт Николай Тихонов сказал: «Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей». Комиссары и командиры-большевики показывали на примере бойцов, подобных Зое Кувшинниковой, что нет таких препятствий, которых не могли бы взять большевики. Большевики — рядовые бойцы — были опорой комиссара.

Комиссар как представитель большевистской партии в полку являлся руководителем ее партийной организации. В проведении партийно-воспитательной и массово-политической работы ему помогали политработники. Кадры политработников (и политотделы) начали складываться в Красной Армии в начале гражданской войны, в июле — августе 1918 г., почти за полгода до издания Реввоенсоветом Республики (5 декабря 1918 г.) приказа, санкционирующего существование политотделов. Один из первых политотделов был создан под руководством тов. Сталина в Парицкие, в X армии.

Военкомы, опираясь на политработников и коммунистов, добивались победы над врагом в неизмеримо трудных условиях. Вот яркий

пример. В начале ноября 1920 г., в решающие дни боев под Перекопом, против засевшей в Крыму белой армии Врангеля была задумана смелая, но трудная операция — перейти ночью в брод Сиваш.

«Темной ночью, под ураганным огнем противника, по полям в ледяной воде, утопая в илковой грязи, бойцы бесстрашно шли вперед, ободряемые военными комиссарами. Перейдя Сиваш и готовясь к штурму Перекопа, войска очутились перед двойной трудностью. Впереди враг. Сзади подступала вода, которую гнал в Сиваш переменчившийся ветер. Бойцы дрогнули. Началась суматоха, паника. Но, как всегда, боевой порядок вскоре был восстановлен. Рассыпавшись по взводам, комиссары и коммунисты-бойцы разъяснили красноармейцам, что у них есть только один путь. Сзади — неминуемая и бессмысленная смерть, гибель в волнах Сиваша. Впереди — победа. Воздушевляемые личной храбростью комиссаров и политработников, бойцы ринулись вперед. Заграждения были прорваны. Враг стремительно покатился к Черному морю» («Большевик» № 13 за 1941 г., стр. 6).

Этот эпизод и множество ему подобных называют, как прав был т. Ворошилов, كما писал: «Военный комиссар, являясь в Красной Армии тем партийно-политическим стержнем, вокруг которого концентрировалось

все наиболее выдержанное, политически устойчивое и морально крепкое, фактически был душой армии» (Ворошилов. «Статьи и речи». 1936 г., стр. 235).

Военкомы — душа Красной Армии. Дстойные сыны партии Ленина — Сталина, они умели добиваться того, чтобы достойным миллионом бойцов Красной Армии стали замечательные качества большевика: «храбрость, отвага, незнание страха в борьбе, готовность биться вместе с народом против врагов нашей родины» (Сталин). Они сумели сделать героизм обычным, «будничным» в боевой истории своих частей. Вот характерное донесение в политической сводке с Восточного фронта 14 сентября 1918 г.: «В первом батальоне 10-го Новгородского полка, по сообщению комиссара батальона, отдельно отличившихся не было, и все действовали одинаково отлично» («Документы по истории гражданской войны», стр. 375).

Живы традиции военкомов гражданской войны 1918—1920 гг.

Воспитанная на этих традициях Красная Армия сегодня, в дни великой отечественной войны, творит чудеса храбрости, и в ее передовых рядах идут, как в славные дни 1918—1920 гг., военкомы, политработники, политбойцы, члены великой партии Ленина — Сталина.

С. ДУРЫЛИН

Лирой и мечом

(Из истории 1812 года)

23 июня 1812 года Наполеон отдал приказ своим войскам перейти через Неман и вступить на русскую землю. Число этих войск простиралось, по исчислению самых осторожных историков, до 420 тысяч. Такого огромного вражеского нашествия русская земля еще никогда не видела в своих пределах.

Наполеон был в зените своей военной славы и политического могущества. Император Западной Европы — таков был его неписанный, но фактически ему принадлежавший титул. В войске его, переправившемся через Неман, были представлены едва ли не все народы Западной Европы.

Наполеон был уверен в быстром успехе своего похода в Россию, — он не знал, что, вступив в Россию, он воюет не с Александром I, его министрами и царедворцами, а воюет с русским народом, и что успех его похода будет зависеть не от возможных побед над Александром I, а от невозможной победы над великим народом, который не мог признать ничьей завоевательной власти над собою.

Наполеон не понимал, что русская армия, увлекая его за собою в глубь страны, готовит ему страшную встречу с самим народом, поднявшимся на защиту родины и почерпавшим силы в себе самом.

На армию Наполеона — на армию захватчиков, шедших с собою национальное и социальное порабощение, — обрушилась «дубина народной войны», и Наполеон был побежден.

В историю этой народной войны славные страницы вписали русские писатели и поэты.

Трудно назвать какого-либо русского поэта и писателя, не изувеченного старостью и дряхлостью, который не настроил бы в те годы свою лиру на строй воинственной гражданской поэзии, — и не менее трудно назвать поэта или писателя, который, не оставляя

лиры, не взялся бы тогда за меч! Крылов, Карамзин, Жуковский, Батюшков, Вяземский, Л. Давыдов, С. Глинка, Ф. Глинка — это все лучшие литературные силы той эпохи, и все они отгали в те годы свою лиру, а большинство из них и свой меч, на защиту родины.

Одним из самых прославленных и пламенных участников борьбы России с Наполеоном и ярким представителем союза лиры и меча был Денис Васильевич Давыдов (1784—1839) — поэт, высоко ценимый Пушкиным и всем поколением русских людей, выросших под шум грозы 1812 года.

В конце 1806 года, при первой вести о том, что Россия вновь начинает войну с Наполеоном, двадцатидвухлетний гусарский поручик Давыдов явился в четыре часа ночи к фельдмаршалу гр. М. Ф. Каменскому и потребовал, чтобы его допустили к главнокомандующему. Настойчивость поэта-поручика была так велика, что старый фельдмаршал поднялся с постели, вышел к нему — и поручик Давыдов покинул приемную фельдмаршала не прежде, как заручился его согласием на назначение в действующую армию. Давыдов был назначен адъютантом к кн. П. И. Багратиону, командовавшему авангардом: Давыдов страстно желал участвовать в передовых, непрерывных стычках с неприятелем.

Чем сильнее была опасность, тем превосходней чувствовал себя Давыдов в бою. После кровопролитного сражения при Прейсш-Эйлау (26—27 января 1807 г.), когда у русских было ранено и убито до 26 000 человек, а у французов еще более, Давыдов, бывший при Багратионе в самых опасных местах, писал: «Чорт знает какие тучи ягер пролетали, гудели, сыпались, прыгали вокруг меня. рыли по всем направлениям сожнутые громады наших войск и какие тучи гранат лопались над моей головой и подпога-

ки монги! То был широкий ураган смерти...»¹

За отличие в сражениях одного 1807 года Давыдов получил три награды.

Между 1807—1812 годами Давыдов успел стать участником еще двух войн: шведской (1808—1809) и турецкой (1810).

Новая война с Наполеоном вновь посадила Давыдова на коня. Давыдов раньше других поиял отличие войны 1812 года от прежних войн с Наполеоном: то были походы русской армии в Австрию и Пруссию для военных действий против французского императора, теперь началась народная война против врага, вторгшегося в пределы России. Давыдов захотел отдать все силы именно народной войне. За пять дней до Бородинского сражения он сообщил Багратиону свои мысли о партизанской войне, и, поддержанный Багратионом, Давыдов стал первым организатором партизанских действий в ближайшем тылу неприятеля. Поэт-партизан, как редко кто другой, понимал все роковое значение, которое должен иметь для Наполеона неуловимый, непрерывный, повседневный натиск партизан на его отряды, военные транспорты и коммуникационные пути, натиск, сделавшийся всенародным.

«Давыдов отпустил бороду и надел крестьянский зипун и в таком виде заручился полным доверием жителей, советуя им нападать на неприятельские небольшие партии и сообщать ему о всех движениях противника. Результаты не замедлили появиться. Так, 2 сентября, в тот самый день, когда Наполеон вступил в Москву, Давыдов узнал, что в селе Токареве находятся французские мадеры.

Налетев на них, разбил прикрытые, охранявшее обоз с награбленными у жителей припасами, отбил все награбленное и взял 90 человек в плен.

В тот же день он отбил другой обоз и захватил в плен 70 человек, затем вечером того же числа он уже появился у Царева-Займища, где дневал следовавший в Москву неприятельский транспорт под прикрытием 250 человек конницы. Внезапным нападением Давыдов отбил транспорт, взял в плен двух офицеров и 119 рядовых, а также 10 фур с провиантом и одну с патронами. Раздавая зрителям ружья от шленных и отбитых патронов, выбрал нескольких лиц потолковее и объяснил им, что они должны нападать на отдельно встречаемых французов и мелкие партии противника, а перед сильными партиями отступать в разных направле-

ниях с целью раздробить неприятеля на мелкие партии, завлекать в засады и т. п. Почти не проходило дня, чтобы где-нибудь не был отбит или неприятельский транспорт, или обоз с награбленным французскими провиантом. Случалось приводить в плен разом до 250 человек»¹.

Партизанский отряд, руководимый Давыдовым, с течением времени до того усилился, что под Красным взял в плен двух генералов, множество обозов и до двухсот солдат. «9 ноября Давыдов напал при Копысе на неприятельский кавалерийский склад, охраняемый 3 000 человек, разбил их наголову, овладел складом и, взяв 285 человек в плен, вплавь переправился через Днепр и выслал партии к Шклову и Старосель». За это личное дело Давыдов вновь был награжден.

Давыдов, поэт-партизан, был во время войны 1812 года одним из самых любимых людей в войсках и в народе.

Сам Давыдов с большой исторической правдой и поэтической силой зарисовал участников народной войны в отрывке «Партизан»:

Умолкнул бой. Ночная тень
Москвы окрестность покрывает;
Вдали Кутузова курень
Один, как звездочка, сверкает.
Громада войск во тьме кипит,
И над пылающей Москвою
Багрово зарево лежит
Необозримой полосой.
И мчится тайною тропой
Восприимчивый с долины битвы
Наездников веселый рой
На отдаленные ловитвы.
Как стая алчущих волков,
Они долинами витают:
То внемлют широко, то вновь
Безмолвно рыскают продолжают.
Начальник, в бурке на плечах,
В косматой шапке кабардинской
Горит в передовых рядах
Особой яростью восточной.
Сын белокаменной Москвы,
Но рано брошенный в трезог,
Он жаждет сечи и молвы,
А там что будет — волны боги!²

Этот «начальник» партизан — сам Денис Давыдов, а вся историческая и географическая обстановка, данная в стихотворении, переносит нас на берега реки Нары, притока Оки, где возле села Тарутина произошел первый бой, в котором русская армия имела успех над французами. К партизану — герою народной войны — с особой любовью и обращались современники 1812 года, владеящие прозаическим или поэтическим пе-

¹ Русский биографический словарь. Том: Давыдов-Дядьковский. СПб. 1905, стр. 19—20.

² Денис Давыдов. Стихотворения. Библиотека поэта. Малая серия. 1936, стр. 116—117.

¹ Д. Давыдов. Военные записки. М., 1940, стр. 83—84.

ром. Поэт-декабрист Кондратий Федорович Рылеев, принявший прямое участие «мечом» в борьбе с Наполеоном, свою «лирию» захотел сохранить для потомства образ партизана, как наиболее яркой и народной образ отечественной войны:

В лесу дремучем на поляне
Отряд насадивков сидит.
Окрестность вся в седом тумаше,
Кругом осенний ветр шумит...

Плащи навешаны шатром
На пиках, в глубь земли вонзенных;
Биваки в сумраке ночном
Вокруг костров воспламененных...

На этом привале слышится «песня партизанская»:

Вкушает враг беспечный сон;
Но мы не спим, мы надзираем —
И вдруг на стан со всех сторон
Как снег внезапный налетаем.

В одно мигновение враг разбит,
Врасплох застигнут удалцами,
И вслед за ними страх летит
С неутомимыми джигами¹.

Денис Давыдов всю свою жизненную судьбу, историческое свое дело и поэтическую славу соединял с отечественною войною.

«Я считаю себя, — утверждал он, — рожденным единственно для рокового 1812 года». Давыдов оставил замечательный «Дневник партизанских действий 1812 года», а впоследствии написал «Опыт теории партизанских действий». И по смерти Наполеона (1821) Давыдов, так много и успешно сражавшийся с ним мечом, продолжал сражаться с ним пером.

В «Записках Наполеона» Давыдов с изумлением прочел, что побежденный император категорически отрицал урон, причиненный партизанами его армии. Давыдов написал «Разбор трех статей в записках Наполеона» (1825), где на основании французских же бюллетеней 1812 года доказал, что слова Наполеона не имеют ничего общего с истиной: урон, причиненный партизанами его армии, был, по признанию самого же Наполеона, очень велик.

Пушкин неизменно увлекался чтением сочинений Давыдова, посвященных партизанской войне, и не раз писал ему об этом:

Тебе, певцу, тебе, перою!
Не удалось мне за тобою
При громе пушечном, в огне
Скакать на бешеном коне...

Вручая Давыдову своего «Пугачева», Пушкин рекомендовал его поэту-партизану.

Вот мой Пугач: при первом взгляде
Он виден: плут, казак прямой;
В передовом твоём отряде
Урядник был бы он лихой.

Несправедливо осталась в тени деятельность Александра Сергеевича Грибоедова (1795—1829), связанная с 1812 годом.

Вступив в Московский университет 30 января 1806 года, будущий автор «Горя от ума» через два с половиной года окончил «словесное отделение» философского факультета с ученым званием «кандидата словесных наук»; еще через два года (1810) Грибоедов окончил юридический факультет также со степенью «кандидата прав». Грибоедов и на этот раз не покинул университета, а предался изучению математики и естественных наук: он, по свидетельству современника, «учился страстно» и столь же страстно увлекался театром, поэзией, музыкой.

По ударил час войны — и все это было оставлено Грибоедовым. Он сам пишет: «Я был готов к испытанию для поступления в чин доктора, когда получено было известие о вторжении неприятеля в пределы отечества нашего и вскоре затем последовало... воззвание к дворянству ополчиться для защиты отечества. Я решился тогда оставить все занятия мои и поступить в военную службу»¹.

За месяц до Бородинской битвы Грибоедов был зачислен корнетом в Московский гусарский полк, формируемый гр. П. И. Салтыковым.

По молодого патриота ждало большое испытание: вместо блестящих кавалерийских атак и удачных наездов, прославивших Дельца Давыдова, Грибоедову пришлось запылять трудным, незаметным, но необходимым будничным делом: будучи в резерве, заниматься собираньем и обучением новых отрядов кавалерии для действующей армии. Чем далее продвигалась русская армия, тесня Наполеона, на Запад, в Германию и Францию, тем насущней было это дело пополнения кавалерийских кадров. Грибоедов, несмотря на юные годы, сумел понять важность этой невиданной тыловой работы и прилежно отдавая ей свои силы вплоть до того момента, когда русские войска, окончательно изложив Наполеона, вернулись из-за границы. Лишь тогда Грибоедов счел для себя возможным оставить военную службу. Памятником этой его военной работы осталась статья «О кавалерийских резервах», напечатанная в 1814 году. В

¹ К. Ф. Рылеев. Полное собрание сочинений. Изд. «Academja, М. — Л., 1934, стр. 261—262.

¹ А. С. Грибоедов. Полное собрание сочинений, под ред. Н. К. Пяксанова, том I, СПб, 1911, стр. XVII.

ней парядку с деловыми соображениями об организации резервов Грибоедов с законной гордостью перечисляет те кавалерийские части, которые отличались в боях с французами и в формировании которых он принимал участие.

Но есть и другой литературный памятник.—вернее, проект такого памятника, внушенный Грибоедову отечественной войной. Под общим заглавием «1812 год» сохранились краткий план и одна сцена из задуманной Грибоедовым драмы.

Драма предполагалась в трех «отделениях» и с «эпилогом». Первое «отделение» должно было в первой картине показать «Красную площадь» в Москве: «История начала войны, взятие Смоленска, народные черты, приезд государя, обоз раненых, рассказ о битве Бородинской. «М» с первого стиха до последнего на сцене. Очертание его характера». Уже в этой заметке первой же сцены драмы ясно, что Грибоедова-драматурга захватывают «народные черты» отечественной войны. Главным действующим лицом драмы должен быть «М».—Как видно из дальнейшего развёртывания плана, «М» — крепостной человек какого-то помещика: в нем Грибоедов справедливо видел главное лицо исторических событий 1812 года.

Вторая сцена драмы должна была перенести зрителя в «Собор Архангельский»: там «возникают тени давно угасших исполинов — Святослава, Владимира Мономаха, Иоанна, Петра и проч.». Тени эти, знаменующие героическое прошлое русского народа, «пророчествуют о године искушения для России, если не для современников, то эли, повествуя сынам, возбуждят в них огонь неуязвимый, рвение к славе и свободе отечества». Последняя сцена первого «отделения» переносит нас в «Терем царей в Кремле. Наполеон с сподвижниками. Картина взятия Москвы». Наполеон предается в одиночестве «размышлению о юном первообразном сем народе». Второе «отделение» драмы происходит на «галерею в доме Познякова», где был открыт публичный театр во дни пребывания Наполеона в Москве. «Входит офицер «К» из приближенных к Наполеону, исполненный жизни, славы и блестящих надежд. Один последний воин, с горьким предчувствием опытности, остерегает насчет будущих бедствий. Ему не верят. Хохот. Из театра несутся звуки пляски и отголоски веселых песен. Между тем зарево обнимает повременно окна галлерей; более и более утрашающий ветер. Об опустошенных огнях».

Следующие сцены должны были показать Москву во власти французов и столкнуться между собою двух героев из враждебных ста-

нов — наполеоновского офицера и крепостного ополченца «М»: «улицы, пылающие дома. Ночь. Сцены зверского распутства, святотатства и всех пороков.

«К» и «М» в разных случаях».

Едва ли не самой важной сценой в драме Грибоедова должна была быть следующая сцена: «Село под Москвой. Сельская картина. Является «М». Всеобщее ополчение без дворян. (Трусость служителей правительства—выставлена или нет, как случится)».

Несмотря на краткость этой записи, совершенно неоспорима мысль Грибоедова: изгнание Наполеона есть дело самого народа, есть следствие народного подвига. Этим народным подвигом борьбы за родину Грибоедов намерен был посвятить все «отделение 3» своей драмы.

«Эпилог» драмы «1812 год» заслуживает особого внимания по глубокому социальному мотиву, который в полном согласии с историей введен в него Грибоедовым.

Первая сцена эпилога переносит в «Вильну» — место, где победитель Наполеона Бутузов встретился с Александром I. Грибоедов намеревался изобразить — и изобразил бы с яркостью, присущей творцу Фамусова и Скалозуба, — «отличия, искательства» придворных и важных военных чинов перед Александром I, раздавателем наград; при этих «искательствах», — пишет Грибоедов, — «вся юззия великих подвигов исчезает». Истинный герой драмы Грибоедова и 1812 года, вождь ополченцев «М», «в пренебрежении у военачальников». Его отпускают «во свояси с отеческими наставлениями к покорности и послушанию».

В последней сцене драмы Грибоедов переносит действие в крепостную усадьбу или в барский дом в Москве и с суровым лаконолизмом записывает финал всей драмы:

«Прежние мерзости. «М» возвращается под палку господина... Отчаяние... самоубийство»¹.

Можно глубоко сожалеть, что Грибоедов не написал задуманной драмы: Грибоедов, едва ли не первый, хотел показать в ней истинного героя этой борьбы — вождя крестьянского ополчения, и вместе с тем с необикновенной правдивостью он начертил горестную судьбу этого героя: вернуться, освободив родину, в рабскую долю, в крепостную усадьбу, под власть помещика.

В этом финале своей драмы «1812 год» Грибоедов является предшественником декабристов; их политическому сознанию с полной ясностью раскрылся страшный контраст, по-

¹ А. С. Грибоедов. Полное собрание сочинений, под ред. Н. К. Писанова, т. I, СПб., 1911, стр. 262—263.

рожденный 1812 годом: народ, отстоявший родину от самых грозных поражений, народ-герой «оставался «крещеною собственностью» нескольких тысяч крепостников.

По глубине исторической мысли и остроте политического сознания драма Грибоедова «1812 год» является единственной среди художественных откликов современников на 1812 год.

По мере приближения Наполеона к Москве в отступающей русской армии все больше увеличивалось желание схватиться с завоевателем в решающей битве и, выиграв генеральное сражение, не допустить Наполеона в Москву.

Это общее желание бойцов русской армии превосходно выразил Лермонтов в «Бородице» словами старого солдата:

Что ж мы! На зимние квартиры?
Не смеют что ли командиры
Чужие изорвать мундиры
 ⊕ русские штаны!

В чаши решающего боя с французами усилился приток в народное ополчение.

10 августа 1812 года вступил в московское ополчение в чине поручика Василий Андреевич Жуковский (1783—1852). Он был тогда уже автором «Сельского кладбища», «Любимля», «Светланы», «Громобоя» и других поэтических произведений, которыми зачитывалось все молодое поколение от лицейста Пушкина до уездной барышни. Стихи Жуковского, с их «пленительной сладостью», выучивались наизусть, распевались, как романсы, переплывались в бесчисленные альбомы.

Поэт мечтательной грусти и сладкой задумчивости покинул свои рукописи для участия в войне.

Жуковский был участником Бородинской битвы. Он оставил о ней воспоминания.

«Две армии стали на этих полях одна перед другой: в одной Наполеон и все народы Европы, в другой — одна Россия. Накануне сражения (25 августа) все было спокойно: разлавались одни ружейные выстрелы, которых беспрестанный звук можно было сравнить со стуком топоров, рубящих в лесу деревья. Солнце село прекрасно, вечер наступил безоблачный и холодный, ночь овладела небом, которое было темно и ясно, и звезды ярко горели; зажглись костры, армия заснула вся с мыслью, что на другой день быть великому бою. Тишина, которая тогда воцарилась повсюду, неизобразима; в этом всеобщем молчании, в этом глубоком темном небе, которого все звезды были видны и которое так мирно распространялось над двумя армиями, где столь

многие обречены были на другой день погибнуть, было что-то роковое и несказанное. И с первым приветом дня грянула русская пушка, которая вдруг пробудила повсеместное сражение...

Мы стояли в кустах на левом фланге, на который напирал неприятель; ядра невидимо, откуда к нам прилетели; все вокруг нас страшно гремело, огромные клубы дыма поднимались на всем полукруге горизонта, как будто от повсеместного пожара, и, наконец, ужасною белою тучею обхватили половину неба, которое тихо и безоблачно сияло над быющими армиями. Во все продолжение боя нас мало-помалу отодвигали назад. Наконец с наступлением темноты сражение, до тех пор не прерывавшееся ни на минуту, утихло. Мы двинулись вперед и очутились на возвышении посреди армии; вдали царствовал мрак, все покрыто было густым туманом осевшего дыма, и огни биваков неприятельских горели в этом тумане тусклым огнем, как огромные раскаленные ядра. Но мы недолго остались на месте: армия тронулась и в глубоком молчании пошла к Москве, покрытая темною ночью»¹.

После оставления Москвы Жуковский был причислен к штабу Кутузова, и перу автора «Светланы» принадлежат несколько реляций и приказов, вышедших из ставки Кутузова.

Еще раньше Жуковского вступил в московское ополчение его приятель и друг Пушкина — поэт князь Петр Андреевич Вяземский (1792—1877).

Он ушел на войну добровольцем. 24 августа — за два дня до Бородинской битвы — Вяземский писал жене, отправленной им в Ярославль:

«Я сейчас еду, моя милая. Ты, бог и честь будут спутниками моими»².

О вступлении своем добровольцем в народное ополчение и об участии своем в Бородинском сражении П. А. Вяземский рассказав в своем «Воспоминании о 1812 году». Ввиду редкости сочинений Вяземского и высокой занимательности и правдивости рассказа приводим большую выдержку из него:

«Я никогда не готовился к военной службе. Ни здоровье мое, ни воспитание, ни наклонности мои не располагали меня к этому званию. Я был посредственным ездоком на лошади, никогда не брал в руки огнестрельного оружия... Одним словом, ничего не было во мне воинственного... Но все это было отложено в сторону пред общим движением и

¹ Жуковский, Сочинения, 1902 г., т. XII, стр. 53.

² Остафьевский архив князей Вяземских, том V, вып. II, СПб, 1909, стр. 7.

важностью обстоятельств. Полк наш или зародыши нашего полка стояли тогда около Петровского двора. Туда был наряжаем и я на дежурства, делал смотры, переклички и сам не верил, глядя на себя... Милорадович предложил мне принять меня к себе в должности адъютанта. Разумеется, с охотою и признательностью принял я это предложение».

Вяземский вступил в исполнение своих обязанностей адъютанта на Бородинских битвах в самый канун знаменитой битвы.

Он застал Милорадовича «перед разведочным огнем. Поздравив меня с приездом совершенно кстати, потому что битва на другой день была почти несомненна, он отпустил меня... На другое утро, с рассветом, разбудила меня вестовая пушка. Наскоро оделся я и пошел к Милорадовичу. Все были уже на конях. Но, на беду мою, верховая лошадь моя, которую отправил я из Москвы, не дошла еще до меня. Все отправились к назначенным местам. Я остался один. Минута была ужасная. Меня обдало холодом и унынием. Мне же и во представилась вся несомнённость, вся комическо-трагическая шеловкость моего положения. Принехать в армию, как парочку, ко дню сражения и в нем не участвовать!.. Мне тогда казалось, что если до конца сражения не добуду себе лошади, то непременно застрелюсь...

По счастью, незнакомый мне адъютант Милорадовича, юнкер, случайно подъехал и, видя мое отчаяние, предложил мне свою запасную лошадь.

Образовавшись, я, как будто спасенный от смерти, выехал в поле и присоединился к свите Милорадовича. Я так был неопытен в деле военном и такой мирный московский барич, что свист первой пули, пролетевшей надо мною, принял я за свист хлыстика. Обернулся назад и, видя, что никто за мной не едет, догадался об истинном значении этого свиста.

Вскоре потом ядро упало к ногам лошади Милорадовича. Он сказал: «Бог мой, видите, неприятель отдает нам честь...» К сожалению, не встретился на поле сражения с Жуковским, который так же, как и я, на скорую руку был посвящен в воины. Он с Московскою дружиною стоял в резерве несколько поодаль. По был и он под ядрами, потому что Бородинские ядра всюду долетали...

Данная мне адъютантом юнкером лошадь была пулею прострелена в ногу и так захромала, что не могла уже мне служить.

И вот я опять отправился по образу пешего хождения.

А за Милорадовичем на поле сражения пешком угнаться было невозможно: он так и ле-

тал во все стороны. Когда равняли лошадь егою мною, неизъяснимое чувство то радости, то самодовольства пробудилось во мне и меня воодушевляло. Мне в эту минуту сделалось, что я незаром облачился в казачий чекмень. Я пенял значение французского выражения «*Le barbet de feu*»¹. Хотя, собственно, был ранен не я, а только неповинная моя лошадь, но все же был я в опасности и так же мог быть ранен. Я даже жалел, что эта пуля не попала мне в руку или ногу... Адъютант Милорадовича Д. Г. Бибиков сжался надо мною и дал мне свою запасную лошадь. Но и ему за оказанное одолжение не посчастливилось: вскоре затем ядром оторвало у него руку.

Спустя немного времени после сделанной ему операции видел я его: он был спокоен духом и даже шутил.

Милорадович вел в дело дивизию А. Я. Бахметьева, находящуюся под его командой. Под Бахметьевым была убита лошадь. Он сел на другую. Спустя несколько времени ядро раздробило ногу ему. Мы остановились. Ядро, упав на землю, зашипело, завертелось, взвилось и разорвало мою лошадь. Я остался при Бахметьеве. С трудом уложили мы его на мой плащ и с несколькими рядовыми понесли его подале от огня.

Но и тут, лузем, сопровождали нас ядра, которые падали направо и налево, перед нами и позади нас. Жестоко страдая от раны, терпел извьявлял желание, чтобы меткое ядро окончательно добило его. Но мы благополучно донесли его до места перевязки. Это тот самый Бахметьев, при котором позднее Батюшков шаходился адъютантом...

Не помню, по какому случаю, уже поздним вечером, попал я в избу, где лежал тяжело раненый князь Багратион.

Не только мое частное, неслытное впечатление, но и общее между военными, тут находившимися, мнение было, что Бородинское дело было нами не проиграно. Все еще были в таком восторженном настроении духа, все были такими живыми свидетелями отчаянной храбрости наших войск, что мысль о неудаче или о полудаче не могла никому приходить в голову»².

Вслед за Жуковским и Вяземским готовился вступить в народное ополчение и писатель старшего поколения Николай Михайлович Карамзин (1766—1826). Прославленный автор «Бедной Лизы» и «Писем русского путешественника» в это время носил официальное звание «историографа» и

¹ Крещение огнем.

² П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений, т. VII, СПб, 1862, стр. 201—207.

был занят писанием «Истории Государства Российского».

Но за шесть дней до Бородина Карамзин писал из Москвы И. И. Дмитриеву: «Я переехал в город, отправил жену и детей в Ярославль с бриухатою княгиницою Вяземскою, сам живу у графа Ф. В. Растопчина и готов умереть за Москву, если так угодно богу... Я рад сесть на своего серого коня и вместе с Московскою удаюю дружиною применить к нашей армии. Я простился с историей»¹.

Известно, что Кутузова обвиняли в бездействии, в оставлении Москвы без боя, в бесконечном отступлении внутрь России. Обвинения эти старый фельдмаршал слышал и от царя, и от молодого офицера, и от Растопчина, и от иностранного дипломатического агента. В это время, когда наветы носились в воздухе между Петербургом и штабом Кутузова, Жуковский выступил с хвалою полководцу Кутузову.

В лагере под Тарутинным, незадолго до знаменитого сражения, показавшего всем, что русские войска не только могут мужественно сражаться и обороняться от армии Наполеона, но и наносить ей поражение, в лагере под Тарутинным Жуковский написал своего «Певца во стане русских воинов».

Лейтмотив стихотворения — призыв к беспощадной борьбе с врагом, зов к воинствующей непримиримости:

Меч во длань!
Внимай нам, вечный Мститель!
За гибель — гибель, брань — за брань,
И казнь тебе, губитель!

Подобно Грибоедову в его «1812 году» Жуковский вызывает воинственные тени Святослава, Дмитрия Донского, Петра, Суворова, — каждый из них — «предтеча в бой» за честь родины. Жуковский производит как бы смотр вождей русского воинства, оценивая доблесть и подвиги каждого из них.

Причемательно, что в их числе, как живые вожди, упоминаются павшие при Бородине Багратион и Кутайсов и, наоборот, в числе живых нет Растопчина, врага Кутузова, нет Винценгероде, также враждебного Кутузову, и нет Барклай де-Толли, оставившего армию по недовольству. Центральное лицо, к которому взывает «Певец» как к народному вождю, — это старый фельдмаршал:

Хвала тебе, наш бодрый вождь,
Герой под селинами!
Как юный ратник, вихрь и дождь,
И труд он делит с нами!
О, сколь с израненным челом

Пред строем он прекрасен!
И сколь он хладен пред врагом,
И сколь врагу ужасен!
О, диво! се орел прозрил
Над ним небес равнины..
Могучий вождь главу склонил;
Ура! Кричат дружины.
Лети ко прадедам, орел,
Пророком славной мести!
Мы тверды: вождь наш перешел
Путь бибели и чести;
С ним опыт, сын труда и лет;
Он бодр и с сединою;
Ему знаком победы след..

В этих прекрасных и сильных словах — вся биография любимого ученика Суворова, потерявшего глаз при штурме Измаила, и вместе с тем в этих же словах заключена предельно высокая оценка Кутузова как вождя в текущей отечественной войне. Указав на высокие доблести Кутузова как человека и полководца, «певец» обращался к военным и штатским обвинителям Кутузова, а в их числе, конечно, и к царю, с требованием:

Доверенность к герою..
Нет, други, нет! не предана
Москва на расхищенье!
Там стены.. в Россах вся она!
Мы здесь — и бог наш мщенье!

Жуковский раскрывает, согласно с заветным мнением самого Кутузова, смысл оставления Москвы; обращаясь к Наполеону, поэт грозит ему пожаром еще более страшным, чем пожар Москвы, — неугасимым пламенем народной войны:

Сокровищ нет у нас в домах!
Там стрелы и кольчуги;
Мы села — в пепел! грады — в прах!
В мечи — серпы и плуги!
Злодей! Он лезтью приманил
К Москве свои дружины;
Он низким миром нам грозил
С Кремлевския вершины.
«Пойду по стогнам с торжеством!
Пойду.. и все восплещет!
И в прах падут с свѣжим царем!..»
Пришел.. и сам трепещет;
Подвигло мщенье Москву:
Вспылала пред врагами
И грянулась на их голову
Губящими стенами.
Веди ж своих царей-рабов
С их стаей в область хлада;
Пробей тропу среди снегов
Во сретенье глада..
Зима, союзник наш, гряди!
Им заперт путь возвратный;
Пустыни в пещле позади;
Пред ними сонмы ратны¹.

В словах этих нельзя не видеть поэтического отзвука самых заветных мыслей Кутузова о том, что в Москве Наполеон вырыл себе могилу и что гибель его армия пред-

¹ Письма И. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб. 1866, стр. 165.

¹ Жуковский, т. II, стр. 4—7.

определена всеми историческими и природными условиями борьбы с ним русского народа.

Всего через месяц после Тарутинского сражения, после победоносного для русских сражения под Красным, Жуковский обратится к Кутузову с посланием, уже озаглавленным: «Вождю победителей».

Жуковский явился выразителем народного отношения к Кутузову как к истинному вождю народной борьбы с Наполеоном.

Другим выразителем этого народного отношения к Кутузову, другим поэтическим сторонником против его врагов в придворно-официальных кругах явился писатель, имевший в то время самый широкий доступ к народному читателю, — баснописец Иван Андреевич Крылов (1769—1844). В самую спокойную из литературных форм, в басню, он внес политическую и военную тревогу своей эпохи. В басне «Шука и кот» Крылов с едким сарказмом высмеял неудачливого адмирала Чичагова, упустившего Наполеона под Березиной: уведомленный Кутузовым («Кот» крыловской басни) о переправе войск Наполеона через Березину, у Студенки, Чичагов, как уверяла в то время обшая молва, из-за вражды к Кутузову намеренно зашел в войсками и благодаря этому дал возможность Наполеону переправиться с остатками армии на правый берег. В басне «Ворона и журица» Крылов начинает с того, что изображает оставление Москвы не промахом Кутузова, как казалось Александру I, а, наоборот, обдуманном ходом его стратегии:

Когда Смоленский князь,
Противу дерзости искусством вооружась,
Вандалам новым сеть поставил
И на погибель им Москву оставил..

В этих словах как нельзя более ясно Крылов присоединяется к тем, кто, подобно Жуковскому, А. П. Тургеневу, Д. Давыдову и др. и вопреки приговору Александра I, Беннигсена, Растищина и др., видел в оставлении Кутузовым Москвы великолепно расставленную «сеть» Наполеону. Оставление Москвы жителями, уход населения из столицы Крылов рассматривал в своей басне точно так же, как впоследствии рассматривал его Л. Толстой в «Войне и мире», — как акт народной борьбы против завоевателя:

Топла все жители, и малый и большой,
Часа не тратя, собралися
И вон из стен московских поднялися,
Как из улья пчелиный рой.

Любопытно, что даже это сравнение Москвы с пчелиным роем, оставляющим улей, находим у Толстого: ему посвящена 22-я глава 3-й части III тома «Войны и мира».

В басне «Волк на псарне» Крылов показывает лицом к лицу «седого довчего» — Кутузова — с «серым забиякой» — Наполеоном: басня излагает историю тщетных попыток Наполеона вступить с Кутузовым в переговоры о мире (посылка Лористона в ставку Кутузова с письмом Наполеона). Вся Россия, и в том числе сам Кутузов, повторяла наизусть конец басни:

Ты сер, а я, приятель, сед,
И волчью вашу я давно натуру знаю;
А потому обычай мой:
С волками иначе не делай мировой,
Как снявши шкуру с них долой.
И тут же выпустил на волка гончих стаю.

Крылов послал басню «Волк на псарне» Кутузову с полковником Мишо, привезшим фельдмаршалу награды от Александра за Тарутинскую победу.

Стихи Жуковского, басни Крылова, исполненные народной мудрости, дышали уверенностью в том, что Наполеону никакими усилиями не залить пламя народной войны и что Кутузов знает путь — единственный путь, — ведущий к победе.

Нет необходимости доказывать, что стихи Жуковского, басни Крылова поднимали дух в обществе и устанавливали верный взгляд на оставление Москвы как на поражение ее завоевателя.

Александр Иванович Тургенев (1784—1845), друг Жуковского и Вяземского, писал последнему: «Зная твоё сердце, я уверен, что ты не о том, что потерял в Москве, не о самой Москве тужишь и о славе имени русского; но Москва снова возникнет из пепла, а в чувстве мщения найдем мы источник славы и будущего нашего величия. Ее развалины будут для нас залогом нашего искупления, нравственного и политического; а зарево Москвы, Смоленска и пр. рано или поздно осветит нам путь к Парижу. Это не пустые слова, но я в этом совершенно уверен, и события оправдают мою надежду. Война, сделавшись национальною, приняла теперь такой оборот, который должен кончиться торжеством севера и блистательным отмщением за бесполезные злодейства и преступления южных варваров. Ошибки генералов наших и неопытность наша вести войну в недрах России, без истощения средств ее, могут более или менее отдалить минуту избавления и отражения удара на главу виновного: но постоянство и решительность правительства, готовность и благоразумие народа и патриотизм его, в котором он превзошел самих испанцев, ибо там многие покорялись Наполеону и составлялись партии в пользу его; а наши гибнут, гибнут часто в неизвестности, для чего нужно более геройства, нежели на самом поле

сражения; наконец, пример народов, уже покоренных, которые, покрывшись стыдом и бесславием, не только не отразили удара, но даже и не отсрочили бедствий своих (ибо конскрипции съедают их, и они, участвуя во всех ужасах войны, не разделяют с французами славы завоевателей-разбойников), — все это успокаивает нас на счет будущего, и если мы совершенно откажемся от эгоизма и решимся действовать для младших братьев и детей наших и в собственных настоящих делах видеть только одно отдаленное счастье грядущего поколения, то частные неудачи не остановят нас на нашем поприще. Беспредельные лишения и лишения милых близких не погружат нас в совершенное отчаяние, и мы предназначимся будущему... И, по моему уверению, весьма близким воскресением нашего отечества. Близким почитаю я его потому, что нам довелось играть последний акт в европейской трагедии, после которого автор ее должен быть непременно освящен. Он лопнет или с досады, или от бешенства зрителей, а за ним последует вся труппа его. Сильное сие потрясение России освежит и подкрепит силы наши и принесет нам такую пользу, которой мы при начале войны совсем не ожидали»¹.

Лучшая оценка этого замечательного письма А. И. Тургенева, хранившего в ту пору по рукам, принадлежит адресату письма, Вяземскому:

«Немногие из политических и государственных людей того времени так спокойно и верно смотрели на совершающиеся события, так здраво оценивали последствия и плоды, которые Россия могла бы извлечь из нагрянувшего на нее бедствия, и так метко указывали на развязку этой потрясающей и кровавой драмы.

Остолопов, которому в Вологде показывал я это письмо, присвоил себе и переложил на стихи одну строку из сего письма. В одном из стихотворений своих сказал он:

Но что еще предвижу?
 Нам зарево Москвы осветит путь к
 Парижу»².

Оставление Москвы ее населением и пожар Москвы были восприняты русским народом, как самоотверженная жертва, принесенная для спасения России. Участник войны 1812 года Ф. Н. Глинка в своем стихотворении «Москва» обращался впоследствии к героиче-

скому городу с пламенным приветом от лица русского народа:

Ты не гнула крепкой выи
 В бедовой своей судьбе:
 Разве пасынки России
 Не поклонятся тебе!..
 Ты, как мученик, горела,
 Белжаменная!
 И река в тебе кипела
 Бурно-пламенная..
 И под пеплом ты лежала
 Положенною,
 И из пепла ты восстала
 Неизменяю»¹.

Это стихотворение Ф. Н. Глинки сделалось народной песней, бытовавшей на всем пространстве России.

В непосредственном отклике русских людей 1812 года на разграбление Москвы французами и на ее пожар господствует одно чувство: желанье отплаты, воинственного возмездия. После занятия Москвы французами усиливается, в несравненной степени, партизанское движение и увеличивается приток добровольцев в народное ополчение.

Поэт Константин Николаевич Батюшков (1787—1855) отозвался на события стихотворением, в котором замечательен призыв к отомщению врагам родины:

Нет, нет! пока на поле чести
 За древний град моих отцов
 Не понесу я в жертву мести
 И жизнь, и к родине любовь,
 Пока с израненным героем,
 Кому известен к славе путь,
 Три раза не поставлю грудь
 Перед врагом сомкнутым строем —
 Мой друг, доколе будут мне
 Все чужды Музы и Хариты,
 Венки, рукой любовью свиты,
 И радость шумная в вилле!»²

Батюшков исполнил клятву, данную в этом послании³. Он отказался от стихов с Музами и Харитами, составившими ему славу. Он вновь вступил в военную службу, прошел с русской армией путь к Парижу, был участником памятных событий, когда под стенами Парижа французы выслали офицера для переговоров и пушки замолчали. «Раненые русские офицеры. — рассказывает Батюшков, — проходили мимо нас и поздравляли с победою. «Слава богу! Мы увидели Париж со шпагою в руках!» «Мы отомстили за Моск-

¹ Сборник лучших произведений русской поэзии. Изд. Николая Щербины, СПб, 1858, стр. 74—75.

² К. Н. Батюшков. Сочинения. «Academia». М.—Л. 1934, стр. 87—88. Далее цитируется Батюшков.

³ Послание это к В. Д. Дашкову имело большой успех у читателей, отвечая их патриотическим чувствам. За два года (1812—1814) оно было четыре раза напечатано в разных изданиях.

¹ Остафьевский архив князей Вяземских, том I, СПб, 1899, стр. 6—7.

² «Русский архив», 1866, столбец 218. Приведенные Вяземским стихи взяты из послания Н. Ф. Остолопова (1782—1833) к Кутузову: «Победителю Наполеона» (СПб, 1813).

ву!» — повторяли солдаты, перевязывая раны своя»¹.

Подобные же чувства благородней и великодушной мести за Москву переживал в Париже другой русский офицер-поэт, будущий лекабрист, Кондратий Федорович Рылеев (1795—1826). Он был кадетом 1-го петербургского кадетского корпуса, когда разразилась гроза 1812 года. Он страстно рвался в бой за родину, мечтая о героических подвигах. В письме к отцу от 7 декабря 1812 года он писал, что слышит голос сердца: «Иди смело, презирай все несчастья, все бедствия и, если оные постигнут тебя, то переноси их с истинною твердостью, и ты будешь героем, получишь мученический венец и вознесешь-ся превыше человеков».

Мечта Рылеева как можно скорее ринуться в бой с неприятелем не сбылась: он только в феврале 1814 года был выпущен прапорщиком в артиллерийскую бригаду — и в конце февраля был уже в Дрездене.

После девятимесячного заграничного похода, в конце декабря 1814 года, он вернулся со своей артиллерийской бригадой в Россию, но в апреле 1815 года, после возвращения Наполеона с острова Эльбы в Париж, вновь выступил в заграничный поход.

На этот раз Рылееву привелось воюли в Париж. В письме из Парижа от 15 сентября 1815 года Рылеев выражает изумление пред величием событий, участником которых ему привелось быть:

«Помнишь ли, как мы читали исторические описания славных деяний Рима и древней Греции? Это басни! — восклицал ты часто. Сообрази теперьшний случай с тогдашними, и ты увидишь, что происшествия наших времен более достойны удивления, более невероятны, нежели все до оных в мире случившееся — и ежели мы не верим чрезвычайным событиям лет протекших, то не знаю, как поверят потомки наши прошествиям, которые происходили при глазах наших. И как поверить, что один ничтожный смертный был причиной столь ужаснейших политических переворотов! Как поверить, что в продолжение не более как десяти лет возрождалось и упало до десяти государств, восстанавливалось и низвергалось несколько монархов — и все по прихотям одного человека! Как наконец поверить, что сей самый человек, неоднократно повелевавший Судьбе, сам подпал под острые копы сей владычицы Мира!»².

Рылеев гордится тем, что это грозное веление судьбы совершил великий русский народ. Среди поэтов и писателей, борющихся с

Наполеоном лирой и мечом, нельзя забыть первого из писателей, вступившего в народное ополчение 1812 года, Сергея Николаевича Глинки (1775—1847).

Пьесы С. П. Глинки производили сильное действие на зрителя эпохи отечественной войны. Один из современников — Н. А. Полевой — вспоминает: «Когда давали пьесу «Минин» С. Н. Глинки, зрители хлопали с восторгом каждому стиху, имевшему отношение к тому, что происходило на великом театре отечественной брани. Когда Минин восклицал:

Бог сил! Предшествуй нам, правь нашими рядами,
Дай нам всем умереть отечества сынами! —

степы потрясались от «ура» и рукоплесканий».

Глинка оставил одно из самых живых повествований о 1812 годе в своих «Записках о 1812 годе», в «Записках о Москве и о заграничных происшествиях от исхода 1812 г. до половины 1815 г.». В повествовании Глинки есть герой — русский народ, отразивший могучего завоевателя, и есть героиня — Москва, пригласившая себя в жертву за народное освобождение.

По стопам старшего брата шел Федор Николаевич Глинка (1786—1880), известный поэт. Участник первой войны с Наполеоном (1805—1806) и походов 1812—1815 годов, он издал в 1808 году примечательные «Письма русского офицера» об этих войнах, сражаясь против Наполеона мечом и пером.

Другой русский офицер, Иван Павлович Лажечников (1795—1869), будущий автор «Ледяного дома», также участник борьбы с Наполеоном, отразил ее в своих «Пухотных записках русского офицера». СПб, 1820 г.

Автор сатиры «Дом сумасшедших» Александр Федорович Воейков (1778—1839) также вступил в армию и вышел в отставку не прежде, как Наполеон был изгнан из пределов России.

В. К. Кюхельбекер, А. А. Дельвиг, А. С. Пушкин были еще в те годы на школьной скамье, но и они рвались уже с лирой и мечом на общую борьбу.

Дельвиг в 1814 году напечатал патристическую оду «На взятие Парижа». Мать Кюхельбекера едва могла удержать его в октябре 1812 года — в эпоху страданий Москвы — от поступления в добровольцы.

Пушкин в 1815 году писал с восторгом об освобождении родины и низложении проного завоевателя:

Вотще надменные на родину летели;
Вотще вперед знамен бесчисленных

дружин

¹ Батюшков, стр. 404—406.

² Рылеев, 429, стр. 474.

В могущей дерзости венчанный исполнил
На гибель грозно шел, влек цепи за собою:
Меч огненный блеснул за дымною Москвою!
Звезда губителя потухла в вечной мгле,
И пламенный венец померкнул на челе!

Не будучи участником «великих дел», подобно Жуковскому, Вяземскому, Давыдову, Батюшкову, Рылееву, Гребоедову, Пушкин многие свои лучшие страницы и строфы написал, по его собственному выражению, «Славою двенадцатого года». В его стихах, посвященных «чудесному походу», восстает и пылающая Москва, и народный вождь Кутузов, и осторожный его предшественник и преемник Барклай де-Толли, и поэт-партизан Денис Давыдов, и Наполеон.

Все, совершенное тогда Россией, ее народом, армией и ее певцами, владевшими лирой и мечом, Пушкин выразил в немногих, но пол-

ных высокого смысла словах. Обращаясь к «Клеветникам России», поэт вопрошал:

Ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?

Не будет преувеличением сказать, что отечественная победоносная война 1812 года, сопровождавшаяся могучим подъемом национального самосознания, выдвинула Пушкина — родоначальника великой русской литературы.

Воскрешая здесь славные предания союза меча и лиры, пожелаем, чтобы таким же тесным и плодотворным был этот союз в наши дни, как в исторические дни 1812 года.

ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДСТВО

„История русской литературы“

Том первый¹

Выход первых томов десятитомной «Истории русской литературы» Академии Наук СССР совпадает с началом священной отечественной войны Советского Союза против гитлеровской Германии. В дни, когда наша родина начала великую борьбу за освобождение всего человечества от гнета фашистского мракобесия, попирающего тысячелетние национальные культуры, осознание культурного прошлого нашего собственного народа имеет особое значение. В настоящей рецензии мы не будем останавливаться на задачах всего издания в целом, на его плане, изложенном в редакционном введении (стр. I—XI). Это — задача особой критической статьи. Мы ограничимся характеристикой и разбором первого тома, посвященного древнейшему периоду истории нашей литературы. Этот древнейший период — до татарского нашествия (начала XIII века) — сейчас тоже заслуживает нашего пристального внимания. В первые века древняя русская литература, то есть литература восточных славян, из которых развились в результате своеобразного исторического процесса русский, украинский и белорусский народы, выступает на арену истории в тесной связи с другими славянскими литературами (в первую очередь южнославянскими). Ее самобытность, оригинальность переработки элементов византийской культуры, усвоенных вместе с христианством, — ярчайшее доказательство огромных творческих сил, заложенных в славянских народах. Этот период

завершается лучшим созданием поэтического течения русского народа — «Словом о полку Игореве», произведением, равного которому по глубине лирики, по силе патриотизма, по беспредельной любви к родной земле нет во всей европейской литературе эпохи феодализма.

На протяжении более чем ста лет «Слово о полку Игореве» было предметом пристального изучения, на котором выковывались и оттачивались научно-исследовательские методы. Почти то же можно сказать и о русской летописи. Много было сделано для изучения повестей, житий и других жанров. Много памятников было издано к началу XX века на высоком критическом уровне, с использованием большого числа списков, изученных в их хронологическом и «генеалогическом» отношении. Более мелодкая текстология новой русской литературы во многом училась у своей предшественницы.

И тем не менее перед советской литературной наукой и в этой области встали большие не только не решенные, но часто и не поставленные раньше задачи. Анализируемый коллективный труд многие из этих вопросов и ставит и в общем правильно решает.

Первый том «Истории русской литературы» имеет общее введение, как будут иметь его и все последующие тома. В «Историческом обзоре» М. Д. Приселкова (к сожалению, посмертном) основные вопросы разрешаются в том духе, в каком их разрешает сейчас советская историческая наука, для которой в области изучения Киевской Руси так много сделал академик Б. Д. Греков. Это не значит, что такой крупный историк, как М. Д. Приселков, не оригинален: он во многом подводит итог своим собственным прежним трудам, но основные принципы этих трудов существенно им пересмотрены. Особенно хочется подчеркнуть характеристику Византийской империи

¹ Академия Наук СССР. Институт Литературы (Пушкинский дом). История русской литературы. Том I. Литература XI — начала XIII века. Редакторы тома акад. А. С. Орлов, проф. В. П. Адрианова-Перетц, проф. Н. К. Гудзий. М.—Л., изд-во Академии Наук СССР, 1941, XI, стр. 402. Цена 20 р. 75 к. Тираж 15 000.

(стр. 6), свободную от упрощенного схематизма.

Во второй части «Исторического обзора», написанной академиком А. С. Орловым, безусловно недостаточно освещен вопрос о положении Киевского государства в его отношениях к Западной Европе, о его дипломатических и торговых сношениях, о брачных связях киевских князей (несколько фраз на стр. 10 и 18—20 недостаточно). Здесь автор — увы! — не отходит от традиционной точки зрения, которую он, наверное, и сам не разделяет. Но при чтении получается впечатление, что Киев был связан только с Византией и балканскими славянами, а от Западной Европы был и в XI—XIII веках так же оторван, как и после татарского завоевания. Это — искажение исторической действительности, которое, может быть, явилось результатом излишнего стремления редакции к краткости. Совершенно свободна от этого недостатка следующая глава об искусстве Д. В. Айналова, для которого «претворение художественным гением Киевской Руси культурного наследия сасанидского Востока, романского Запада, Кавказа и особенно античности в оригинальных произведениях исключительной высоты становится достоверным фактом» (стр. 26).

Глава III («Образованность и литературный язык Киевской Руси») снова принадлежит акад. А. С. Орлову, которому уже раньше мы были обязаны новой постановкой вопроса о русском литературном языке, намечавшей ликвидацию разрыва между работой лингвистов и литературоведов. Высоко оценивая культурный уровень Киевской Руси (стр. 41), этот очерк свободен от тех крайних переоценок, которыми грешили труды акад. А. И. Соболевского. Едва ли, однако, можно допустить вместе с автором (ср. стр. 45) существование «чисто» русского языка в письменных памятниках. Русский язык, бывший бесписьменным до принятия христианства, под пером любого грамотного человека (который учился все-таки церковно-славянской, а не особой русской грамоте) не мог, разумеется, быть совершенно свободен от славянизмов, как это допускает А. С. Орлов для «Русской правды» и грамот.

Мы не будем, за недостатком места, специально останавливаться на всем разделе переводной литературы (стр. 53—208). Отметим здесь значительный шаг вперед в направлении выделения художественных жанров из общей массы письменности (по сравне-

нию с курсами Порфирьева, Сперанского и самого акад. Орлова).

Кроме того, некоторые главы этого раздела написаны слишком сухо и слишком загромождены именами, названиями и датами. Особенно грешат этим статьи «Общая характеристика» А. С. Орлова (стр. 53—59) и «Византийская историческая литература» В. Ф. Покровской (стр. 114—134). Из частности нужно отметить устаревшее представление М. А. Яковлева о роли Грузии в истории повести «Варлаам и Иосиф» (стр. 163). Эта роль вовсе не сводится только к паличню верени «Мудрость Балавара». Новые грузинские рукописи, введенные в научный оборот советскими грузиноведами, существенно меняют здесь положение дела, по-иному освещая проблему генезиса повести в византийской литературе.

Главную часть книги, наиболее интересную для широкого читателя, составляет раздел «Русская (то есть оригинальная) литература» (стр. 211—402). Без преувеличения можно сказать, что все главы стоят на высоком научном уровне. Здесь ни одна из них не засушена, и в редакционном отношении этот раздел не страдает стилистическим и композиционным разнобразием, как предыдущий. Здесь и «Общая характеристика» акад. Орлова написана гораздо живее. Достоинства главы А. И. Никифорова «Фольклор киевского периода» уже отмечались в нашей печати. Нельзя, однако, не указать на одну существенную несогласованность: характеристика «Владимировых богов» у А. И. Никифорова (стр. 218—219) никак не вяжется с упомянутой характеристикой Д. В. Айналова (стр. 26—27). Мы говорили о нерешенности этого вопроса в литературной науке, но редколлегия коллективного труда должна была добиться здесь единообразия.

Главу о «Слове о полку Игореве» хотелось бы видеть еще более распространенной и детальной; в частности в конце совершенно необходимо было дать отдельным параграфом краткий историографический обзор изучения памятника.

В общем, перед нами ценнейший труд, который принесет большую пользу: он заинтересует читателя нашей прекрасной древней русской литературой и даст правильное освещение ее исторического развития.

Борис Горнунг

Пятым томом «Истории русской литературы» открывается рассмотрение истории новой русской литературы — непосредственно предпушкинского ее периода.

В общем редакционном предисловии ко всему изданию, опубликованном в первом томе, справедливо отмечается новизна, даже до известной степени беспрецедентность «Истории», являющейся одним из самых фундаментальных и значительных начинаний советского литературоведения. В частности, подчеркиваются принципиальные отличия новой «Истории» от широко популярной до самого последнего времени, хотя и явно устарелой, «Истории русской литературы» под редакцией Д. Н. Овсяннико-Куликовского.

Эти отличия рельефно проступают и на материале данного тома, сказываясь не только в освещении рассматриваемых литературных явлений, но и в самом охвате и группировке их.

Прежде всего в данном томе существенно раздвинуты границы привлекаемого и исследованного материала. Помимо традиционных статей, посвященных деятельности корифеев предпушкинской литературы, в томе находим несколько монографических статей, исследующих творчество таких относительно второстепенных, но вместе с тем по-своему значительных литературных деятелей, как А. Измайлов. Затем — и это еще важнее — наряду с монографическими статьями об отдельных писателях мы имеем в томе ряд глав, ставящих своей задачей исследовать на очень большом, «массовом» материале мелких явлений и фактов развитие отдельных литературных видов и жанров, то есть охватить литературный процесс не только в его вершинных проявлениях, но и в его непрерывной динамике (главы «Сентиментальная повесть и литература путешествий», «Сатирическая поэзия начала 1800 годов», «Комедии первой четверти XIX века» и др.). Наличие этих глав, написанных в большинстве своем научно-содержательно, насыщенных сравнительно мало известным материалом, является, несомненно, положительной чертой данного тома. К этим же главам примыкают две статьи, посвященные «Областной литере-

туре в первой четверти XIX в.» и «Воине 1812 года в русской литературе». Правда, автору первой статьи, проф. Н. К. Шксанову, обосновать наличие у нас в рассматриваемый период особой областной литературы не удалось, ибо такой литературы и не было (в статье, в сущности, говорится всего лишь о деятельности нескольких писателей — уроженцев того или иного не столичного города). Но некоторые свежие и интересные наблюдения в статье имеются. Представляет несомненный, а в наше время и особенно актуальный интерес статья А. П. Грушкина под несколько неточным заглавием «Воина 1812 года в русской литературе» (на самом деле в статье рассматриваются отражения войны 1812 года всего лишь в литературе десятих годов прошлого века, причем по явной оплошности не упомянуты известные «Воспоминания в Царском селе» Пушкина).

Существенно новой в данном томе является и группировка материала. В соответствии с общей и принципиально правильной установкой всего издания в целом — дать периодизацию развития русской литературы, исходя из известных замечаний товарищей Сталина, Жданова и Кирова на учебники по истории, — в качестве начального исторического рубежа для периода новой литературы взят не традиционный 1801, а 1789 г. — начало буржуазной французской революции.

Однако расчленение литературного материала в соответствии с новой исторической датой проведено явно непосредственно. В рамках литературы «первой половины XIX века» (общее и, конечно, в связи с принятой новой периодизацией, неточное название тома) вводится Карамзин, все художественное творчество которого падает в основном на последнее десятилетие XVIII века. В то же время за пределы тома выведена деятельность Радищева, которая не только протекает — в самом основном и существенном — в тех же хронологических границах, что и художественное творчество Карамзина, но и вообще представляет явление, литературно параллельное последнему — по справедливой формуловке общего редакционного предисловия, «демократическую» линию в развитии русского сентиментализма в противоположность «дворянской» линии Карамзина.

Несомненным и едва ли не самым значительным достоинством нового издания являются его методологическое единство и выдержанность, столь выгодно отличающие его от беспринципно-эkleктической «Истории русской литературы» под ред. Овсяннико-Куликовского, представлявшей собой, в сущности, конгломерат случайных статей, принад-

¹ История русской литературы. Том V. Литература первой половины XIX века. Ч. I. Редакторы тома проф. В. В. Гиппиус, проф. В. А. Десницкий, Б. С. Мейлах. Изд-во Академии Наук СССР. М.—Л., 1941, стр. 435. Тираж 25 000. Цена 23 руб.

лежавших перу авторов, зачастую совершенно различных по своему общему мировоззрению и методологическим установкам. Наличие в томе обширной вводной статьи проф. В. А. Десницкого «Социально-политические и культурно-исторические предпосылки развития русской литературы в конце XVIII и начале XIX века» позволяет авторам остальных статей сосредоточиться на анализе собственно литературного материала.

Коллективность работы не совсем благоприятно сказалась в другом отношении. Не все статьи тома равнокачественны. Наряду со статьями, представляющими собой результат углубленного и самостоятельного научно-исследовательского изучения автором того или иного вопроса (статьи о Батюшкове, Жуковском, Гнедиче и др., большинство статей, посвященных развитию литературных жанров), в томе имеются отдельные статьи и чисто компилятивного характера. В некоторых случаях изложение оказывается чересчур конспективным, — анализ материала почти подменяется подчас обзорно-библиографической его сводкой. Обширная глава о Карамзине проф. Гукковского почти дословно перепечатана из его вузовского учебника по истории русской литературы XVIII века.

Встречаются у отдельных авторов и неправильные утверждения, иногда прямые погрешности и ляпсусы. Например, в ценной статье П. П. Верховского о Батюшкове явно преувеличено подавляющее воздействие на последнего «реакционной обстановки середины десятих годов». Автор отличной, хотя и чересчур законспектированной статьи о Жуковском, Ц. С. Вольпе, опираясь на цитату из одного относительно раннего высказывания Белинского, в которой критик провозглашает Жуковского главой совсем особого периода в развитии русской литературы, недопустимо умалчивает, что в своих окончательных суждениях о Жуковском Белинский становится на прямо противоположную точку зрения. Неверно, что «Николай Эмин был первым писа-

телем в России, включившим стихи в роман» (стр. 110). Традиция такого включения существовала в нашей литературе, начиная с рукописных повестей петровского времени. Целиком построена на этом «Езда в остров любви» Тредиаковского (перевод романа Поля Таллемана). Об одном из писем крыловской «Почты духов» читаем: «Здесь изображена приемная «вельможи», много раз уже бывшая предметом сатиры и на Западе (Лесаж) и в России (Державин)» (стр. 24). На самом деле знаменитое описание приемной вельможи в «Вельможе» Державина появилось через несколько лет после крыловского письма, и т. д.

Большая часть статей написана ясным и простым языком. Есть и тяжеловесность и языковая небрежность, но они сравнительно немногочисленны (напр.: «Каждый русский человек оказывался освоенным с основными явлениями западной культуры» (стр. 87); «Отставной вахмистр... возвращается домой после двадцати лет службы на старом ряжане» (стр. 132); «Уж на этом заседании был выработанный, ставший традиционным шуточный тон «Арзамаса» (стр. 332); «Минуту русское литературное посредничество в виде переводов и подражаний в столичной печати... Каменев в подлинниках знакомился...» (стр. 345), и т. д. и т. д.

В заключение нельзя не высказать сожаления, что главной редакции «Истории русской литературы» не удалось добиться последовательности в выходе томов. После первого тома, посвященного самому древнему периоду нашей древней литературы, в руки читателя сразу дается том пятый, перебрасывающий его прямо в конец XVIII — начало XIX века.

Было бы весьма желательно, чтобы такой скачкообразный ход важного и ценного издания был по возможности в дальнейшем исправлен.

Д. Благой

„ГИТЛЕР ДОЛЖЕН ПАСТЬ“¹

«Если должен быть укреплен мир между народами, то Гитлер должен пасть. Если должна быть завоевана свобода германского народа, то Гитлер должен

пасть. Для того, чтобы устранить эксплуатацию человека человеком, Гитлер должен пасть. Для того, чтобы народы могли существовать, Гитлер должен пасть». Этими словами немецкого писателя Вилли Бределя открывается антифашистский сборник, изданный Институтом мировой литературы им. А. М. Горького. В словах этих звучит боевой лейтмотив книги.

В сборнике объединились писатели-антифа-

¹ «Гитлер должен пасть» — стихи и проза писателей-антифашистов. Под редакцией Е. Гальпериной. Академия Наук Союза ССР. Институт мировой литературы им. А. М. Горького. Издательство Академии Наук СССР. Москва — Ленинград, 1941, стр. 115.

шесты различных стран и народов: французы, немцы, испанцы и русские советские писатели. Всех их спаяло единое чувство: яростная ненависть к Гитлеру и фашизму.

«Мы должны выливать в сердцах людей ненависть. Пусть живые поймут, что нельзя жить на одной земле с фашистами», — так формулирует Илья Эренбург задачи, встающие перед писателем — современником и участником великой отечественной войны; он превращает свое перо художника и публициста в боевое оружие, разящее озверевшего врага. И позицию Ильи Эренбурга — советского писателя — полностью разделяют писатели-антифашисты всех стран. Никакой пощачины фашистским канпибачам! Непримиримая ненависть к врагу! — вот лозунги, вдохновляющие их творчество. Сегодня каждая строка, каждое слово должны служить великому делу освобождения всей земли от гитлеризма, должны разить, как пуля бойца. Прекрасно выражены эти настроения Поганнесом Бехером, который, обращаясь к гитлеровским молодчикам, с гневом и страстью пишет:

«Проклятой бандой» вас назвать не
ново,

Вас окрестили так уже давно.

Коричневым бандитам все равно,

Как их зовут. Они на все готовы.

Но часто я корю себя сурово

За то, что горькой виноват виной:

Что сразу не нашел такого слова,

Чтоб насмерть вас ужалило оно.

О, если б мог из слов я сделать смесь

Такую ядовитую, чтоб каждый

Из вас, глотнув ее, согнулся весь

И сдох, как пес, взбесившийся от

жажды, —

То с лютой ненавистью в тот же час

Такою смесью угостил бы вас!

В сборнике показано страшное лицо фашизма. Произведения, в него вошедшие, — обвинительный акт против гитлеровской Германии. И сила обвинения не только в истине, но и в художественной мощи образов.

В своих драматических сценах Брехт показывает сегодняшнюю Германию, показывает народ поработанный, охваченный разложением. В первых произведениях писателей-антифашистов, создававшихся непосредственно после прихода Гитлера к власти, фашистский разгул изображался как страшная катастрофа, как нечто немислимое, невероятное, — кошмар, от которого еще можно очнуться.

Но непрекращающийся фашистский террор, шпионы и палачи из гестапо, концлагери и пытки стали бытом. Большинство произведений, вошедших в сборник, рассказывает об

этом этапе жизни современной Германии. Страх сделался «естественным», привычным состоянием рядового человека в Третьей империи.

• «Путешественник, вернувшийся из
Третьей империи
И спрошенный, кто там воистину
властвует, ответил:

Страх».

«В страхе

Ученый прерывает диспут с коллегой я,
поблуднев,

Озирает тонкие стены своего кабинета.

Учитель

Лежит в кровати, не смыкая глаз,

стараясь понять

Темный намек, брошенный ему

инспектором.

Старуха в бакалейной лавчонке

Прижимает дрожащие пальцы ко рту,

чтоб удержать

Гневное слово по поводу скверной мук.

В страхе

Разглядывает врач кровоподтеки

своего пациента.

В страхе

Взирают родители на своих детей —

не предадут ли?

Даже умирающие

Заглушают угасающий голос,

Прощаясь с родными».

(Бертольд Брехт. «Ужасы режима».)

Страх обессиливает, толкает на подлость, на предательства, на измену. Страх развращает слабых. И те самые люди, которым гитлеровский режим не принес ничего, кроме горя и мучений, начинают участвовать в его преступлениях. Они участвуют уже одним своим молчанием, своей покорностью.

Молчит прославленный хирург, в клинике которого умирает человек, истерзанный штурмовиками (Б. Брехт. «Профессиональное заблуждение»).

Этот ученый, наставляя молодых врачей, требовал от них «не бояться направить свой взор на частную жизнь пациента», он учил, что «ошибочно рассматривать пациента только в клинической обстановке, вместо того чтобы спросить: откуда этот пациент, где он получил свою болезнь и куда пациент отправится по излечении».

«Хирург. ...Какже три вещи обязательны для хорошего врача? Во-первых?

Первый ассистент. Спрашивать.

Хирург. Во-вторых?

Второй ассистент. Спрашивать.

Хирург. В-третьих?

Третий ассистент. Спрашивать, господин профессор!

Х и р у р г. Правильно. Сирапявать!»

Но он молчит перед телом, носящим следы пыток, перед телом, которое вышло из рук залпечных дел мастеров, молодчиков из гестапо. «Надение с лестяницы» для него служит достаточным объяснением, чтобы можно было молчать, не спрашивать...

Молча покоряется и старик, немецкий рабочий, и молодая работница (Бертольд Брехт. «Радиопередача»), которых поставили перед микрофоном, чтобы они на потребу лживому геббельсовскому радио вешали во всеуслышание о «райской жизни» в «дорогом Фатерланде». За спицами этих «пропагандистов поневоле» стоит штурмовик, и только страх заставляет их принимать участие в комедии у микрофона. Но все же они в ней участвуют.

Нельзя больше молчать! — вот о чем говорят произведения писателей-антифашистов. Молчание становится преступлением, пассивное терпеливое страдание — изменой.

Призыв к борьбе мощно звучит на страницах книги, собравшей образцы антифашистской прозы и поэзии.

Писатели-антифашисты стремятся вдохнуть мужество в отчаявшихся людей и победить постыдный животный страх перед страданьем и смертью, страх, давящий слабых.

Ее из-за угла фашисты застрелили.
Мы, образуя тесное кольцо,
Платком лицо ее побитое прикрыли,
Родное и суровое лицо.
И на лицо ее теперь пред нами,
И не платок,
Прикрывший скорбный рот, —
Пропитанное кровью знамя
К борьбе
И к мужеству зовет!

(Иоганнес Бехер. «Знамя».)

Постыдная жизнь в рабстве — самое страшное. Вольфганг Лангхоф (отрывок из романа «Болотные солдаты») показывает, что даже самые безропотные и слабые восстанут против угнетения, против издевательств над их человеческим достоинством. «Бунтарь» Лангхофа — столяр, который «всега месяца был в заключении. Но за эти четыре недели он прошел все этапы, какие надлежит пройти заключенному: арест, допрос в подвале штурмовиков, первые побои, которые вызвали в нем полную растерянность и невероятный ужас, а каждодневное повторение этой муки подрывало мужество, достоинство и твердость». И этот человек находит в себе силы преодолеть страх, подавивший его, этот человек, раньше твердо веривший в то, что

«только жизнь ценна, та жизнь, которую каждый живет для себя», отрешается от своего жалкого слепого эгоизма, отрешается перед лицом мертвого товарища, не сдавшегося в борьбе.

Примеры мужественного и героического сопротивления, образцы несокрушимой воли к борьбе дают в своих произведениях Анри Барбюс, Вилли Бредель и Р. Альберти.

Анри Барбюс в небольшом эскизе рисует образ антифашиста, который, стоя на эшафоте, когда топор палача уже был над его головой, не отказывается от борьбы. Его «последнее желание» — разить врага. И он наносит свой последний удар, он оставляет у окружающих память о себе как о человеке, которого ничто — ни страдание, ни страх смерти — не могло сокрушить. Его мужество вселяет страх в одни сердца и надежду в другие, его мужество порождает новых героев. «Истинно германская» казнь — через отсеченные головы топором — бессильна приостановить этот процесс.

И головы падают. Одни,
Глаза раскрывая, катятся.
Есть головы злостные. Они
Для рабства никак не годятся.
Но сколько голов ни упадет,
Они отрастают снова.
И если палач одну отсечет,
Их вырастет тысяча новых.

(Иоганнес Бехер. «Песня о рубке голов».)

О воле народов к борьбе с кровавым фашизмом свидетельствует и фактический газетный материал, умело смонтированный в сборник его составителем и редактором Е. Гальперншой. Здесь первое место по праву занимает блестящая публицистика Ильи Эрэнбурга, рассказывающая о все нарастающем протесте свободолюбивых народов Европы против насилия фашистских захватчиков.

Люди не хотят и не могут больше молчать. Они протестуют всеми доступными им средствами. Илья Эрэнбург рассказывает: «Оккупанты живут в пустыне. Когда они заходят в кафе, французы уходят. Когда раздается звуки сирены, возвещающие воздушную тревогу, французы демонстративно аплодируют: приветствуют бомбардировщики, которые прилетели бомбить германских фашистов. Оккупанты провозили по улицам Парижа пленных англичан-летчиков с надписью: «Вот люди, которые уничтожают французские города». Население Парижа устроило пленным овацию. Люди говорят: «Все, кто против Гитлера, —

за нас...» («Париж под сапогом фашистов». П. Эрэнбург.)

Ненависть к угнетателям сплачивает людей. Они уже не одиноки в своей борьбе. И постепенно чувство страха отступает перед решимостью, мужеством и волей к победе: обыкновенные мирные жители больших и малых городов и деревень превращаются в героев-патриотов, в активных антифашистов, бойцов единого антигитлеровского фронта.

Сборник составлен умелой рукой. Большинство вещей приведено полностью, а отрывки из крупных произведений даны сюжетно завершенными, и потому сборник имеет цельный характер. Единственный упрек, который можно бросить его редактору, это упрек

в скупости: представлены далеко не все писатели-антифашисты, в сборник следовало бы, например, включить также имена, как Анна Зегерс и Фридрих Вольф.

Сборник «Гитлер должен пасть!» несомненно явится ценным пособием для агитаторов и пропагандистов. Книга не пройдет мимо широкого читателя в силу своей бесспорной художественной значимости. Институт мировой литературы им. А. М. Горького сделал полезную, нужную работу, выпустив эту хотя и небольшую по объему, но хорошо и целю подобранныю антологию современной антифашистской поэзии и прозы.

Л. Скорина

ГОЛОС СОВЕТСКОЙ ЖЕНЩИНЫ¹

«Борись с фашистами, как лев!» — этими словами материнского письма начинается сборник писем советских матерей и жен на фронт.

Глубоко волнует эта небольшая чудесная книжка, сборник простых и трогательных и величественных документов.

Мать пишет красноармейцу Буракову, Борису Кирилловичу:

«Враг хочет поработить нас всех, хочет забрать нашу свободу, завоеванную нами потом и кровью, но этому не бывать.

«Красная Армия идет на войну не под страхом расстрела, а идет на войну натротиически, с большой охотой, самоотверженно. Такая армия непобедима, и она победит.

Дорогой мой сын, борись с фашистами, как лев! Благословляю тебя, и с моим благословением бей врага беспощадно, и ты будешь побеждать».

Матери призывают своих сыновей к беспощадной борьбе с гитлеровскими бандами во имя свободы, чести, счастья, во имя той светлой жизни, которую принес советский строй народу.

«Ты — сын своей отчизны. Не жалеи свинца для фашистских зверей. Залейте Гитлеру и его своре глотки свинцом, накормите досыта», —

пишет А. Е. Мальцева своему сыну.

Абулина Григорьевна Никишина просит своих детей:

«Ты, Петя, встань со своей ротой грудью против врага и дави его... А ты, Вася, распусти крылья своего стального самолета и клюнь его, Гитлера, чтобы и праху не осталось».

Болит материнское сердце, но не дрогнет ее рука, поднятая для благословения:

«Да, деточки, всех мне вас жалко, за всех болею, как мать», —

пишет Захарова, отправившая в армию своих детей, —

«...но все же идите и защищайте нашу Родину».

Самое волнующее и величественное в письмах советских женщин — матерей, жен, невест и сестер — заключается именно в сознании, что борьба идет за родину и что нет таких жертв, которые женщины народа не готовы были бы ей принести.

Трудящиеся женщины принимали активное участие в гражданской войне 1918—1920 гг., когда в отчаянной героической борьбе против белогвардейцев и оккупантов наш народ отстаивал молодую Республику Советов. О роли женщины в этой борьбе Ленин говорил: «Без женщины мы не победили бы, или во всяком случае не победили бы так скоро».

Велика роль женщины в жизни нашего социалистического государства. Миллионы женщин, как подлинные «солдаты тыла», куют сейчас победу над врагом, даже старые и слабые не хотят остаться вне боевых рядов.

Колхозница Блохина проводила в армию пятерых сыновей. И она пишет своим «сыночкам-богатырям»:

¹ Письма советских матерей и жен на фронт. Гослитиздат, Москва, 1941, стр. 48.

«Не скучайте, мои милые, по дому. Несмотря на старость, я работаю в колхозе, работаю честно».

И старая мать Ларина пишет своему сыну:

«Не хочу сидеть на иждивении родины и, несмотря, что инвалид, еду в колхоз работать».

Другие сообщают сыну, что записались в доноры или поступили на курсы медицинских сестер; из Горловки пишет О. П. Регинская, что деньгами, которые ей прислали в подарок сыновья, находящиеся в Красной Армии и Военно-Морском флоте, она досрочно оплатила облигации последнего займа, «чтобы эти деньги пошли скорее на общее дело».

Небольшая эта книжечка поучительна: в ней, как в капле воды, отражается характер отношений людей в советском обществе.

«Я все время плачу», «слезы и ужас с нами неразлучны», —

пишут на фронт из фашистской Германии немецкие женщины своим мужьям и сыновьям.

Гитлеровские заправилы обрекают на голод семьи немецких солдат.

Наши матери и жены просят сыновей и мужей отдать все силы на разгром коварного и подлого врага, просят не беспокоиться о своих семьях, потому что они окружены вниманием и заботой народа и правительства.

Дарья Арсеньевна Чвыкова из города Александрова сообщает своим пятерым сыновьям, которым

«выпала честь уничтожить фашистских гадов», —

что она живет хорошо, работает на фабрике, ей

«оказывают помощь и директор и партком».

Колхозница Терезия Андреевна Таг из с. Дергачи, Саратовской области, сообщает сыну, что урожай обильный, какой выпадал в редкие годы, но его весь уберут. Дети, братья и сестры учатся в школах и институтах, тыл живет полнокровной жизнью, связанной с фронтом единым стремлением: победить врага, разбить наголову фашизм.

Эти письма лишний раз свидетельствуют о великом морально-политическом единстве народов Советского Союза, и предстает в них прекрасный облик советской женщины, чудесная советская семья. Рядом с сыновьями в одной шеренге бойцов идут отцы. Еременко из г. Изюма пишет сыну, что отец находится при батальоне истребителей, а дети, «окончив учебу, помогают убирать урожай».

С. П. Карнаух рассказывает сыну, что «папа также готовится пойти на фронт. Несмотря на свой возраст, он мечтает стать рядом с молодыми бойцами, своими сыновьями».

Отец и мать лейтенанта Красной Армии Бориса Ивановича Чеканова, так же как и в гражданскую войну, собираются вместе идти на фронт.

«Уничтожай этих бешеных собак всех до единой», — так пишут жена и дети младшему лейтенанту Павлу Алексеевичу Сергееву, и это мощный голос матерей, отцов, жен, детей Советского Союза.

Глубокий патриотизм, благородство чувств, которыми дышат опубликованные письма, истинно превращают эту маленькую книжечку в собрание документов большого общественного значения. Еще ярче эти чувства выступают, если сравнить их с письмами немецких женщин, ставших известными советской общественности.

Гитлеровская шайка поработила германский народ, развратила германскую молодежь, глупый смрад мардерства и легкой наживы кружит голову и немецкой женщине.

Современные немецкие Маргариты решили среди кровавых сражений поправить свои хозяйственные делашки. Одна домовитая фрау просит своего мужа прислать ей сапожные и половые щетки: другая — клеенку и материал на светлые чулки.

Эрна Вакеман пишет своему мужу: «Дорогой Вилли, я была бы очень рада получить чулки, так как здесь почти нельзя их достать, даже по карточкам. Они мне будут очень кстати к зиме. Не можешь ли ты прислать с чулками и ботиночки. Я позволяю тебе даже собственной персоной снять их с хорошенькой русской. Разве это не великодушно? Вчера я разговаривала с моей хозяйкой на эту тему. Я очень скромно заявила, что хотела бы получить из России мелочь: лару ботинок и две серебрястых лисицы. На ее вопрос, почему две, я ей ответила, что одну лисицу носит теперь уже каждый. Итак, обязательно две лисицы, чтобы из них можно было сделать палантин».

Эти мардерские «заказы», позорящие немецкую женщину, не могли быть выполнены. Их исполнители нашли свою могилу в советской земле. Только разгром фашизма, уничтожение коричневой чумы возродит немецкий народ, немецкую женщину.

И перед всем освобожденным человечеством вечным образцом человеческого достоинства, мужества, материнской гордости и любви, сильнее которой лишь любовь к матери-родине, предстанет советская женщина, великая патриотка.

Р. Ковнатор